

- [Громова Наталья Александровна](#)

○

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# Громова Наталья Александровна

## Все в чужое глядят окно

Громова Наталья Александровна  
Все в чужое глядят окно  
Эвакуация идет,  
Вздыхают поезда.  
Глядит на тусклый небосвод Случайная звезда.  
Звезда моя, любовь моя,  
Как бесприютна ты,  
Сияет искра бытия В глубинах пустоты.  
Ты возникаешь без следа,  
Исчезнешь без следа,  
Слепая, синяя звезда,  
Ташкентская звезда.  
В. Луговской. Из неопубликованного.  
1941 год, ноябрь  
Начало

Эвакуация писателей происходила в тревожные дни октября 1941 года. Москву ежедневно бомбили. Немецкие парашютисты высадились в подмосковных Химках. Положение на фронтах было отчаянное. Правительство приняло решение спасти "золотой запас" - умы и таланты страны. Вывозили членов правительства, академиков, писателей, поэтов, ученых, режиссеров, актеров.

Никто не знал, что впереди. Долго ли продлится война? Кто победит? Что будет со страной, уже на четверть занятой немцами?

Июньским утром 1941 года привычная жизнь советских людей была внезапно прервана. Стремительное наступление немецких войск вызывало всеобщий ужас и недоумение: как вообще такое стало возможно? Столько лет готовиться к труду и обороне, читать об этом в газетах, смотреть фильмы, слагать и петь песни, всей страной маршировать в колоннах, каждодневно ожидать нападения врага, и что в итоге?

Рушились иллюзии, летели в тартарары представления о твердом порядке, о вожде, денно и ночью стерегущем покой своих граждан. Растерянные люди чувствовали себя на краю пропасти - внизу шевелился внезапно оживший хаос, воспоминание о котором

ещё со времен Гражданской войны наполняло паникой, ужасом и отчаянием.

Писатели и поэты полностью разделили все тяготы своей страны и народа. Одни воевали, работали корреспондентами, погибали, исчезали без вести, другие по разным мотивам оказывались в эвакуации, но писать не переставали.

Они оставили бесценные свидетельства, фиксируя внешние события тех дней, и в то же время делились внутренним опытом, приобретаемым ежечасно в этой войне, принимая и пропуская сквозь себя ту жизнь, которая выпадала им на долю.

В Ташкент было эвакуировано множество известных людей; их горести, переживания, большие и маленькие трагедии становились достоянием всей колонии, напоминая огромную коммунальную квартиру. Жизнь на виду, порой скверная, а порой очень теплая и человеческая, пронесла - как на карусели трехлетнего совместного бытования - людей благородных и трусливых, честных и мошенников. Война и эвакуация сдвинули с места многие судьбы, обнажили в людях скрытую природу. Рушились на глазах ложные репутации, возникали подлинные. Потеря близких, любовь и измены, болезни, смерти, самоубийства, гибель на фронте - все эти реальные события во многом освободили людей от тяжкой лжи, в которой пребывала страна в конце 30-х годов.

В далеком восточном городе, за тысячи километров от Москвы, в самом начале войны многие испытали непривычное для советских людей ощущение.

Государственная машина, приводящая в движение множество деталей огромного механизма, на большой скорости вдруг стала буксовать, останавливаться, тормозить и, наконец, остановилась совсем. Люди оказались предоставлены сами себе. Они должны были не только с а м и организовывать свою жизнь, искать кусок хлеба, но и с а м и ориентироваться в происходящем. Это давало им и чувство страха, и острое чувство свободы. Одними из первых трагическую новизну почувствовали писатели. В эвакуации они стали жить очень плотным сообществом, получали письма с фронта и из Москвы, вместе обсуждали последние известия...

Поток эвакуированных шел в Куйбышев (Самару), Киров, Казань, Чистополь, Свердловск, Пермь (Молотов) и Ташкент. Правительственных и партийных чиновников расселяли в Куйбышеве, где уже все было готово для приема и самого вождя. В Куйбышев был отправлен МХАТ - ведущий государственный театр.

В Кирове оказались московские и ленинградские драматические и оперные театры, в Чистополе - основная писательская колония, Союз писателей, интернат для писательских детей. В Чистополе поселились с семьями Б. Пастернак, Л. Леонов, К.Федин, Н. Асеев, И. Сельвинский и многие другие. Марина Цветаева и её сын Георгий Эфрон, у которых были трудности с пропиской, уехали дальше по Каме, в Елабугу.

К концу 1941 года, в результате стремительного прохода немцев к Москве, стала очевидна уязвимость Поволжья. Прорыв немцев к Волге означал, что для них не составит труда захватить Казань, а вслед и Чистополь, стоящий на Каме. Как и в Москве, здесь в конце октября началась паника. Один из эвакуированных написал в своем дневнике 24 октября 1941 года: "... Словом, начинается повальное бегство. Всеволод Иванов перебрался в Куйбышев и выписывает туда жену и детей. .... Говорят, будто бы Кирпотин явился в Чистополь. ССП предполагает обосноваться в Казани и Чистополе. Видел многих писателей на улицах. Все толкуют об отъезде".

Борис Пастернак, семья которого хотела перебраться из Чистополя в Ташкент, в начале апреля 1942 года, отвечая на призывы своих друзей по Переделкину, Всеволода и Тамары Ивановых, ехать вслед за ними, писал: "Здесь становится голодно. Время передвижений, произойдут перемены и перемещения. ... Зина стала подумывать о переезде нас всех к вам в Ташкент. Эта мысль укореняется в ней все глубже, я же пока её не обсуждал, таким она мне кажется неисполнимым безумьем. ... Даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов и расшатывать прочность самой колонии. Я знаю, что отъезд двоих или троих из нас с семьями на Восток потянул бы за собой остальных ...".

Восток, Азия казались более безопасными. Однако чем напряженнее складывалась обстановка на фронте, тем острее ощущалось, как ослабевали нити, связывающие Среднюю Азию и Россию.

Стали слышны разговоры о том, что дальнейшее поражение на фронтах может привести к превращению Узбекистана в англо-американскую колонию. И что тогда? Как узбеки отнесутся к лавине беженцев из России? Настроение было мрачным.

Ташкент принял большое количество писателей, ученых, актеров с их семьями, разместив их в частных домах и в официальных зданиях - на улице Карла Маркса, где стояло здание

Совнаркома, на Пушкинской улице, где часть ученых, писателей и актеров поселили в четырехэтажном здании управления ГУЛАГа, на Первомайской улице, расположенной по соседству, где был Союз писателей Узбекистана, и на улице Жуковской.

Здесь жили А. Толстой и К. Чуковский, его дочь Л. Чуковская, А. Ахматова, драматург И. Шток, Ф. Раневская, Н. Мандельштам, семья Луговского (поэт, его мать и сестра), Елена Булгакова, писатель В. Лидин, поэт С. Городецкий с семьей, литературоведы М. и Т. Цявловские, Д. Благой, Л. Бродский, В. Жирмунский, драматург Н. Погодин, писатели Н. Вирта, И. Лежнев, критик К. Зелинский, Мария Белкина и многие другие.

В центре данного повествования, основанного на устных рассказах Т. Луговской и М. Белкиной, материалах из семейных архивов, записных книжек, писем ташкентского периода, - две семьи: Белкиной - Тарасенкова и Луговских. Также в книге звучат голоса, без которых невозможно представить себе жизнь ташкентской эвакуации: А. Ахматовой, Л. Чуковской, К. Чуковского, Н. Мандельштам, Вс. Иванова, В. Берестова и Э. Бабаева, Г. Эфрона и многих других.

Луговские и семья Белкиных после непродолжительной жизни в общежитии на Педагогической улице оказались в разных домах: Мария Белкина, её сын и родители - на ул. Карла Маркса, 7, где был главный писательский дом, а Луговские - на ул. Жуковской, 54, который Ахматова, спустя годы вспомнит в стихотворении: "Пора забыть верблюжий этот гам/ И белый дом на улице Жуковской..."

Ахматова своим присутствием связала эти два главных дома, о которых пойдет речь, - дом 7 по улице К.Маркса и дом 54 по улице Жуковской, где она окажется в комнатке "колдуньи" - Елены Сергеевны Булгаковой - сразу после отъезда той 1 июня 1943 года.

Ташкент, его улицы, дома, дворы, деревья, комнаты, уголки, лестницы это тот "сор", из которого сложилось художественное пространство: стихи, строфы эпилога "Поэмы без героя" Ахматовой, книга исповедальных поэм "Середина века" Луговского, другие мемуарные и документальные тексты.

Жизнь эвакуации сохранилась в дневниках, в записных книжках, в поэтических строфах дневникового характера. Каждый фрагмент писем, записок, стихов раскрывает причудливую картину жизни города, его случайных обитателей, занесенных сюда ветром войны.

Бомбежки. Лаврушинский переулок Июль-август 1941 года

Первые бомбежки Москвы начались в ночь с 21 на 22 июля, и с тех пор Москву бомбили до осени 1942 года почти каждый день. Дом писателей в Лаврушинском переулке был своего рода "младшим братом" Дома на набережной оба стояли на берегу Москвы-реки, переглядываясь с Кремлем. Правда, писательский дом был задвинут в переулок Замоскворечья ближе к Третьяковской галерее.

Большинство писателей были соседями по дому - здесь жили в разное время К. Паустовский, М. Пришвин, Вс. Иванов, Б. Пастернак, Б. Шкловский, И. Ильф, Е. Петров, Д. Благой, М. Голодный, А. Барто, И. Уткин, С. Кирсанов, Н. Погодин, Ю. Олеша, И. Сельвинский, В. Луговской и многие другие. Отсюда они выехали - кто в эвакуацию, кто на фронт.

Часть дома была разрушена бомбой в конце октября 1941 года.

"В одну из ночей, - писал Пастернак в письме к своей двоюродной сестре, - как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 12-этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали, и опьяняли".

Вскоре разбомбили квартиру К. Паустовского. 9 октября 1941 года он писал Р. Фраерману: "В Москве квартиру разбомбили, жил больше у Федина в Переделкине. Вскоре уехал в Чистополь. С большим трудом перебрался в Алма-Ату".

Б.Л. Пастернак после ночного дежурства на крыше дома 24 июля 1941 года признавался жене в письме: "Третью ночь бомбят Москву. Первую я был в Переделкине, также как и последнюю, 23 на 24-е, а вчера ... был в Москве на крыше Лаврушинского, 17 вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране... Сколько раз в течение прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы, зажигательные снаряды, как по мановенью волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой ...".

Та же бомбежка, уже глазами Всеволода Иванова из окон его квартиры: "... И вот я видел это впервые. Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты - осветили дом, как стол, рядом с электростанцией треснуло, - и поднялось пламя. Самолеты - серебряные, словно изнутри освещенные, - бежали в лучах прожектора, словно в раме стекла трещины. Показались пожарища - сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад недалеко от Дома

Правительства (Дома на набережной. - Н.Г.), - и в 1 час, приблизительно, послышался треск. ....

Зарево на западе разгоралось. Ощущение было странное. Страшно не было, ибо умереть я не возражаю, но мучительное любопытство, - смерти? влекло меня на крышу. Я не мог сидеть на 9-м этаже, на лестнице возле крыши, где В. Шкловский, от нервности зевая, сидел, держа у ног собаку, в сапогах и с лопатой в руке. Падали ракеты".

Ольга Грудцова, дочь известного фотографа-художника Наппельбаума, в воспоминаниях о первых месяцах войны писала: "Каждый вечер - бомбежки. В нашем доме убежища нет, в соседнем мелкое, там слышен каждый разрыв. Фрида (сестра) предлагает мне прятаться в фотографии, где она работает, в проезде МХАТа, там павильон в довольно глубоком подвале. Отправляемся туда по вечерам, ещё до тревоги. ....

Домой возвращаемся, когда светает, после отбоя. Одним утром возле Никитских ворот видим огромную воронку, а памятник Тимирязеву стоит без головы. Ее нашли через несколько дней на крыше возле Арбатской площади.

Дом на Воровского, угол Мерзляковского переулка, где была аптека, разбит. А в соседнем доме живет брат с женой и сынишкой. Считается, что по теории вероятности дважды в одно и то же место снаряд не может попасть. Через несколько дней в разрушенную аптеку снова попадает бомба. Разбомбили Вахтанговский театр, дежуривший ночью артист Куза убит... Дома стали похожи на людей с распоротыми животами. Квартиры оголены, видны кровати, диваны, картины на стенах..."

Пока ещё была надежда, что война протянется недолго, многие писатели, спасаясь от бомбежек, жили в Переделкине.

А эшелоны с эвакуированными женами и детьми писателей уже с начала июля шли в Поволожье, за Урал, в Сибирь, на Восток. Детей увозили из Подмосковья, отправляли в пионерлагеря и детский сад Литфонда, многие родители не всегда успевали даже узнать, куда попали их дети. Отправляли на месяц-два, надеясь, что война долго не продлится, - расставались на годы.

Сборы. Отъезд Сентябрь-октябрь 1941 года

И осталось из всего земного Только хлеб насущный твой,

Человека ласковое слово,

Чистый колос полевой.

А. Ахматова. Вагон. Эвакуация.

Октябрь-ноябрь, 1941

В эти дни между людьми возникало новое чувство близости; никто не знал, удастся ли ещё встретиться друг с другом. Особенно трагична была судьба стариков; в военные годы у многих умерли родители, они не смогли пережить кошмары военных лет, их подбирали война - голодом, болезнями, смертью детей.

Семья Луговских сначала не собиралась уезжать из Москвы. Татьяна Луговская писала своему другу драматургу Леониду Малюгину в Киров, куда уже были эвакуированы московские и ленинградские театры: "... Спасибо вам, милый мой, за письма (и письмо и открытку я получила одновременно). Признаюсь, я заплакала изрядно и оттого, что вы нашлись, и оттого, что вы думаете обо мне и даже заботитесь.

Я отвыкла от поддержки и очень нуждаюсь в ней. Вы поддержали меня. Буду писать очень коротко - вот моя жизнь: ... Брат лежит в больнице с больной ногой, и все заботы о моей бедной маме уже очень давно лежат на мне. К этому примешиваются ещё разные меркантильные дела - ибо брат не работает совсем очень давно. Не работаю и я, как вы, наверное, успели догадаться. Я пожила с матерью на Лаврушинском, но путешествия с седьмого этажа с разбитой старухой оказались делом нелегким, и я изловчилась и перевезла её на дачу, тут, по крайней мере, нет седьмого этажа.

Это путешествие произошло около 1 августа, и с тех пор я веду жизнь довольно бездомную и тяжелую - в буквальном смысле слова - потому что все для мамы я вожу из Москвы. Я все-таки вам скажу, что все было бы прекрасно, если бы я могла работать, и я горько жалею, что болезнь мамы не дает мне возможности для этого.

Спасибо за приглашение приехать в Киров, но тут у меня очень много людей, которые погибнут без меня, везти же их с собой нет никакой физической возможности и материальной. Да и бессмысленно, мать моя все равно помрет дорогой, а я её люблю.

К тому же и оставить Москву я не в силах - этот город проявил больше выдержки и спокойствия, чем я могла думать. Мне, как старой москвичке, это особенно дорого.... Вы правильно делали, что надеялись на мою выносливость - эта моя черта не подвела. Правда, если бы вы встретили меня в Кирове на вокзале, вряд ли вы узнали бы меня. Но ведь люди говорят: были бы кости, а мясо нарастет...

Ленечка, очень скучно заниматься описанием своей жизни, мне хотелось бы написать вам какое-то совсем другое письмо, но как-то



не получается. Настанет время - мы увидимся, я поплачу, а вы утешите меня. А потом я сварю вам щи и кашу и выдам горячего чаю. Сейчас же я не хочу распускаться даже письменно - ибо дамочка я не героическая, а довольно хлипкая.

Я рада, что вы есть на свете, я благодарю за это и судьбу, и вас, и вашу маму. Я верю, что мы увидимся. И я верю в жизнь и в то, что вы и я сумеем достойно пережить все трудности, которые выпадут на нашу долю.

Держите меня в курсе ваших дел. И в случае изменения вашей судьбы известите меня немедленно. Обнимаю вас очень крепко и от всей души.

Т.Л. 11 сентября 1941".

И спустя ещё две недели:

"... У меня все по-прежнему. Конечно, очень хочется пережить войну и умереть от старости. Но ничего не попишешь - время суровое и надо к нему приноровиться. И я приноравливаюсь. Человек привыкает ко всему, а если у него есть хоть на копейку мужества и если он любит свой народ, он просто обязан вести себя достойно и спокойно.

Я очень беспокоюсь - как вы там один-одинешенек, как вы поживаете? Не стоит сейчас разводить сантименты, но иногда мне кажется, что достаточно мне протянуть руку, как я встречу вашу. Вообще я чувствую где-то вас рядом со своей жизнью. Ну а там будет что будет.

Т.Л. Москва. 27 сентября. 41.

P.S. Но все-таки я должна признаться, что я не героиня, а самая обыкновенная женщина".

С Малюгиным они были связаны до войны подробной перепиской, он жил в Ленинграде, она в Москве. Его чувство к ней было безответным, она к нему питала лишь нежное дружеское расположение. Он умер холостым, не дожив до 60 лет, от рака, в 1963 году. Последний в своей жизни Новый год, убежав из больницы, справлял с Татьяной Александровной и её вторым мужем, своим близким другом Сергеем Ермолинским.

Та же неопределенность была и в семье Белкиных. Мария Белкина никуда не собиралась ехать до последнего дня.

"...12-го, - писала она, - меня вызвали запиской в Союз писателей и предупредили, что сейчас есть возможность уехать нормально с ребенком и стариками, за дальнейшее никто не сможет поручиться ...".

Все говорили ей о том, что не сегодня-завтра в Москве будут немцы, что она плохая мать, дочь, раз не думает о ребенке и родителях.

"Весь день я провела в Союзе в очереди за билетами, - писала Белкина, - оформляла эвакуационные документы, а ночью жгла письма. Их был целый мешок, писем писателей к Тарасенкову. Вишневский до самой смерти не простил мне, что я сожгла все его восклицательные знаки и многозначительные многоточия, которые в таком изобилии были рассыпаны в каждом его письме с финского фронта, а информации в этих письмах было не больше, чем в передовице "Правды"..."

Перед отъездом из Москвы она отправляет последнюю открытку своему мужу, из их дома на Большой Конюшковской улице. Ощущение катастрофы. Того, что никогда им не вернуться к тому, что было: "Вот и все! Последний раз написала милое слово, милый адрес под старым тополем... Ну что ж... 13-го очень тяжелый день, все силы, какие были возможны..... Как сжимались зубы, как хочется взять винтовку. Может быть, Митька спасает мне жизнь, если бы не он, осталась бы драться за счастье людей, за разбитую молодость, за несчастную старость. Как хорошо было жить... Последний раз сижу за своим столом, в своей комнате, что впереди... и так я уезжаю на край света .... Последние впечатления о клубе, пьяный "Белеет парус одинокий" целует мне руки и говорит какие-то странные вещи, а рядом сумасшедший Володя Луговской. Милый Павлик целует, Илюша Файнберг, Маргоша - попозже они приедут ко мне. Уже "ко мне" - куда ко мне?! Ташкент - вокзал?! Все страшно быстро, за один день! 3 часа ночи, гора вещей, забытые шляпы... .. Как далеко мы будем друг от друга... ещё один раз тебя увидеть. Привет Коле Михайловскому, его жену везут в Ташкент. Вот и все... Маша".

Спустя годы Мария Белкина вспоминала тот день, 13 октября, описанный в открытке: "Получив все, что требовалось мне и моим старикам для отъезда, я решила зайти купить что-нибудь в дорогу в буфете ДСП - так назывался клуб писателей на Поварской. В дубовом зале бывшей масонской ложи свет не горел, у плохо освещенного буфета стояли писатель Катаев и Володя Луговской, последний подошел ко мне, обнял. "Это что - твоя новая блядь?" - спросил Катаев. "На колени перед ней! Как ты смеешь?! Она только недавно сына родила в бомбоубежище! Это жена Тарасенкова". Катаев стал целовать меня. Оба они не очень твердо держались на

ногах. В растерянности я говорила, что вот и билеты уже на руках, и рано поутру приходит эшелон в Ташкент, а я все не могу понять - надо ли?.. "Надо! - не дав мне договорить, кричал Луговской. - Надо! Ты что, хочешь остаться под немцами? Тебя заберут в публичный дом эсэсовцев обслуживать! Я тебя именем Толи заклинаю, уезжай!.." И Катаев вторил ему: "Берите своего ребеночка и езжайте, пока не поздно, пока есть возможность, потом пойдете пешком. Погибнете и вы, и ребенок. Немецкий десант высадился в Химках..."

В открытке упоминаются Павлик - это любимый всеми Павел Антокольский, Маргоша - Маргарита Алигер, которая оказалась вовсе не в Ташкенте, а в Казани, куда попала из-за того, что пробиралась к своей дочери и пожилой маме в Набережные Челны. Она села на пароход в Казани и оказалась в одной каюте с Анной Андреевной Ахматовой. "В каюте было темно, и мы не видели друг друга. И хотя мы отнюдь не были ближе друг другу, чем тогда, зимой сорокового, в крошечной комнатке на Ордынке, но голос её наполнял все вокруг, и я словно дышала им, и он был горячий, живой, близкий, неотделимый от нашей жизни, от нашей общей судьбы. В ту ночь мы познакомились по-настоящему". Маргарита Алигер, ученица и друг Луговского, подруга Тарасенкова и Марии Белкиной, будет незримо присутствовать и в Ташкенте, хотя так и не доедет туда.

В конце июня Мария Белкина проводила мужа на фронт. Анатолий Тарасенков, литературный критик, ответственный секретарь журнала "Знамя", был прикомандирован к Балтийскому флоту. После тяжких боев под Таллином он вместе с группой писателей оказался в блокадном Ленинграде, где была создана оперативная группа при Политуправлении Балтфлота, руководимая Вс. Вишневским, в которой состояли Николай Чуковский, Александр Крон и многие другие писатели. В их задачу входило поддерживать дух блокадного Ленинграда патриотическими стихами и статьями в газете. Не все писатели вынесли пребывание в городе до конца, многих, в том числе и Тарасенкова, в 1943 году вывезли в состоянии тяжелой дистрофии.

Они поженились всего за два года до войны, ребенок появился на свет, когда Тарасенков уже был на фронте.

26 июня 1941 года Тарасенков уезжал. "До поезда я его не проводила, писала Мария Белкина. - Когда мы поднялись из метро на площадь трех вокзалов, нас сразило зрелище - казалось, мы

раздвоились, растроились, расцветверились, расдесятерились!.. Повсюду - у метро, и у вокзалов, и на тротуарах, и на мостовой - стояли пары он-она, прижавшись друг к другу, обхватив друг друга, неподвижные, немые, были брюхатые, и дети, которые цеплялись за полы отцовских пиджаков. Казалось, шла киносъемка и статисты были расставлены для массовки... Дальше меня Тарасенков не пустил - в августе я должна была родить".

Рождение сына и старые родители, с которыми Мария Белкина вынуждена была выехать в Ташкент в писательском поезде, были препятствием, тормозившим её страстное желание попасть на фронт.

С первых же дней войны она ощутила себя оскорбленной оттого, что беременна, оттого, что оказалась с грудным ребенком на руках, с "этими" в эвакуации, бегущими, по её мнению, от общей беды, оттого, что вслед за мужем не может отправиться на передовую.

И все-таки, когда сыну исполнился год и он подрос настолько, что мог обходиться без матери, она сделала то, о чем мечтала. Оставив ребенка на попечение родителей, в конце 1942 года на "дугласе" известного летчика-полярника, мужа своей близкой подруги, вылетела в Москву, а оттуда на фронт. Но это случилось только год спустя.

Москва в дни первых месяцев войны, как писал в дневнике Вс. Иванов, была похожа на разворошенный муравейник. "... Закрасили голубым звезды Кремля, из Василия Блаженного в подвалы уносят иконы. ... На улице заговорило радио и уменьшилась маршировка. По-прежнему жара. Летают хлопья сгоревшей бумаги - в доме есть горячая вода, так как, чтобы освободить подвалы для убежищ, жгут архивы".

Москва постепенно пустела. Но главный кошмар был впереди - с 14 по 18 октября город пребывал в панике. Оставшиеся москвичи, кто с презрением, кто с тоской, а кто с облегчением, смотрели вслед бежавшим из города.

Казанский вокзал

... Я выжал сердце горстью на ладонь.

И что же увидал? Немножко горя И очень много страха и стыда  
За тех людей, что, словно цепь, стояли,

Прижавшись лбами к окнам коридора,

И за себя, несущегося ночью По стыкам рельс усталых на  
Восток. ...

В. Луговской. Первая свеча 14 октября 1941 года вышло несколько поездов из Москвы в Казань, в одном из которых была вывезенная из блокадного Ленинграда Ахматова. С нею вместе оказался Борис Пастернак. "Оба были спокойны, приветливы и о чем-то своем негромко беседовали", вспоминала Маргарита Алигер.

На вокзале творилось нечто ужасное. Огромная вокзальная площадь была заполнена народом, людьми, вещами. Общее настроение тех дней - "Москва сбесилась". Тем страшнее было оставшимся. "Вокзал и круговерть чужого горя, /Отчаяньем отмеченные лица,/ Удары чемоданов трехпудовых. / Сумятица... И женщину выносят / Парализованную на носилках/", - писал Луговской в поэме "Первая свеча", документально воспроизводя все, что происходило в тот день.

Татьяна Луговская вспоминала о том, сколь неожиданным был их отъезд.

"14 октября 1941 года в 6 часов утра, после бомбежки, позвонил Фадеев и сказал, что Володя, в числе многих других писателей, должен сегодня покинуть Москву (брат ночевал в редакции "Правды", и говорила с Фадеевым я).

- Саша, - сказала я, - а как же мама?

- Поедет и мама, - твердо заявил он.

- Но ведь Володя не справится с мамой, он сам болен...

- С ним поедешь ты, Таня, и Поля (домработница). Я вас включил в список. Такова необходимость. Я сам приеду с каретой Красного Креста перевозить маму на вокзал и внесу её в поезд. Собирайте вещи. Через два часа вы должны быть готовы. Все. - Он положил трубку.

И действительно приехал. И действительно внес на руках в вагон маму...

Маму положили в мягком вагоне, а мы - Володя, я, Поля (Саша сказал, что она моя тетя) - ехали в жестком. Но я была все время с мамой, все десять дней почти не спала, разве что прикорну у неё в ногах. Мы ехали в купе с Уткиным - он был ранен, и с ним ехала его мама. Мягкий вагон был один на весь состав. В этом составе ехали деятели искусств и ученые.

Мамочка лежала красивая, в чистых подушках - мы с Полей об этом заботились - и всем кивала - здоровалась. Любовь Петровна Орлова была от неё в восторге".

Потом Фадеев, отправлявший в те памятные дни писателей, был заподозрен в том, что бежал вместе с "паникерами". Он

вынужден был оправдываться в докладной записке в ЦК, в нервной интонации которой чувствуется напряжение тех дней. Фадеев объяснял свой отъезд приказом ЦК и Комиссии по эвакуации для организации групп Информбюро в Казани, Чистополе, Куйбышеве и Свердловске. Но, видимо, наверху царила такая неразбериха, что никто не помнил, кто какие указания отдавал.

"Среди литераторов, находящихся в настоящее время в Москве, - писал в докладной записке в ЦК Фадеев, - распространяется в настоящее время сплетня, будто Фадеев "самовольно" оставил Москву, чуть ли не бросив писателей на произвол судьбы.

Ввиду того, что эту сплетню находят нужным поддерживать некоторые видные люди, довожу до сведения ЦК следующее: ...

Все писатели и их семьи, не только по этому списку, а со значительным превышением (271 человек) были лично мною посажены в поезда и отправлены из Москвы в течение 14 и 15 октября (за исключением Лебедева-Кумача, - он ещё 14 октября привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался, - Бахметьева, Сейфуллиной, Мариэтты Шагинян и Анатолия Виноградова - по их личной вине).

...

За 14 и 15 октября и в ночь с 15-го на 16-е организованным и неорганизованным путем выехала примерно половина этих людей..." Объясняя, где какие группы Информбюро были созданы и куда поехали какие писатели, Фадеев иронизировал: "Писатели с семьями (в большинстве старики, больные и пожилые, но в известной части и перетрусившие "работоспособные") поехали в Ташкент, Алма-Ата и города Сибири". Далее он объясняет ЦК, что за годы работы секретарем Союза писателей у него образовалось много литературных противников, которые и хотят выдать его сейчас за "паникера".

Действительно, осенью 1941 года А. Фадеев со своей женой, актрисой МХАТа Ангелиной Степановой, почему-то оказался в Чистополе, где прожил около трех недель в конце октября - начале ноября.

Таким образом в Москве в писательской организации не осталось никого из обладавших правом принимать решения. Пошел слух, что Фадеев попал в опалу, и ему пришлось оправдываться.

Провожала Луговских и Тамара Груберт, первая жена Луговского. Сама же она оставалась в Москве, с Бахрушинским музеем. После их отъезда она писала в письме Татьяне Луговской:

"Татьянушка милая! Невеселое будет мое письмо. Проводив вас, Гриша взял бюллетень, а когда 16-го пошел на фабрику, оказалось, что она выехала. Так как в эти дни (15-17. 10) Москва совершенно "сдана", сбесилась, то он, не дожидаясь билета, ушел с расчетом где-нибудь сесть на поезд. От него ещё никаких вестей нет. Я его перед отъездом не видела (вернее, перед уходом). ... На даче оставаться стало опасно. Главная база - метро, а вообще сейчас не страшнее, чем в июльские дни бомбардировки. Нам, москвичам, это уже стало привычно, но то, что пришлось пережить с 15-18 октября - никогда не забудется. Такой стыд, такое негодование и такое разочарование. Поистине "утраченные иллюзии". Отголоски ты найдешь в газетах, но это капли в море по сравнению с впечатлениями очевидца".

Григорий Широков, первый муж Татьяны Луговской, был помощником режиссера и работал на "Мосфильме". Он даже не знал, что киностудия выехала из Москвы. Паника была такая, что решения принимались "с колес". Ему надо было своим ходом добираться до Алма-Аты.

И ещё одна женщина провожала Луговских - мать его второй дочери, Милы, Ирина Соломоновна Голубкина. Она писала ему с дороги в Среднюю Азию, куда они ехали с дочкой: "С болью в сердце вспоминаю ужасный ваш отъезд. Что ждет нас всех, трудно представить".

Драматизм момента для Луговского был ещё в том, что в одном вагоне с ним ехала Елена Сергеевна Булгакова, вдова известного писателя, с которой у него был роман и с которой они жестоко поссорились в сентябрьские дни 1941 года, но об этом речь ещё впереди.

"Фадеев её устроил в эвакуацию, она даже ехала в мягком вагоне в одном купе с Софой Магарилл, - рассказывала Татьяна Луговская. - Та была так хороша! Ходила в стеганом халате длинном и со свечой в старинном подсвечнике.

Вот откуда образ свечи в Володиной поэме! Саша Фадеев её (Е.С. Булгакову. - Н.Г.) провожал на вокзале. "Сердечный, славный друг, червонный козырь"..."

Софа Магарилл - красавица, жена Козинцева, - в Алма-Ате Татьяна Луговская подружится с ней, и Софа сыграет большую роль в её судьбе, даже не подозревая об этом. Но, к сожалению, назад в Москву она не вернется, в 1943 году умрет от брюшного тифа.

Язвительно был описан в "Первой свече" Фадеев в образе друга-разлучника. (Здесь приводится наиболее жесткий, первый вариант поэмы.)

В то утро я, как должно, уезжал Из матушки Москвы, согласно плана

Большой и страшный, в мертвой синеве Подглазников, я сплюнул на пороге Жилища своего и укатил Тю-тю, как говорится, по дорожке,

Набитой выше горла поездами,  
Железной, безысходной, столбовой. ...

Я вышел. По случайности была Со мною, мертвым, в том же эшелоне Знакомая одна, в большой, широкой Медвяной куньей шубке. Рядом - друг,

Седеющий и милый от притворства.

Но что-то слишком медлили они,  
Друг с друга глаз дремучих не спуская.

Он мужественным был, я - полумертвым

И коготочком стучала она В холодное окно. А я все видел.

Все медлили они, передавая Друг другу знаки горя и разлуки:

Три пальца, а потом четыре пальца,

И накрест пальцы, может быть, квадраты Из пальцев, и кивок,  
и поцелуй Через стекло. И важно он ходил,

Веселый, славный друг мой, словно козырь....

В описании друга Елены Сергеевны Луговской был достаточно резок. Ему было неприятно их долгое демонстративное прощание у всех на виду. Он страдал от всего происходящего и более всего от самого себя, устремляющегося в эти трагические дни все дальше от фронта.

Поезд "Москва-Ташкент"

Итак, поезд шел на Восток. Мария Белкина посылала из поезда открытки мужу каждый день. Так они договорились, надеясь, что хотя бы одна найдет его. Открытки, письма приходили спустя месяцы пачками, сбивалось время, нарушался масштаб событий.

"Милый мой, родной! - писала Мария Белкина. - Еду в Ташкент. Вот и все... Начинаю новую жизнь, без иллюзий и надежд. .... Я уеду от тебя очень далеко, но мне кажется, так надо. Ведь у меня Митька. Сколько омерзительного эгоизма "жителей" вокруг. Полон вагон киношников - сволочи. Первый раз вчера поговорили по-человечески, зашли военные. Всю штатскую сволочь ненавижу, она меня тоже. Говорила с Зоценко и Козинцевым о Ленинграде. В



Ташкенте мало хорошего меня ждет. ... Переехали Волгу, долго смотрела на тот берег.. Казань, переехали границу.. Ну что ж. Выехала 14-го, проедем ещё дней шесть... ... Завидую вам, уважаю вас, все мысли с вами. ... Пошлость, мерзость, можно задохнуться... Привет всем славным защитникам города Ленинграда. Крепко обнимаю.

Маша".

Ее ожесточение против киношников было связано с непримиримостью молодости и с тем, что она рвалась на фронт. Татьяна Луговская, которая была здесь же, вспоминала: "...ехали в купе с Уткиным, его мамой-старухой и женой, вроде бы женой. Мы с ней по очереди спали на верхней полке. А Володя с Полей ехали в другом вагоне. Поля приходила с подкладным судном, завернув его, никто и не знал. Володя все время стоял у окна с Зоценко, они говорили обо всем и так откровенно, что я пугалась".

Зоценко потом писал в письме к Сталину, что его несправедливо обвиняют в том, что он бежал из блокадного Ленинграда, на самом деле его буквально силой усадили в самолет и вынудили вылететь из города. Он был мрачен, об этом вспоминают все. Луговской в записных книжках пишет про "мертвое лицо Зоценко".

И снова открытка с дороги. М.Белкина - А.Тарасенкову.

"14. 10. 41. Раменское. Итак, мой родной, еду. 36 часов на ногах. Сейчас лежу. Мне всегда везет в последнюю минуту. Деньги получила накануне отъезда. До последней минуты была уверена, что еду в "телячьем", а оказалась вместе со знатью в мягком. Ты понимаешь, что это для меня, и даже мама со мной, я отдохну. Митька лежит - кошка (мама) сделала ему удобный уголок, и он храпит. Ему не очень нравится тряска. Какое у него длинное путешествие. Ну что же, так надо. Папа едет в жестком, хорошо устроился. В общем, все хорошо, но сколько стоило нервов и теперь стало легче оторвались. ... В вагоне премьерная публика... Эйзенштейны, Л.Орлова и другие.

Низко летят ястребки... Киношники сволочи - Бурденко, Комаров едут в жестком, а мальчишки в мягком. С одним поругалась. Рядом Туся Луговская везет разбитую параличом мать. Стояли сейчас опять в поле, выносила Митьку гулять. Кончаю писать 15-го, поезд идет, проехали опасные места....

Связь с тобой потеряна. Увы, я не киношница и очень все переживаю. Привет Всеволоду и Коле. Маша".

Они оказались в одном вагоне поезда - М. Белкина и давний друг А.Тарасенкова Владимир Луговской, с которым они были дружны ещё с юности, а последние годы вместе работали в "Знамени". Белкина хорошо знала его по Литинституту, который закончила незадолго до войны. Луговской вел там поэтический семинар.

Как правило, они открывали все праздничные вечера в институте - их вальсирующая пара. Она была высокая и прекрасно танцевала, он тоже высокий и элегантный. Она, смеясь, рассказывала, что их выбрало институтское начальство, потому что они подходили друг другу по росту.

Теперь же Луговской был совсем другим, он ехал в эвакуацию в состоянии тяжкой депрессии; с ним были смертельно больная, парализованная мать и сестра Татьяна - театральная художница, младшая в семье, которая стала их основной опорой.

Татьяна Луговская и Мария Белкина подружились в поезде. Когда-то, в 20-е годы, Анатолий Тарасенков учился в подмосковной колонии, директором которой был отец Татьяны и Владимира Луговских, Александр Федорович, преподаватель литературы. Тарасенков был юношески влюблен в Таню, а с Володией дружил с тех самых лет.

Луговской послал с дороги дочери Маше (в семье её звали Муха) в чистопольский интернат открытку. "Милая, родная моя дочка! Я и бабушка уехали в Ташкент. Сколько времени мы там пробудем - неизвестно. Сейчас наш поезд стоит в Куйбышеве. Я слышал от мамы, что ты скучаешь, волнуешься. Я тебе буду писать все время, а если переменится адрес твой или мой - мы сейчас же друг другу об этом сообщим. Поздравляю тебя с днем рождения, грустно, что не могу подарить тебе ничего. Сейчас суровое военное время ты уже не маленькая девочка - держись крепче. Я тебя очень люблю, очень помню. Буду надеяться, что мы скоро увидимся. ... Целую тебя тысячу раз милая, любимая Муха. Твой Папа".

Поезд шел долго. В коридорах - нескончаемые разговоры о войне, её начале, её возможном конце. Говорили тихо, полупшепотом. Времени было много. Поезд шел одиннадцать дней.

Татьяна Луговская вспоминала: "У нас был общий котел, что-то варили. Всем заправляла Орлова, её на каждой станции встречали, даже на маленьких. Она тогда была очень популярна. И что-то давали - крупу, муку, наверное".

Мария Белкина в те дни была особенно беспощадна к Любви Орловой и к Пудовкину, с которым поругалась исключительно на бытовой почве.

"Я совсем стала больная, морально меня отравила война - я не могу видеть огни за окном и пустые разговоры киношников, я только думаю о фронте и её страшном исчадьё - войне ... Поезд полон громких имен, поругалась с двумя - один оказался Пудовкиным, другой - Эрмлером. Чудные старички, академики... .. Если бы не Митька, я ушла бы на фронт или пустила бы пулю в лоб... Россия... а кругом бабенки вроде Л. Орловой хохочут, говорят пошлости и модные пижоны тащат сундуки... Почему так должно быть?! Как тоскливо..... Маша".

Ключевыми словами её открыток и писем станут именно эти - "стала больная", "морально отравила война". Она говорила, что какое-то время в начале войны чувствовала помутнение сознания, потерянность, депрессию. Оттого столько резких, часто несправедливых слов. Спустя годы о том же путешествии она напишет гораздо теплее.

"Наш эшелон шел одиннадцать дней, но мне повезло, я попала в привилегированный эшелон - увозили из Москвы Академию наук, и самым старым в поезде был президент академии Владимир Леонтьевич Комаров, самым молодым - Митька Тарасенков, ему было шесть недель. В нашем вагоне был собран весь цвет тогдашней кинематографии: Эйзенштейн, Пудовкин, Трауберг, Рошаль, Александров, Любовь Орлова, и проводник на остановках хвастался, что вон сколько пассажиров перевозил на своем веку, но такого, чтобы ехали вместе и сам Броненосец Потемкин, и Юность Максима, и Веселые ребята, и Цирк, ещё не бывало! Главное, конечно, были "Цирк" и "Веселые ребята". За одну улыбку Орловой и за песенку, спетую ею, начальник станции был готов сделать все, что мог; правда, мог он не так уж много, но все же добывался откуда-то давно списанный, старый, пыхтящий, дымящий паровоз, и нас с запасных путей, на которых мы бы простояли неведомо сколько, дотягивали до следующей станции, а там повторялось все сызнова. И, должно быть, по селектору передавалось, что именно в нашем вагоне едет Любовь Орлова, потому что на полустанке, где поезд задерживался на минуту, даже ночью проводника атаковали молодые любители кино, умоляя показать Анюту из "Веселых ребят", Дуню из "Волги-Волги", Марион из "Цирка"! Так, благодаря Орловой (киношники ехали в Алма-Ату и где-то в Азии нас

покинули), мы добрались до Ташкента за одиннадцать дней. А в общежитии пединститута, где нас сначала разместили и куда каждый день прибывали москвичи с фабрик, заводов, из Военной академии имени Фрунзе, мы узнали, что тащились их эшелоны по двадцать пять, а то и тридцать дней".

Хроника путешествия продолжала писаться в её открытках.

"Милый, родной! Еду в Ташкент. Еду уже 6 дней. Еще не проехала половины пути. Но мне все равно, если бы сказали ехать месяц - так месяц, два - так два. Все корабли сожжены... Возврата к старому нет. Впереди ничего нет... Стихи, вырезки все со мной, но наши вещи, старый дом, под тополем, оставлен. Как бы хотелось поджечь... Еду с Зоценко, Луговским, последний совсем болен. Гуляю с Митькой в Оренбурге. .... Еду степью, безбрежной. Киргизы, верблюды. Пожелтевшие степи... Азия... Выехала из Москвы 14-го утром, был снег, слякоть, мерзли в шубе. Сейчас солнце, тепло. Проехали половину пути, торопиться не хочется, ждет мало радости. Как далеко от тебя и до фронта... Но так должно быть. Тяжело... Ждут, наверное, бараки, Союз писателей не позаботился... Обогнал нас поезд с Виртой и Афиногеновыми - им-то там будет хорошо. ... Книги остались в шкафах, завалила их журналами, забила гвоздями. Все осталось в старом доме, как было. ... Володя Луговской совсем стал психопатом... Любовь Орлова, Эйзенштейн, Бурденко... Все могло бы быть забавным, если бы не было трудным. Ужасно, но надо заниматься бытом в Ташкенте, завидую вам, вы какие-то очищенные.....".

Афиногеновы - это семья драматурга, жена Дженни и её мать. А сам Афиногенов - человек странной судьбы: в свое время он был одним из руководителей РАППа, его пьесы ставили в пример М. Булгакову, потом опала, одиночество, ожидание тюрьмы и гибели, и вдруг - внезапное прощение от высшего руководства. А 29 октября 1941 года на Старой площади возле здания ЦК он будет убит разрывом бомбы. "А его мать ... будет эвакуирована в Ташкент и там станет нянчить моего сына, и у меня не хватит мужества сказать ей о гибели её сына..." - писала в своей книге Мария Белкина.

"Милый Толя. Еду уже девятые сутки. И каждый день пишу тебе и разбрасываю ... по станциям письма к тебе. За окном тянется степь голая, бесприютная... Сыр-Дарья течет скудная, медленная... Долго смотрела на Волгу, казалось, переехала границу... Может быть, завтра будем в Ташкенте. Там уже Вирта и другие знатные. ... Все мысли, все слова остались в Москве, в Ленинграде. Еду как

мумия, из которой вынули душу и сердце... Далеко ты теперь от меня.

Маша".

Эта открытка была надписана рукою Татьяны Луговской: "Толя, целую тебя. Туся". Рядом стояли две буквы - "В.Л."! На большее Владимир Луговской не решался, он не представлял, как к нему отнесется старый друг.

Отступление из сегодняшнего дня Когда эта книга только задумывалась и в ворохе писем, документов, бумажек военной поры вырисовывался сюжет о ташкентской эпопее одной из писательских семей, я не могла представить, что непосредственно под квартирой Луговских в Лаврушинском переулке живет Мария Белкина, проделавшая весь путь из Москвы в том же вагоне поезда, где ехали Луговские. Меня познакомили с ней для того, чтобы уточнить какие-то детали жизни в эвакуации. Я спустилась на этаж ниже, мне открыла дверь прямая пожилая женщина, с глубоко посаженными глазами и строгим лицом. Мы прошли в одну из полутемных больших комнат, где по стенам стояли старые книжные шкафы с большим количеством фотографий и книг о Цветаевой. На любые вопросы Мария Иосифовна отвечала удивительно четко, и если рассказывала какой-либо сюжет, то это была живая картина. Таких картинок набралось очень много, и не все относились к ташкентскому периоду. Постепенно, слово за слово стали выплывать подробности ташкентской эвакуации, история долгих отношений с Татьяной и Владимиром Луговскими. Было невероятно странно слышать, как человека, которого давным-давно нет на земле, она называет "Володька", или об Антокольском - "Павлик", но при этом почтительно - Марина Ивановна, Борис Леонидович. Они навсегда - старшие, лучшие.

Несмотря на то что многие близкие и друзья Марии Белкиной давно покинули этот мир, она не живет только прошлым: ничего не идеализирует в нем и не приподымает никого из прежних героев. Одних любит, других нет, но даже о тех, кого не любит, говорит, пытаясь понять причины их слабости, их дурных поступков.

В одну из встреч она сказала, что ей не интересно писать о самой себе, она всегда пыталась писать через людей время, которое в них отразилось.

Несмотря на блистательную память в свои девяносто лет, она, конечно же, не в состоянии была помнить содержание своих писем и открыток шестидесятилетней давности, посылаемых тогда, летом

1941 года, с дороги Тарасенкову на фронт. Я стала их читать и расшифровывать в поисках деталей путешествия, и тут оказалось, что картинка тех дней в поезде, как в мозаике, стала складываться. Рассказы и письма Татьяны Луговской дополнялись текстами открыток. Мария Иосифовна, когда я читала её письма, где попадались подписи Луговских, радостно восклицала: "Недаром же я писала о скрещенье судеб, достаточно только прикоснуться к чьей-либо жизни, и нити чудесным образом сплетаются!" Чем дальше, тем больше она вспоминала обстоятельства того печального путешествия, но об этом ниже.

#### Фронт - эвакуация

Моральное противостояние фронта и тыла, фронта и эвакуации, воюющих мужчин и тех тыловых "крыс", которых, как считали фронтовики, они закрывают своими спинами, было так же остро в писательской среде, как и во всем советском обществе тех лет.

Среди писателей были воюющие и те, кто лишь изредка появлялись в расположении войск, пописали отчеты и статьи в газеты; были те, кто погибал на передовой и в блокадном Ленинграде, и те, кто навещал время от времени погибающий от голода и холода город. Потом были уравниены все. В письме к Марии Белкиной в Ташкент от 30 ноября 1941 года Тарасенков писал: "Сообщи о друзьях, кто где? Маргарита уже с тобой? Крепко целуй её. Где Пастернак, Асмус, Лапин, Хацревин? Ходит слух о гибели Долматовского. Правда ли это? Только псевдодрузьям - беглецам типа Вирты - Луговского - Соболева приветов не передавай. После войны выгоним их из ССП".

Пастернак поедет в Чистополь, двух писателей, Лапина и Хацревина, убьют на фронте, а Долматовскому удастся выйти живым из окружения, однако слухи о его предполагаемой гибели обойдут писательское сообщество.

Натяжение "фронт - эвакуация" уже хорошо видно из текста письма из блокадного Ленинграда. Вирта и Соболев фронт посетили и превратились в писателей, прошедших войну, а Луговского возмущенное общественное мнение тех лет называло трусом, дезертиром в глаза. Когда на всех фронтах произошел перелом, ему стали активно предлагать вылететь - "приобщиться" к военным победам, он наотрез отказался. Это был сознательный выбор оставаться вне войны и пройти то, что выпало на его долю, до конца.

Наверное, в дни московского, а потом и ташкентского позора он ещё до конца не мог себе представить, что в этом ужасном для него падении - начало спасения.

В. Луговской много лет преподавал в Литературном институте. У него учились К. Симонов, Евгения Ласкина (первая жена Симонова), Евг. Долматовский, М. Матусовский, С. Наровчатов, М. Луконин и многие другие. Известно, что ученики его обожали, гордились им, читали наизусть его военные, романтические стихи.

Спустя двадцать лет, в письме от 4 ноября 1961 года, Константин Симонов написал автору книги о жизни и творчестве Владимира Луговского Льву Левину о том потрясении, которое он испытал, встретив в первые месяцы войны своего бывшего поэтического наставника.

"Я, как и многие из поэтов моего поколения, близких Луговскому и очень любивших его, очень тяжело пережил его собственную драму военных лет. Мы ждали другого, ждали, что это будет один из самых сильных и мужественных голосов нашей поэзии в эту тяжкую годину, ждали, что кто-кто, а уж "дядя Володя", как мы звали тогда Луговского, пройдет всю войну с армией. Этого не случилось. Известно, что у каждого из нас возникал вопрос: почему? И под влиянием этого вопроса мы, даже помимо собственной воли, с горечью переоценивали кое-что в прошлом - рассказы о Гражданской войне, о басмачестве.

Представление о Луговском как об учителе мужества поколебалось. Вернее, то, что он говорил, оставалось в сердце, но представление о личности, стоявшей за этими верными, мужественными словами, поколебалось.

В первых числах августа 1941 года я после возвращения с Западного фронта и перед поездкой на Южный провел около недели в Москве. У меня был приступ аппендицита, и я лежал на квартире у матери. Однажды днем позвонили, мать ушла открывать и долго не возвращалась. А потом вдруг в комнату, где я лежал, вошел человек, которого я в первую минуту не узнал так невообразимо он переменялся: это был Луговской, вернувшийся с Северо-Западного фронта.

Он страшно постарел, у него дрожали руки, он плохо ходил, волочил ногу и вообще производил впечатление человека, только что перенесшего какую-то ужасную катастрофу, потрясенного морально и совершенно выведенного из строя физически.

Он сказал, что заболел на фронте, что ужасно себя чувствует, что, видимо, ему придется лечь в больницу, и в том, что он действительно был тяжело болен, - не могло быть никаких сомнений, - их у меня и не возникло.

Человек, которого я за несколько месяцев до этого видел здоровым, веселым, ещё молодым, сидел передо мной в комнате как груда развалин, в буквальном смысле этого слова. Я видел, что Луговской тяжело болен физически, но я почувствовал - я не мог этого не почувствовать - меру его морального потрясения.

Я видел уже на фронте таких потрясенных случившимся людей, я видел людей, поставленных обвалившимися на них событиями на грань безумия и даже перешедших эту грань. Что это могло случиться с человеком, меня не удивило, меня потрясло, что это могло случиться именно с Луговским. Это совершенно не вязалось для меня с тем обликом, который складывался в моем сознании на протяжении ряда лет. В то же время я понимал, что Владимир Александрович болен физически, и о том, чтобы в таком состоянии возвращаться на фронт, не может быть и речи".

Вот поистине драматический миг! И дело здесь не только в Луговском и его трагедии, дело в поколении, ориентированном на летчиков, полярников, военных - людей, как считалось, с железными нервами. Им даже в голову не приходило, что раздавленному, потерявшему ориентиры человеку, да ещё к тому же бывшему любимому учителю, можно протянуть руку, поддержать.

В словах Симонова драма не Луговского - "дяди Володи", это драма поколения, которое находилось во власти абсолютно черно-белых представлений о мире и человеке. Симонов даже из будущего обиженно взывал к учителю; как же он мог поколебать в нем веру - в него! Не догадываясь даже тогда, что тем самым дядя Володя спасал и их, и себя. Они ступали на путь сомнений. Наступало "жестокое пробуждение" для всех думающих людей, для всей страны.

Из слов Симонова видно, что Луговской сам стал заложником того образа, который создавал в стихах перед войной. Он перестал играть ту роль, в которой его все привыкли видеть. А теперь он и сам показывал всем свою растерянность, сам обвинял себя в растерянности. Он действительно был болен, но и это он считал малодушием и не мог себе простить жизнь в тылу. Тот неведомо откуда взявшийся дар, который вчера давал возможность с легкостью создавать стихи, вдруг внезапно становился тяжким



заклятием, непосильной ношей. Еще со времен Данте и его "Божественной комедии" мы не раз видели поэта на перепутье - в состоянии глубокой растерянности, страха, утратившего всякие ориентиры в духовном пространстве "сумрачного леса".

Поезд шел на Восток одиннадцать дней. В те долгие дни Луговской рассказал Марии Белкиной откровенно все, что с ним случилось на войне. Он выбрал для исповеди женщину, которая недавно проводила мужа на фронт, оставшись с грудным ребенком на руках, ни минуты не сомневающуюся в том, что место мужчины на фронте. Он открывается ей, обнажая душу. "Он много раз возвращался к своей исповеди, - рассказывала Белкина. - Главное, что он пытался донести до меня, - это ощущение, что тот шок, катастрофа изменили его абсолютно. Он не знал, что с собой делать дальше, как ему быть с собой таким, каким он стал теперь. Он словно перешел на какой-то другой уровень и, оглядываясь, не узнавал все то, что раньше окружало его. Я не жалела его, этот красивый человек вообще не мог вызывать жалости, я вдруг как-то глубинно стала понимать, что бывает и такое. Я, которая кричала всем и каждому - на фронт, на фронт, вдруг остановилась перед неведомым для меня. Я как-то вся стала внутренне сострадать его беде. Он никогда не был жалким, никогда. Его облик, прямая спина не позволяли представить его жалким, но он вдруг стал глубоко изменившимся. Исчезло все внешнее, наигрыш, актерство, он ведь и всегда немного актерствовал, позировал, и вдруг нет ничего. Белый лист, надо начинать жить сначала. А как жить?"

Конечно, он держал в сознании и что она жена Тарасенкова, и что она связана со многими общими друзьями из литературного мира; он чувствовал, что, пробившись к ней, будет услышан и ими. Но ему были нужны её лицо, её глаза. Ему хотелось быть услышанным той, которая не испытывает к нему никаких особых чувств и даже осуждает его.

В самые драматические моменты жизни мужчину гораздо быстрее понимает женщина: своей интуицией, открытым сердцем, просто сострадательной душой. Эта духовная традиция идет ещё со времен жен-мироносиц, сопровождавших Христа в его страстях и муках до крестного часа. Или, как сказано в одном из последних стихотворений Мандельштама: "Есть женщины, сырой земле родные, /И каждый шаг их - гулкое рыданье. /Сопровождать воскресших и впервые /Приветствовать умерших их призванье/".

Спустя некоторое время, уже находясь в Ташкенте, Луговской записал в своем дневнике: "Величие унижения, ибо в нем огромное расsvобождеение".

Потом в поэме "Алайский рынок" родился образ Нищего поэта, просящего на базаре милостыню, у тех, кто помнит его стихи, его выступления на сцене. И вот он освободился от всего прежнего, от дешевого опыта, от лжи, от позы, от всего материального благополучия. Это настоящий юродивый: "Моя надежда только отрицанье, - говорит он. - Как завтра я унижусь, непонятно".

Наверное, Симонов не мог для себя найти простого решения судьбы Луговского, как просто человека, "спрятавшегося от войны". Он не мог не чувствовать, что тот не разрушился, не погиб внутренне, а вдруг воскрес и обрел новое дыхание. В повести "Двадцать дней без войны", написанной в 1973 году, тень старшего друга-поэта снова появляется на страницах. Симонов опять и опять возвращается к тому трагическому сюжету. Дело происходит в Ташкенте, куда буквально на двадцать дней приезжает главный герой Лопатин, там он встречается со своим старшим другом Вячеславом Викторовичем.

"Нет, Вячеслав не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что спасся от нее. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И те издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всем своем внешнем правдоподобию были несправедливы. Предполагалось, что, спасшись от войны, он сделал именно то, что он хотел. А он, спасшись от войны, сделал именно то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье.

Да, да, да! Все против него! Он всю жизнь писал стихи о мужестве, и читал их своим медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в гражданской войне, и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам и считался старым другом пограничников, и его кабинет был до потолка завален оружием. И в тридцать девятом году, после того как почти бескровно освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, вернулся в Москву весь в ремнях, и выглядел в форме как само мужество, и заставил всех верить, что, случись большая война - уж кто-кто, а он на неё - первым!

И вдруг, когда она случилась, ещё не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в

больницу, а ещё через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте....

Та решимость отчаяния, с которой Вячеслав рассказал ему правду о себе, ставила в глазах Лопатина этого оказавшегося таким слабым перед лицом войны человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, как будто с ними ничего не случилось, и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства".

26 декабря 1941 года друг Луговского по восточным походам 30-х годов, Всеволод Иванов, находящийся здесь же, в Ташкенте, писал ему:

"Дорогой Володя! Берестинский любезно хотел присовокупить меня к тому урегулированию вопроса об военнообязанных.

Уф! Официальные фразы для меня все равно, что питаться саксаулом.

Словом, если ты имеешь возможность сообщить мне что-либо об этом, сообщи. Я здоров; хотя и принимаю лекарство. Но это потому, что мне трудно писать большие повести, - а она большая, а меня все время теребят, - гр-м статьи!.. Молись обо мне, грешном! Всеволод Иванов. Ташкентец!"

А 2 января 1942 года в ташкентской больнице Луговской был снят с армейского учета по болезни. Ольга Грудцова в своих воспоминаниях, которые были написаны в форме письма-исповеди, письма - любовного признания к умершему поэту, писала:

"Тебе передали, что Сурков в Литературном институте сказал: Луговской на фронте заболел медвежьей болезнью. Как ты плакал! Мягкий, добрый, болезненно воспринимавший зло, ты не вынес грохота бомб, крови, тебя полуживого привезли с фронта. Всем простили спокойную совесть, с которой люди устраивались в тылу, ловкость, с которой добывали брони, ты же не обязан был воевать, но тебе не простили ничего. Не простили твоих ружей и сабель, выставленных вдоль стены в кабинете, твоих рассказов о борьбе с басмачами... Они до сих пор считают, что ты их обманул. Где им понять, что ты сам в себе обманулся и что это больнее, чем ошибиться в другом! Кто из них подумал, как тебя сжигал стыд и что поэтому ты пил беспробудно. Они-то ведь никогда не испытывали позора, все они были довольны собой".

Ташкентский мир. Расселение писателей

"Ташкент уже трещал от напора эвакуированных", - писала Мария Белкина.

В Ташкенте всех, кто ехал в их поезде, кроме режиссеров и актеров, следовавших далее, в Алма-Ату, сначала разместили в техникуме на Педагогической улице. Быстро сообразив, что скоро город будет буквально переполнен беженцами и жилье начнут "уплотнять", они с родителями выбрали самую крохотную комнатку в общежитии.

"Были заняты помещения институтов, школ, школы работали в три смены, институты теснились в одном здании, сливались учреждения, уплотнялись жилые дома. А эшелоны все шли и шли, и не только с плановыми эвакуированными, для которых Ташкент обязан был обеспечить жилье и помещение для предприятий, но в Ташкент ещё устремилась масса людей самотеком, так называемых "диких", бежавших от немцев, от бомбежек, от страха холодной военной зимы, голода".

Скоро беженцев негде было расселять. Началось уплотнение, и все оказались друг у друга на голове. Мария Белкина успела предупредить Елену Сергеевну Булгакову, что надо занимать комнатку как можно меньше.

А составы все шли. Ташкент захлестывала волна беженцев со всего Союза.

Но любопытство к новым местам, к новой жизни брало верх.

"А Ташкент и в эти дни все ещё живет призрачной жизнью, освещенный по ночам, не боящийся ярких огней (а мы успели от этого отвыкнуть!). По центральной улице по вечерам гулянье, шарканье ног по асфальту, журчанье воды в арыке, и из каких-то получастных ресторанчиков и кафе - музыка. Маленькие оркестрики - скрипка, виолончель, рояль, и кто-то, плохо справляясь с русскими словами, поет, надрываясь под Лещенко - кумира белой эмиграции .... Это все больше еврей-музыканты, бежавшие от немцев из Прибалтики. А у кафе, ресторанчиков толкуются какие-то подозрительные личности в пестрых пиджаках ненашенского покроя на ватных плечах и предлагают паркеровские ручки, шелковые чулки-паутинки, золотые часы; говорят, у них можно купить даже кокаин и доллары.....". Эти страницы из книги относились к первым дням приезда в Ташкент, когда Татьяна Луговская и Мария Белкина, после долгого и тяжелого пути в поезде, принарядившись, решили осмотреться в незнакомом городе, напоминавшем эмигрантский Стамбул. Название Ташкента

"Стамбул для бедных" пустил находящийся здесь "красный граф" А.Н. Толстой, знающий не понаслышке, как выглядит эмигрантская жизнь.

В первые дни эвакуированных писателей кормили шашлыками на деревянных палочках-шампурах. Приезжие, особенно из блокадного Ленинграда, изумлялись этому, так же как и горевшим уличным фонарям или незатемненным окнам. Правда, вскоре многое переменилось. Фонари продолжали сиять, но появились продовольственные карточки, литеры, лимиты, а шашлыки сменили пирожки, начиненные требухой. Беженцы металась в поисках комнат, углов, клетушек. Необходимо было расселяться и жить, но сколько: месяц, год, два?.. Многие буквально сидели на чемоданах и считали дни, когда можно будет вернуться в Москву.

Благодетель Николай Вирта

Николай Вирта с первых же дней стал распорядителем жилья для ташкентских беженцев. Это был очень бойкий человек, на тот момент крупный советский писатель, который сумел в эту трудную пору сделаться для многих настоящим благодетелем.

"Если бы не Николай Вирта, - писал в своих военных дневниках о дне отъезда из Москвы Корней Чуковский, - я застрял бы в толпе и никуда не уехал бы. Мария Борисовна (жена Чуковского. - Н.Г.) привезла вещи в машине, но я не мог найти ни вещей, ни машины. Но недаром Вирта был смолоду репортером и разъездным администратором каких-то провинциальных театров. Напористость, находчивость, пронырливость доходят у него до гениальности. Надев орден, он прошел к начальнику вокзала и сказал, что сопровождает члена правительства, имя которого не имеет права назвать, и что он требует, чтобы нас пропустили правительственным ходом. Ничего этого я не знал ("за члена правительства" он выдал меня) и с изумлением увидел, как передо мной и моими носильщиками раскрываются все двери. Вообще Вирта - человек потрясающей житейской пройдошливости. Отъехав от Москвы верст на тысячу, он навинтил себе на воротник ещё одну шпалу и сам произвел себя в подполковники. Не зная еще, что всем писателям будет предложено вечером 14/X уехать из Москвы, он утром того же дня уговаривал при мне Афиногенова (у здания ЦК), чтобы тот помог ему удрать из Москвы (он военнообязанный). Афиногенов говорил:

- Но пойми же, Коля, это невозможно. Ты - военнообязанный. Лозовский включил тебя в список ближайших сотрудников

Информбюро.

- Ну, Саша, ну, устрой как-нибудь... А за то я обещаю тебе, что я буду ухаживать в дороге за Ант. Вас. и Дженни. Ну, скажи, что у меня жена беременна и я должен её сопровождать.

(Жена у него отнюдь не беременна). ...

И все же есть в нем что-то симпатичное, хотя он темный (в духовном отношении человек). Ничего не читал, не любит ни поэзии, ни музыки, ни природы. Он очень трудолюбив, неутомимо хлопочет (и не всегда о себе), не лишен литературных способностей (некоторые его корреспонденции отлично написаны), но вся его порода - хищническая. Он страшно любит вещи, щегольскую одежду, богатое убранство, сытную пищу, власть".

К характеристике Корнея Ивановича можно добавить, что расторопность помогла Вирте во время войны слетать на Сталинградский фронт именно тогда, когда судьба окруженной дивизии Паулюса была решена - фельдмаршала немецкой армии арестовали на глазах корреспондентов. Вирта присутствовал при сем знаменательном событии, за что и был награжден орденом. Он был обладателем четырех Сталинских премий, но после смерти Сталина фортуна отвернулась от него, Вирта был исключен из Союза писателей, как написано в одном из современных литературных словарей, "за то, что вел привилегированный образ жизни".

Местные жители, проживавшие в доме на улице К. Маркса, 7, не без участия Вирты, разумеется, были выселены в приказном порядке. На их место поселили москвичей; конечно же, приехавшие не знали, какой ценой досталась им "площадь".

Жены писателей, не дожидаясь машин, перевозивших вещи, размещались в доме по улице К. Маркса. Марии Белкиной и её семье полагалась большая комната в расчете на трех человек и ребенка. Но не случайно писательские жены советовали ей быстрее бежать и занимать площадь. Когда она пришла, то увидела, что в её комнате уже расположилась красавица актриса - жена драматурга Е. Габриловича. Растерянная Маша закрыла дверь, села на ступеньки и заплакала; она не понимала, куда ей идти со старыми родителями и грудным ребенком.

Сбежались женщины и, видя творящуюся несправедливость, не долго думая стали выбрасывать вещи из захваченной комнаты; Габрилович ужасно бранилась и кричала. Но они были непреклонны: "У нее, единственной среди нас, грудной ребенок". -

"У меня тоже ребенок!" - кричала красавица, указывая на 8-летнего сына. Это была единственная комната с отдельным входом, она была необходима Габрилович, потому что к ней часто приходили мужчины.

В итоге их семьи оказались в смежных комнатах, разделенных тонкой дверью. У "красавицы" часто собирались актеры и актрисы, шла гульба, пили, веселились, ругались, оттуда слышались крики и брань. Пожилой отец Маши Белкиной, дабы охранить нравственность дочери, завешивал дверь ватным одеялом.

Но тогда, 4 декабря 1941 года, М. Белкина писала А. Тарасенкову на фронт: "Комната у меня лучшая в доме, и многие косятся на меня. Помог мне её получить Вирта. Живет в этом доме К. Левин (жулик), Нович, семья Лидина (симпатичная), Ахматова (еще не знакомы), Городецкий (любит выпить) и другие. В другом особняке живут Вирта, Погодин, Уткин, Лежнев ...".

Горький запах эвакуации

Еще до переселения на Жуковскую Луговские жили между общежитием и больницей, куда поместили разбитую параличом мать. Разумеется, состояние Татьяны Луговской было подавленным; она видела город только в первые дни, почти не воспринимала людей; в ташкентской больнице, где лежала мать, условия были тяжкие, огромное количество раненых; находиться возле больного, беспомощного человека было невозможно, негде было не только присесть, но даже встать. Было решено перевезти её в дом на Жуковскую.

О своих бедах и радостях, о Ташкенте и Алма-Ате Татьяна Александровна рассказывала в письмах Леониду Малюгину.

"Милый мой Леня, самый лучший из всех когда-нибудь существовавших на свете! Наконец-то получила первое ваше письмо (на Жуковскую), в котором вы пишете, что писали и до востребования, и на Педагогическую. На почту я хожу исправно, но получаю фигу, а на Педагогическую пошлепала сегодня под проливным дождем (это здешний заменитель снега) и была вознаграждена за подвиг одним письмом и переводом, о котором речь будет особо. Вам я отослала 2 письма, а сколько телеграмм - даже не помню. Очень беспокоилась, что с вами случилось что-то недоброе.

Вот я очутилась в Ташкенте. Я писала вам уже про дорогу, не хочется повторяться - тем более это до грусти стандартная и шаблонная история. Уехала в Ташкент, а не к вам (о чем частенько

жалею) потому, что сюда можно было ехать организованно (с писателями и братом), а у матери за 2 дня до отъезда был второй удар - я везла её заново парализованной. (Я не в силах была с ней ехать одна, а увозить её мне приказали доктора.) Все остальное вы представляете сами. Мне же до сих пор непонятно, каким образом удалось в Москве внести её в вагон, в этой толчее. Посадили нас Саша Фадеев и Гриша.

Потом мы пересаживались, потом пропал мой чемодан, потом захихикал и заболел брат - словом, разная такая петрушка. Потом Ташкент. Потом была больница и в ней 3-й удар. И я жила с мамой там. С ней и ещё с 25 человеками в небольшой палате № 1. (Нет ничего страшнее ташкентской больницы, наполненной беженцами.) И все ждала, что вот-вот она умрет, но она осталась жива, и я, простояв 2 суток в очереди за каретой "скорой помощи", перевезла её домой. В мой теперешний дом на Жуковскую. И коротаю с ней век. Бедная старуха - от неё осталось очень мало. Трудно и ей, и с ней. Вот и все. В общем, всякое было ....

Все-таки очень одиноко. Пожалуй, и трудновато бывает иногда. Я думаю так: если я не сдохну от сыпняка или голода - к чему есть все предпосылки, - значит, останусь жива. Вообще же я стала гораздо спокойнее, чем раньше - до войны. Потом, я теперь стала глава довольно большой семьи двое болящих - мама и Володя, Поля, которая приехала с нами, и ещё Любочка, с которой я побраталась здесь, в Ташкенте. Она - москвичка, и ей было совсем худо, и я взяла её в сестрички, за что и вознаграждена судьбой, ибо это оказался очень большой души человек. Она не маленькая, даже старше меня, только очень была бедная.

Я даже нанялась на работу в здешний Дворец пионеров, только меня, наверное, выгонят, потому что я разрываюсь на части и работать не успеваю.

Город дикий, об этом в следующем письме, а то завтра рано надо вставать. Есть здесь, кроме пыли, нечего. ... Спасибо вам, Ленечка, за то, что вы думаете обо мне и заботитесь так трогательно, только это не нужно, я думаю, что я не пропаду".

Юрий Трифонов после смерти этого скромного, но очень надежного человека написал: "Слова Чехова о его "насмешливом счастье" могли бы с такой же справедливостью относиться к Леониду Малюгину. И так же молча, без жалоб, с таким же упорным мужеством, как его любимый Антон Павлович, вынес Леонид Антонович годы борьбы со смертельным недугом".



Татьяна Луговская стала тоже, в каком-то смысле, "его насмешливым счастьем". Ее письма, ироничные, но теплые, излучали радость дружеской любви и признательности за все, что он для неё делал.

Всю войну он незаметно помогал Луговским, взяв их под свою опеку.

Интонация дневников, писем, записных книжек резко отличается от послевоенных воспоминаний о тех годах. Ностальгические нотки зазвучат потом, а в тот момент, судя по всему, состояние большинства эвакуированных в Ташкент было депрессивным. Мария Иосифовна рассказывала, что, когда ей мимоходом напомнили про то, что до войны ей нравился роман Стейнбека "Гроздь гнева", она была потрясена - самим напоминанием о жизни, которая была до войны. Состояние первых месяцев эвакуации, со всеми бедами, волнениями, смахивало на нервную болезнь с потерей памяти.

И Татьяна Луговская вначале увидела Ташкент как "город, созданный для погибания"; он не показался ей ни красивым, ни доброжелательным. Казалось, что все навеки заброшены в эту дыру, - не будет ни Москвы, ни мирной жизни, ни прежних радостей, ни даже прежнего горя. Изменения коснулись всех, и никто не знал, каким он выйдет из испытания войной, эвакуацией, разлукой. Она была подавлена происходящим: "... Очень трудно сейчас писать письма, трудно найти интонацию, за которую можно было бы спрятаться. Потом очень много нужно описывать, как живешь, да что ешь, и про себя и про всех других. Картина преступления ясна: совершена какая-то очередная блистательная глупость, и я (вы же знаете - как я легка на подъем!) очутилась в Ташкенте. Городе, где даже вода пахнет пылью и дезинфекцией, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире (это, скорее, похоже на быстро стынущий столярный клей), городе, где собрались дамы-фифы и собралось горе со всего Союза, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы, где вас почему-то называют "ага", где про ваши родные ленинградские и московские края говорят - Россия (!), где гроб - один из самых дефицитных товаров. В этом городе, созданном для погибания, очутилась я. Зачем, почему - совершенно не могу понять.

Живу, как во сне. Снег вспоминаю, как пирожное, а московские тревоги, все прочее вспоминаются каким-то очень содержательным событием в моей жизни. Живу я сейчас чужой жизнью. Я боюсь

этого города. Мне кажется, что я застряну здесь на всю жизнь. Леня, обещайте мне, что, когда кончится война и если мы с вами будем живы, вы приедете за мной и увезете меня из этого гнусного города. Хорошо?...".

Представить после московской жизни, относительно комфортной, что надо будет запасать дрова, выменивать на базаре вещи на продукты, выходить по вечерам на незнакомые улицы, где в подворотнях обитало несметное количество воров, нищих, цыган, было невозможно.

Луговских поселили в двух небольших комнатках во флигеле, примыкающем к основному особняку на улице Жуковской.

"Наши комнаты, сделанные из каких-то сараев, но зато каждая имела свой выход во двор. Был ещё и дом нормальный, каменный, с фасадом на улицу, но в нем жили люди привилегированные - Погодин, Вирта, Уткин. По этому главному дому и наши лачуги назывались - Жуковская, 54".

Пытаясь обжить чужое пространство, в котором они оказались неизвестно на какое время, Татьяна Луговская относилась к новому дому как художник, создающий декорацию и костюмы из того, что буквально лежит под ногами. "Я навела уют, - рассказывала она, - купила на барахолке два бильярдных кия и повесила занавески из простынь, выкрасив их акрихином. Ещё купила детскую пирамидку. У Поли был поклонник электромонтер, он сделал мне лампу из пирамидки". Так возникли две милые маленькие комнатки, в которых потом, после отъезда Луговских в Москву, с конца ноября 1943 года станут жить Анна Ахматова и Надежда Мандельштам.

За время эвакуации Татьяне Луговской пришлось вести два дома - один в Ташкенте, другой в Алма-Ате. Ее первый муж, Григорий Широков, работал на кинофабрике помощником режиссера, там у них был угол в "лауреатнике" - Доме искусств, а пока она обустроивала ташкентские комнаты.

#### Чуковский

А Корней Иванович Чуковский, оказавшись в Ташкенте в октябре 1941 года, искренне восхищался открытым "на старости лет" восточным городом. "Я брожу по улицам, - пишет он в дневнике, - словно слушаю музыку - так хороши эти аллеи тополей. Арыки, и тысячи разнообразных мостиков через арыки, и перспективы одноэтажных домов, которые кажутся ещё ниже оттого, что так высоки тополя, - и южная жизнь на улице, и милые учтивые узбеки, - и базары, где изюм и орехи, - и благодатное

солнце, - отчего я не был здесь прежде - отчего не попал сюда до войны?"

Он поселился на улице Гоголя, 56. "Белый двухэтажный дом. В углу дверь в комнату, где живет семья ... в другом конце вход в кабинет Корнея Чуковского", - вспоминал Валентин Берестов. "Живу в комнате, где, кроме двух геокарт, нет ничего. Сломанный умывальник, расшатанная кровать, на подоконнике книги - рвань случайная - тоска по детям. Окна во двор - во дворе около сотни ребят, с утра кричащих по-южному".

Мария Белкина приходила к Чуковским с письмами от мужа с Ладого, где он служил после года в блокадном Ленинграде. На Ладого корабли и самолеты охраняли знаменитую Дорогу жизни, там Тарасенков и познакомился с Николаем Чуковским, работавшим корреспондентом при военном штабе. Они подружились. Жена Корнея Чуковского, Мария Борисовна, потерявшая накануне войны маленькую дочку Муру, не имевшая сведений о младшем сыне, находилась в тяжелом душевном состоянии. Николай писал редко, и Чуковские просили сообщать Марию Белкину любые подробности из жизни на Ладого. Письма с Ленинградского фронта шли очень плохо, а слухи были невероятными. Кто-то в отчаянии говорил, что Ленинград давно занят немцами, просто от всех скрывают истинное положение вещей, широко обсуждались и случаи каннибализма в голодном городе. Мария Белкина с подробными письмами от Тарасенкова выступала достоверным информатором. Тем более что официальным сообщениям и пропаганде уже откровенно не верил никто. Родители Чуковского очень переживали за старшего сына. Но беда вошла в их дом с другой стороны: уже в начале войны, 4 октября 1941 года, из-под Вязьмы было получено последнее письмо от младшего сына, Бобы, а вскоре стало известно, что он погиб.

Келья Ахматовой Конец 1941 - начало 1942 года

"Сейчас получила телеграмму от Корнея Ивановича, - писала в дневнике в октябре 1941 года Лидия Чуковская, находящаяся с дочерью в Чистополе. Текст телеграммы звучал так: "Чистополь выехали Пастернак Федина Анна Андреевна..."

Ахматова появилась в конце октября у дверей временного жилища Лидии Корнеевны в Чистополе, с узлом в руках, усталая, измученная. Она проделала долгое путешествие из блокадного Ленинграда. По личному указанию Сталина её и Михаила Зощенко вывезли из умирающего города. Не раз отмечалось, что именно тогда впервые наверху власть роковым узлом связала два имени

Ахматовой и Зощенко, которым будет суждено пережить послевоенную травлю и преследования, вызванные постановлением 1946 года.

"Я вылетела из Ленинграда 28 сентября 41-го года, - писала Ахматова. - Ленинград был уже блокирован. Летела я на военном самолете, эскортировали истребители. Они летели так близко, что я боялась, что они заденут нас крылом .... В ночь с 27 на 28 сентября я ночевала в бомбоубежище в Доме писателей. Заехали за мной, потом поехали на Васильевский остров, взяли там академиков. Нам не сказали, куда мы летим. Была посадка где-то близко от фронта. Там высадили каких-то военных, мы полетели дальше и оказались в Москве".

Все вы мной любоваться могли бы,

Когда в брюхе летучей рыбы Я от злой погони спаслась ....

Так в строках Эпилога "Поэмы без героя" она описала свой перелет из блокадного Ленинграда в Москву.

В Москве Ахматова была включена в списки писателей, которые эвакуировались в Чистополь. Так она оказалась у Лидии Чуковской, с которой познакомилась и подружилась до войны в Ленинграде. Их связали трагические обстоятельства - они выстаивали многочасовые очереди с передачами для заключенных в тюремные застенки, где у Лидии Чуковской находился арестованный муж, а у Ахматовой - сын.

После длительного переезда Ахматова нашла в Чистополе Лидию Чуковскую. Та накормила и уложила её, а через несколько дней Анна Андреевна сказала, что поедет с ней дальше, на Восток, в Ташкент.

Лидия Корнеевна, уже не один месяц проведшая в Чистополе, встретила истерзанную и несчастную Марину Цветаеву. А через два месяца Чуковская расскажет Ахматовой о своей встрече с ней и о её гибели в Елабуге. Лидия Чуковская вспомнит, как они шли по грязным мосткам мимо Камы и говорили с Цветаевой об Ахматовой, а "теперь её нет и говорим мы с вами о ней. На том же месте!"

Начался долгий переезд в Ташкент. В Казани они ночевали в Доме печати вповалку. "Когда рассвело, - писала Чуковская, - оказалось, что бок о бок со мной за спинками стульев спит Фадеев".

Фадеев ездил по городам с эвакуированными писателями и создавал творческие группы при Информбюро. Когда пойдет слух о

том, что он струсил и убежал из Москвы, с легкой руки Богословского его будут называть "Первый из Убега".

9 ноября Чуковская с дочкой, племянником и с Ахматовой приехала в Ташкент. На вокзале их встречал К.И. Чуковский с машиной и отвез в гостиницу.

В архиве Луговского сохранилась записка:

"Уваж. т. Коваленко.

Т. Чуковский берет кв. № 5 на Жуковской. Его квартиру на ул. К. Маркса надо отдать либо тов. Луговскому (5 ч.), или Файко - Леонидову (4 ч.), и веду смотреть келью (как сказал Чуковский) Ахматовой.

К тебе (?) Ник. Вирта".

Этот текст, написанный карандашом на обрывке бумаги, фиксирует перемещения первых дней. Не совсем понятна форма подписи. Видимо, она означала некую шутливо-верноподданническую манеру общения, в смысле - "к тебе" прибегаю и т.д. Коваленко, как указано в дневниках Чуковского, был управделами Совнаркома.

Вирта обращался к Коваленко, наверное, в конце ноября 1941 года, когда всю тасовалась колода квартир, углов, клетушек и, разумеется, учитывался определенный ранжир, по которому и происходило расселение. Разным писателям полагалась и разная площадь...

Место Ахматовой в советской литературе тех лет определяется той комнатухой - "кельей", выделенной начальством в первый год её пребывания в Ташкенте. В писательском доме на улице Карла Маркса, 7, она прожила с ноября 1941 по конец мая 1943 года.

"Это был ноябрь сорок первого года. Поздняя осень или зима по-ташкентски, схожая с осенью, когда голые деревья, мокрые листья в грязи, серый свет, пронизывающие сквозняки, - вспоминала Светлана Сомова, поэтесса, живущая в Ташкенте, которая вместе с Луговским участвовала в составлении поэтических сборников, в том числе и со стихами Ахматовой. Дом на улице Карла Маркса около тюльпановых деревьев, посаженных первыми ташкентцами. Двухэтажный дом, в котором поселили эвакуированных писателей. Там были отдельные комнаты, а не общежитие, как пишут в примечаниях к книге Ахматовой 1976 года. Непролазная грязь во дворе, слышный даже при закрытых окнах стрекот машинок. Во дворе справа лестница на второй этаж,

наружная. Вокруг всего дома открытый коридор, и в нем двери. Дверь Ахматовой".

Дом этот стали называть то "Олимпом", то "Ноевым ковчегом", то "вороньей слободкой", и совсем уже зло - "лепрозорием". Конечно же, главной достопримечательностью его была Ахматова, поэтому и осталось много разнообразных описаний.

"Этот небольшой двухэтажный дом стоял на площади, - писала Белкина, подле здания Совнаркома, и вдоль тротуара мимо окон бежал арык, а над арыком разрослись деревья. Дом был специально освобожден для эвакуированных писателей и их семейств. В каждой комнате семья, а то и по две за перегородкой. И кто там только не обитал, в этом Ноевом ковчеге! Была семейная пара немцев-антифашистов, бежавших от Гитлера, запуганные, несчастные, плохо говорившие по-русски; был венгерский писатель Мадарас; был Сергей Городецкий, худой, длинный, похожий на облезшую старую борзую, он расхаживал в черном костюме с тросточкой, а его жена Нимфа, в просторечии Анна, любила сидеть на крылечке, распустив волосы.....".

А сама комната Ахматовой, по описаниям Г.Л. Козловской, которая пришла туда в первые дни после приезда, выглядела неуютно и мрачно.

"Я оглядела конурку, в которой Ахматовой суждено было жить. В ней едва помещалась железная кровать, покрытая грубым солдатским одеялом, единственный стул, на котором она сидела (так, что мне она предложила сесть на постель). Посередине - маленькая, нетопленная печка-буржуйка, на которой стоял помятый железный чайник. Одинокая кружка на выступе окошка "Кассы". Кажется, был ещё один ящик или что-то вроде того, на чем она могла есть". У композитора Козловского и его жены Анна Андреевна справляла Новый, 1942 год.

"Ярким был праздник 1942 года. Мы вместе с Ахматовой были приглашены к Козловским, - вспоминал Евгений Пастернак, сын поэта Бориса Пастернака, который был в эвакуации подростком и учился в ташкентской школе, а затем в военном училище, - где был настоящий, сваренный мастером-узбеком плов, вино и закуски. Потом братья Козловские в четыре руки играли Вторую симфонию Бетховена. Просидели до утра, проводили Ахматову домой и пошли поздравлять соседей".

В начале января Ахматова пустила в свою крохотную келью больную старуху М.М. Блюм, у которой умер в эвакуации муж.

"Блюмиха", как её называли в доме, была вдовой того самого театрального Блюма, который нещадно травил и мучил М.А. Булгакова, нападал в печати на его пьесы. Об этом Ахматовой могла рассказать Елена Сергеевна Булгакова, но, наверное, это не изменило бы поведения Ахматовой. Сам Блюм умер безвестным в Ташкенте, а его сразу же оказавшаяся бездомной жена была на время пригрета Ахматовой. Анна Андреевна с легкостью раздавала деньги, еду, делила свой кров с любым, кто её просил об этом. Когда в Ташкенте появилась бездомная, странная поэтесса Ксения Некрасова, то опять же она нашла приют в "келье".

Через комнатку Ахматовой прошли почти все знаменитые и незначительные писатели и поэты.

Бывал здесь и Луговской. Он относился к ней с подчеркнутым почтением, иногда даже преувеличенно театрально целовал ей руки, глядел на нее, несмотря на свой огромный рост, снизу вверх. Она же с ним держалась величаво и просто. По воспоминаниям С. Сомовой, когда они шли рядом, возникало ощущение, что не она опирается на его руку, а наоборот, она, хрупкая и немолодая, поддерживает его.

В Москве на письменном столе в Лаврушинском переулке у Луговского стояла фотография Ахматовой 20-х годов. Но в злополучном 1946 году, после выхода известного постановления, Елена Леонидовна, жена В.А., спрятала портрет Ахматовой, а на его месте поставила снимок химеры с собора Парижской Богоматери. Заметив подмену на письменном столе Луговского, язвительный Михаил Светлов воскликнул: "Боже мой, как изменилась Анна Андреевна!"

Тогда ещё Елена Сергеевна Булгакова жила на кухне у Вирты на улице Жуковской во втором писательском доме, вспоминала Татьяна Луговская. Потом Елена Сергеевна с сыном Сережей поселилась в комнатках на балахане, где с середины 1943 года, после её отъезда, будет жить Анна Ахматова.

"Раз она (Елена Сергеевна) позвала меня пить кофе с черным хлебом, я пришла, а там Анна Андреевна Ахматова. Она на меня не посмотрела даже, как будто меня нет. Лена нас познакомила, она едва кивнула. У меня кусок в горле застрял. Ахматова очень не любила, когда кто-то врывается. Потом я перестала её бояться".

Татьяна Луговская в холодные зимние дни таскала у богатых домовладельцев для Ахматовой дрова. Вокруг Анны Андреевны возникала особая атмосфера: каждый проходящий почитал за честь что-нибудь сделать для нее.

К Ахматовой по лесенке поднимались хорошо одетые, надушенные дамы, жены известных и не очень советских писателей, с котлетами, картошкой, сахаром - с дарами. Нарядные дамы порой выносили помойное ведро и приносили чистую воду. Бывали и такие дни, когда её никто не посещал. И тогда она смиренно лежала на своей кушетке и ждала или нового посетителя, или голодной смерти.

Мария Белкина описывала, как это видела сама в их доме на улице Карла Маркса. "Как-то, когда Анны Андреевны не было дома, к ней зашла Златогорова, бывшая жена Каплера, с которым они вместе написали сценарий одного из серий прогремевшего тогда фильма "Ленин в Октябре". Это была очень роскошная, модно одетая женщина, особенно роскошная для Ташкента.

Под ярким японским зонтиком она прошла мимо арыка, мимо моих окон, где я в тени деревьев пасла сына. Она не застала Анны Андреевны и, возвращаясь назад, попросила меня передать ей сверток, предупредив, что если у меня есть кошка, чтобы я спрятала подальше, ибо это котлеты ....

Когда я поднялась к Анне Андреевне, она, как всегда, лежала на кровати, быть может, и стула-то в комнате не было, не помню. Кровать была железная, с проржавленными прутьями, - такие кровати добыли для нас из какого-то общежития, и мы были им рады. Я попала второй раз к Анне Андреевне - в первый раз она тоже лежала и, отложив книгу в сторону, выслушала меня. К нам тоже повадились цыгане, и одна цыганка, очень хорошенькая, молоденькая, пришла в пальто, накинутом на голое тело, она бежала от немцев из Молдавии. Мы тогда дали кто что мог и одели ее; от Анны Андреевны ей досталась ночная рубашка. И вот прошло дней десять, и эта же девочка-цыганка, запямятовав, должно быть, что была уже в нашем доме, снова появилась на пороге и снова под пальто была голая. Она нарвалась на мою мать, которая, отругав её, прогнала, мне же велела быстро предупредить Анну Андреевну, а то та не разберется и опять что-нибудь даст этой вымогательнице. Анна Андреевна выслушала мой рассказ о цыганке, промолвила:

- Но у меня нет второй ночной рубашки...

На этот раз, когда я пришла со свертком от Златогоровой, Анна Андреевна лежала, закинув руки за голову, а на груди у неё была открыта записная книжка - я должно быть, прервала её работу.

- Опять цыганка? - сказала она, глядя в потолок.



Она лежала все в том черном платье с открытым вырезом и ниткой ожерелья на шее, босая, длинноногая, худая, с гордым профилем, знакомым по картинам и снимкам, запрокинув голову, закинув руки за голову, казалось, написанная на холсте черно-белыми красками, и за солдатской койкой чудилось - не эта дощатая стена с обрывками грязных обоев, а гобелен с оленями и охотниками и под ней - не солдатская железная койка, белая софа...

Понимая, что Анна Андреевна может быть голодна, я хотела, чтобы она сразу обратила внимание на принесенный сверток, и что-то промямлила про съестное.

- Благодарю вас! - проговорила она, - положите, пожалуйста, на стол. - И, повернув ко мне голову, добавила: - Поэт, как и нищий, живет подаванием, только поэт не просит!.."

"Советский или красный граф", Алексей Толстой, как его называли в писательских кругах, пытался помогать по-своему. Ахматова была польщена бурным выражением чувств с его стороны, принимала от него продукты, но и тяготилась шумными восторгами и непомерными похвалами.

Однажды Толстой решил проведать Анну Андреевну в её келье. Лестница, по которой надо было подниматься на второй этаж, была шаткая, валкая и разбитая, как вспоминала потом комендантша дома Полина Железнова.

Будучи грузным и не очень здоровым человеком, Толстой тяжело поднимался по лестнице, часто останавливался и тяжело дышал. За ним шли два сопровождающих товарища, нагруженные корзинами с продуктами. "Ахматова вышла к нему и сказала: "Здравствуйте, граф!" Он поцеловал ей руку, и они пошли к ней в комнату. Когда гости ушли, почти все продукты были розданы моментально".

В марте 1942 года Алексей Толстой предложил Ахматовой переехать в дом академиков, но она отклонила это предложение. За комнату надо было платить 200 рублей, а таких денег у неё не было.

"Сообщила, что никуда не поедет. "Здесь я, платя 10 рублей за комнату, могу на худой конец и на пенсию жить. Буду выкупать хлеб и макать в кипяток. А там я через два месяца повешусь в роскошных апартаментах".

Весь дом ликует по поводу её решения. Рассказывают, что Цявловский вдруг кинулся целовать её руки, когда она несла выливать помой", - писала в "Ташкентских тетрадах" Л.К. Чуковская.

В доме на К. Маркса Ахматовой очень помогала по хозяйству жена драматурга И. Штока, до своего отъезда в середине 1942 года. И жена драматурга Радзинского, мать ныне известного писателя и драматурга Эдварда Радзинского, который с родителями тоже находился в Ташкенте. Радзинская постоянно отоваривала карточки, убиралась в её комнате.

Исидор Шток и его жена были соседями Ахматовой по общежитию, слушателями её поэм, помощниками в быту. "К тому же, - писала Л. Чуковская, - Исидор Владимирович, весельчак и остроумец, развлекал Анну Андреевну своими каламбурами. Когда Штоки уезжали ... Ахматова сделала им драгоценный подарок: собственноручно переписанный экземпляр "Поэмы без героя" 1942 года". Помощь Ахматовой, которая осуществлялась абсолютно добровольно многими её почитателями, раздражала некоторых обитателей дома. "Оказывается, там есть целая когорта дам-вязальщиц - во главе с мадам Лидиной, - вспоминала Лидия Корнеевна, - которые возмущены тем, что NN сама не бежит за пирожками, а ей радостно их приносят, что Цявловский носит ей обед, что Волькенштейн кипятит чайник и т.д. Стихов её они не читали, лично с ней не знакомы, но рабы души не могут вынести, что кто-то кому-то оказывает почет без принуждения, по собственной воле..."

Вскоре частыми посетителями комнатки Анны Андреевны становятся люди из театральной и артистической среды: Р. Беньяш, Д. Слепян и другие. Частая гостья и Фаина Георгиевна Раневская - великая актриса, привнесшая в жизнь поэта несколько иные нравы. При ней обычным делом в крохотной комнатке Ахматовой стали всевозможные артистические гулянки. Раневскую сопровождали её подруги-актрисы, дамы, по отзывам самой же Ахматовой, ограниченные и грубые.

Все это разрушило на долгие годы её дружбу с Лидией Чуковской, которую многое шокировало в Раневской. Анна Андреевна умела быть разной: серьезно и глубоко общаться с пушкинистами, и в частности с Цявловскими, проживавшими по соседству, вести разговоры с Лидией Корнеевной о литературе и поэзии, и в то же время чувствовала вкус острого слова, грубой шутки и анекдота, что, впрочем, не отличало её от великих поэтов.

Ахматова тяготилась неумными подругами актрисы, к самой же Раневской была искренне привязана, - она любила талантливых людей, со всеми их недостатками. Она стремилась избежать намека

на любое давление, с чьей бы стороны оно ни исходило, каким бы целям ни было подчинено.

Распутывание отношений Ахматовой с ближними и дальними людьми будет перемежаться тяжелыми, а иногда смертельными болезнями. Все годы эвакуации она боролась со смертью, из лап которой чудом вырвалась, улетев из блокадного Ленинграда. Однако смерть подходила к ней очень близко во все годы жизни в эвакуации; два раза она тяжело болела тифом, потом скарлатиной и ангиной, и так почти до самого отъезда.

Жизнь, смерть, любовь, ненависть, ревность, зависть, злоба и доброта проявлялись в этом тесном человеческом и писательском мирке почти ежедневно. Иногда все вдруг смешивалось, запутывалось... Нужна была определенная широта и мудрость, чтобы понять, что происходит с тем или иным человеком. Куда его несет. А менялись в те годы почти все. Можно сказать определенно, что входили в водоворот военных лет одни люди, а выходили совершенно другие. И те, кто умел сохранять доброту и великодушные, легче переносили несчастья. Откликались на беду, помогали, жалели. Но были такие, кто не допускал к себе жалости, не позволял себя жалеть; были высокомерны и горды, заносчивы, возможно, по юности или неопытности жили своей непонятной сложной внутренней жизнью, и молва бывала к ним беспощадна. Так было с Георгием Эфроном, сыном Марины Цветаевой, который очень скоро станет одним из участников маленьких и больших драм и трагедий ташкентской эвакуации.

Шлейф сплетен, поверхностных суждений тянется за некоторыми обитателями ташкентской колонии по сей день. Сплетни об Ахматовой, рассуждения о её особой привилегированной жизни в эвакуации, разговоры о трусости Луговского и о Муре, который будто бы погубил свою мать... Но письма, дневники, записи, оставшиеся после них и открывшиеся в последнее время, многое разъясняют и ставят все на свои места.

Каморка Георгия (Мура) Эфрона

Когда в Ташкенте появился Георгий (Мур) Эфрон, сын недавно погибшей в Елабуге Марины Цветаевой, то первым, кто стал с ним делить свой скудный паек и подношения, стала А. Ахматова. Юноша, ещё недавно живший во Франции и Чехии, с трудом впитывал в себя законы советского общежития. Но он пытался выжить. Мать покончила с собой, отец к тому времени уже был расстрелян в подвалах Лубянки, сестра отбывала срок в лагерях.

Мур был ужасно одинок и заброшен, но держался за жизнь из последних сил. Проведя некоторое время в Чистопольском интернате для писательских детей, он отправился в Москву, а оттуда в Ташкент. Он стал учиться в ташкентской школе, всячески избегая мальчишеских ссор, драк, не любил никаких вечеринок. Его товарищами ненадолго стали Э. Бабаев, В. Берестов и И. Крамов, но сверстники вызывали у него усмешки, его тянуло к "взрослым", благополучным писателям с налаженным бытом или с хорошими манерами. В Ташкенте он сначала привязался к Ахматовой, а затем к Толстым.

К весне 1942 года Георгий Эфрон получил угол в доме писателей на улице Карла Маркса. У него была крохотная комнатка, фанерная выгородка без окон. "В ней едва помещались стол, стул и узкая кровать, застеленная стареньким пледом, - вспоминал Эдуард Бабаев. - Над столом была укреплена книжная полка, на которой стояли сборники Марины Цветаевой "Версты", "Ремесло", "Царь-Девушка".

Иногда Мур читал на память стихи. И тогда оказывалось, что у стен есть уши: то слева, то справа из-за фанерной перегородки слышались голоса обитателей этого многонаселенного дома, просивших Мура прочесть ещё и другие стихи.... Мур зарабатывал на хлеб тем, что писал плакаты и стихи для Телеграфного агентства (УзТаг), но работа была не всегда".

В письме к тетке в Москву 7 августа он описывал свой быт и свое драматическое бытие: "Живу в душной каморке без окна; входя в неё обливаешься потом. Да ещё кто-нибудь иногда одолжит плитку для "готовки" так становится как в кузнице Вулкана. Это - внешние, наружные влияния. Часто чувствую себя плохо, особенно утром. Трудно подняться с жестчайшей кровати, и ноги как тряпки. Трудно устроиться со стиркой; мне, щеголю, очень тяжело ходить в грязных брюках.

Живу в доме писателей; шапочно знаком со всеми; хотя ко мне относятся хорошо (одинок, умерла мать и т.д.), но всех смущает моя независимость, вежливость. Понимаете, все знают, как мне тяжело и трудно, видят, как я хожу в развалившихся ботинках, но при этом вид у меня такой, как будто я оделся во все новое.

Ожидают смущения, когда я выношу тяжелейшее ведро, в пижаме и калошах, но удивляются невозмутимости и все-таки смотрят как на дикобраза (я смеюсь "перекультуренного дикобраза"). ... На днях, возможно, мне удастся оформиться на

постоянную плакатно-халтурную работу (на дому)". Питание его было слишком скудным, молодому человеку не хватало того минимума, который он получал по безлитерной карточке. Он не выдержал и продал вещи хозяйки, то есть фактически украл, и на эти деньги некоторое время питался. Потом он расплачивался за это, мучительно унижаясь перед хозяйкой, подавшей заявление на него в милицию, умолял московских теток продавать свои и материнские вещи, книги, но это было потом. Говорят, что ему помогали собирать деньги друзья его сестры Али - А.И. Дейч, и Л.Г. Бать - и тот же А.Н. Толстой.

Отступление из сегодняшнего дня Начиная собирать книгу, я знала, что в Ташкенте обитал Мур, - об этом было подробно рассказано в книге Марии Белкиной о семье Цветаевой, и я не собиралась отводить ему много места, так как задача была очень локальная: есть две семьи, проживание каждой из них связано с Анной Андреевной Ахматовой, есть большое количество людей вокруг, жизнь которых постоянно пересекается с основными героями. Но оказалось, что повествование стало все более расширяться и некоторые лица вошли в него, будто для них было отведено место. Читая опубликованные письма Мура, изданные Болшевским музеем Цветаевой, я вдруг поняла, что его острый и злой взгляд меняет общую картину ташкентской жизни. В писательской среде самым фактом рождения он был человеком "своим" - и одновременно человеком со стороны.

Он не стал "интеллигентом", а остался, в западном смысле, образованным, цивилизованным человеком. Готовясь быть писателем, он старался на страницах писем и дневников показать себя в роли бесстрастного хроникера писательского ковчега, иногда описывая его отстраненно, а иногда срываясь в ерничество. Его язвительный тон похож на голос несчастного, одинокого "подростка" Достоевского.

Во фрагментах французского дневника Мура, частично приведенного в предисловии к книге писем, вдруг предстала пара поэтов, фамилии которых были спрятаны за инициалами "Владимир Л. и Павел А.", судя по всему, описывались Луговской и Антокольский, картинка их появления в дневнике Мура была очень интересной, но об этом будет рассказано в своем месте.

"В этой комнате Колдунья до меня жила одна..."

То горькая и злая,

То девочка, то словно зверь мохнатый,

То будто мудрость, даже состраданье,  
То словно злоба в огненном свеченье,  
То словно радость или вещей сон.

В. Луговской. Крещенский вечерок

Прямо над комнатками Луговских находилась знаменитая балахана комната с ведущей туда лестницей, заканчивающейся балкончиком. Там поселилась Елена Сергеевна Булгакова. "Дом на Жуковского, 54, состоял из нескольких построек - направо, налево, главный особняк, - вспоминала Г. Козловская, - и строение в глубине двора. К нему была словно прилеплена снаружи деревянная лестница, ведущая наверх, на балахану (вероятно, наше слово "балкон" пришло с Востока, как и множество других). Еще до переезда туда Анны Андреевны там уже жили писатели - Иосиф Уткин, Луговской, Погодин и другие ...".

Елена Сергеевна была дружна с Анной Андреевной ещё с 30-х годов. Ахматова любила талант Михаила Афанасьевича Булгакова, написала стихотворение на его смерть. В Ташкенте Елена Сергеевна многим давала читать роман "Мастер и Маргарита". М. Алигер, со слов Раневской, писала о том, как Ахматова читала вслух куски романа Булгакова и повторяла: "Фаина, это гениально, он гений!"

С Луговскими в Ташкенте Елена Сергеевна одно время жила общей семьей.

Булгакова вошла в жизнь Луговского в конце 1940 года. Ей посвящены несколько поэм книги "Середина века", написанных в Ташкенте. Это апокалиптическая "Сказка о сне" (первоначально она называлась "Гибель вселенной"); "Крещенский вечерок", действие которого происходило на знаменитой лестнице на балахану, потом неоднократно оживающей в стихах Ахматовой; "Первая свеча", где описана история трагического отъезда из Москвы в эвакуацию. Почти все поэмы ташкентского периода были перепечатаны рукой Елены Сергеевны на машинке. Ее сыновья с нежностью, подружески относились к Луговскому, а Женя Шиловский писал ему с фронта очень теплые письма.

Их история началась после того, как умер М.А. Булгаков. Елена Сергеевна оказалась в водовороте новых отношений, очень неровных, но на тот момент необходимых им обоим.

"Володя жил под Москвой, - рассказывала Татьяна Александровна. Кажется, это был сорокой год, да, сороковой. Он позвонил мне - приезжай и оденься получше. Я оделась - у меня были такие вставочки из органди. Все хорошо, но на лице

выступили пятна - аллергия у меня бывала, теперь уже нет. У него была комната большая. Пришел Маршак, сел под торшер, читал стихи. Он много знал наизусть. Бесконечно.

Потом Володя повел меня знакомиться с Еленой Сергеевной. Она мне показалась очень старой. Ей было лет 50. Потом перестало так казаться. Она не была красивой никогда, но была очень обаятельна. У Володи с ней был роман. Я её понимаю. У неё в жизни образовалась такая дыра, её нужно было чем-то заполнить".

Елена Сергеевна очень тяжело пережила смерть мужа, Луговской не был и не мог стать заменой, занять место Булгакова не мог никто. Ей, видимо, просто нужен был талантливый и добрый человек, к которому можно было прислониться. Своим бесконечным обожанием В.А. покорила её.

Дочь Луговского, Маша (Муха), которой было тогда десять лет, вспоминала, как увидела Елену Сергеевну первый раз. В конце сорокового года Луговской часто заходил к дочери в свою бывшую квартиру в Староконюшенном, где маленькая Муха жила с матерью. В тот день они пошли гулять и за разговорами оказались на Новодевичьем кладбище. Подошли к могиле Надежды Аллилуевой. Отец сказал ей, что, когда сюда приезжает Сталин посетить могилу жены, кладбище закрывается. Потом пошли вглубь по аллеям и на скамеечке увидели женщину, которая сидела возле могилы. Луговской сказал дочери, что это его знакомая, Елена Сергеевна Булгакова, и Муха поздоровалась с ней. Вместе они вышли с кладбища. Муха стеснялась незнакомой женщины и молча шла впереди, а Луговской с Еленой Сергеевной сзади о чем-то негромко разговаривали. "Видимо, вспоминая о той нашей встрече, - рассказывала Мария Владимировна, - в письмах из Ташкента папа часто передавал мне привет от Елены Сергеевны".

Опыт бедственного счастья

Луговской был красив, ярк и в то же время добр, мягок и податлив. Он нравился многим женщинам. Они любили его бесконечно. Остались сотни писем от тех, которые страдали, проклинали и все равно прощали его.

Его первое по-юношески сильное чувство было связано с именем Тамары Груберт. В 1918 году в Сергиево, недалеко от колонии, организованной отцом, спасавшим в Подмосковье детей от голода, стоял туберкулезный санаторий, куда молодой Владимир Луговской бегал на свидания к дочери врача. Позже он посвятит ей первый сборник своих стихов "Мускул". Эта юношеская любовь

шла через испытания новой моралью: молодые люди менялись фамилиями, утверждали, что свободны друг от друга, расставались, встречались, но после тяжелого кризиса в жизни поэта стали жить вместе. Тамара родила ему дочь Машу (Муху), но их брак просуществовал недолго.

Пианистка Сусанна Чернова, с которой он стал жить в начале 30-х годов, немного вздорная, но независимая женщина, не вынесла бесконечно сжигающей ревности и в усталом раздражении ушла из дома, от его легкомысленной ветреной жизни, от поклонниц, вечно осыпающих его письмами и фотографиями, от неопределенности, свойственной поэтам, тяжело отражающейся на совместном существовании. Луговской очень тосковал о ней, молил вернуться, но напрасно. Он посвятил ей лирический сборник стихов "Каспийское море", свои лучшие лирические стихи; некоторые образы поэм из будущей книги "Середина века" были навеяны её рассказами о детстве в Баку. Он тяжело пережил её уход в конце 30-х годов.

Майя Луговская (Елена Леонидовна Быкова), с которой он свяжет свою жизнь после войны, на основании его рассказов, писем и своих догадок в частично опубликованных мемуарах выстроила свой образ Елены Сергеевны Булгаковой и её отношений с Луговским.

"Меньше года оставалось до начала войны, - писала она. - Измученная тяжелейшей, длительной болезнью мужа, пережившая его смерть, Елена Сергеевна тогда как бы возрождалась к жизни. Она была ещё хороша. Среди тех, кто окружал её, появился и Луговской. Он был холост, свободен. Возник роман. Луговской влюбился в Елену Сергеевну. Повез в Ленинград, чтобы познакомить её с Тихоновыми. Ироническая Мария Константиновна (жена Тихонова) как-то рассказывала мне потом, что Луговской, подобно тетереву, распускал перья, токуя перед Булгаковой.

"Звал Инфанта. Ее, даму под пятьдесят", - посмеиваясь, говорила она.

... Разрыв с Сусанной не прошел для него легко, он любил её и мучился. Уже из Парижа в 36-м году, когда он стал жертвой автомобильной катастрофы и с проломанным черепом отлежал в больнице, Луговской вернулся другим. Трудно было осмыслить, пережить, оправдать все, что происходило в стране, - массовые репрессии, аресты. Исчезали и гибли люди вокруг. Сдавали нервы. Не избежал он и личной травли, тяжело пережил её, но держался.



Спасала работа, друзья, ученики. Жизнь продолжалась. И вдруг Елена Сергеевна - ум, обаяние, красота, имя! Почему бы ему и не влюбиться? Фадеев тоже ухаживал за ней, такой орел ... Кругом черно. Елена Сергеевна была единственной ниточкой жизни. Она ободряла, призывала быть стойким, держаться, находила нужные слова. Елена Сергеевна была сильной, свободной и веселой женщиной. Когда началась эвакуация, что-то разладилось в их отношениях. У Луговского появились претензии, возник счет. Хотя в Ташкент они уезжали в одном поезде, но дружбы между ними уже не было. В Ташкенте все наладилось вновь".

Когда началась война, Луговской был прикомандирован от редакции "Красная звезда" к работе в боевом листке Северо-Западного фронта. Буквально в первые дни войны его шумно проводили с территории Литинститута ученики поэтического семинара; гремели оркестры, цветы, поцелуи; среди провожавших была и Елена Сергеевна.

Поезд, в котором поэт ехал на фронт, был разбомблен в районе Пскова. Луговской пробирался через перекореженное железо, сквозь разорванные тела убитых и раненых, увидел воочию гибель множества людей в то время, когда в Москве ещё никто не понимал истинный масштаб трагедии. Выйдя из окружения, он через неделю возвратился в Москву. Можно сказать, что поэт вернулся не с передовой - он вернулся из ада, каковым стала вся страна в первые месяцы войны. Это изменило его, он заболел, сломался, из его поэзии ушел прежний, воинственный дух, который ещё несколько месяцев назад звучал в газетных публикациях его стихов.

"Воинская часть, в которую он был командирован, - вспоминала Елена Леонидовна, - направила его в Ленинград. Когда Тихоновы увидели там Луговского, он показался им глубоким стариком. Они помогли отправить его в Москву, где, отлежав в кремлевской больнице какое-то время, он был признан негодным к воинской службе. Это стало началом его личной трагедии. Тяжелая болезнь обожаемой им матери, потом её паралич усугубляли эту трагедию. Мука бездействия. Немец наступал, сдавались города один за другим. Все рушилось в судьбе страны и в его судьбе".

Мария Белкина рассказывала, что неоднократно видела Луговского в те дни в Москве. Он появлялся в редакциях в одной и той же гимнастерке и в пыльных нечищенных сапогах, таким, каким приехал с фронта. Через две недели, встретив его снова, она жестко

сказала ему: "Володя, пойдй домой и вычисти свои сапоги!" Он смутился, потерялся, понурил голову и ушел.

Причины такого внезапного изменения, внутреннего слома Луговского, потрясшего Симонова и многих других его учеников, находились в прошлой жизни поэта. И дело не только и не столько в болезни, контузии и прочем: изменилась страна - и за несколько суток изменился он сам.

Он стал известен в 30-е годы. Вместе с Багрицким и Сельвинским входил в объединение конструктивистов, потом вместе с Маяковским, скорее, из чувства самосохранения вступил в РАПП. В конце 30-х годов пережил тяжелые проработки от партийных чиновников и бывших товарищей по литературному цеху. Его близкими друзьями до войны были Н. Тихонов, П. Павленко, А. Фадеев П. Антокольский. Первые двое прошли вместе с ним походами по республикам Средней Азии, их связали общими воспоминаниями юность, экзотика, захватывающие приключения. Они были, по верному замечанию Э. Бабаева, наши отечественные Киплинги и Лоуренсы "в парусиновых сапогах, в туркестанских фуражках с белым верхом, загорелые и обветренные на солнце, с револьверами за поясом". Они всерьез полагали, что несут в эти восхитительные, древние места новую прекрасную цивилизацию - цивилизацию большевиков. Отсюда и известное в 30-е годы название сборника Луговского "Большевики пустыни и весны", замечательные воспоминания и письма Тихонова о восточных путешествиях.

Потом, когда все три друга "забронзовели" на высоких должностях, даже общие воспоминания не могли уже объединить их. Чуковский так описал их в дневнике в 1946 году: "У руководителей Союза писателей - очень неподвижные лица. Застывшие. Самое неподвижное - у Тихонова. Он может слушать вас часами и не выражать на лице ничего. Очень неподвижное у Соболева. У Фадеева, у Симонова".

В те времена, когда ссылали и убивали сотни поэтов и писателей, Николай Тихонов, поэтический наследник Н. Гумилева, друг Б. Пастернака, а теперь все больше номенклатурный писатель города Ленинграда, в письмах к Луговскому вспоминает их общие походы, мечтает убежать, вернуться в тот простой и правильный мир. Смелые и мужественные в странствиях по самым отдаленным местам Союза, они превращались в жалких и беспомощных, когда дело касалось властных коридоров, партийных и прочих собраний.

Сохранилось, правда, умение писать живые письма. Дом Тихонова, известный своей открытостью и теплотой, собирал множество людей. Но жизнь частная и официальная были разделены огромной стеной.

Перед войной Луговской отправился в поход с Красной армией в Западную Украину и Западную Белоруссию. С другими поэтами, журналистами и писателями создавал новые советские газеты, где печатались тексты, повествующие о победе Красной армии "на освобожденных территориях". Война, начавшаяся 22 июня 1941 года, казалась поэту продолжением того же похода, который он недавно прошел. Но он и представить себе не мог такую войну. Луговской стал в глазах своих товарищей обыкновенным трусом. Когда-то он напроорочил себе будущее названием стихотворения "Жестокое пробуждение": все, что с ним происходило в течение четырех военных лет сначала на фронте, затем в Москве и Ташкенте, было началом такого пробуждения.

После того бесславного возвращения с фронта Луговской попал в Кунцевскую больницу. Депрессия, потеря жизненных сил, потеря себя. В осенние дни в больнице он записывал свои мысли в маленьких книжечках; в них - атмосфера тех дней. Им овладело мучительное чувство хрупкости природы, непрочности всего мироустройства. Вдруг в его записях стали появляться слова о ненависти к природе, чреватой гибелью всего того, что она производит на свет. В устах лирика это была потеря веры в тот прекрасный природный мир, столько лет открываемый им в путешествиях, в романтических странствиях. Возникла странная, дикая, но очень точная мысль: обманула не страна, не государство, не сумевшее отстоять себя, обманула природа, как таковая. Начинался новый отсчет времени. Его отражением станет книга "Середина века".

В записных книжках он писал как поэт, передавая плотность своего состояния, своего переживания. В этих записях - сгущенная атмосфера осенних военных дней, пустые корпуса кремлевской больницы, отчуждение от всего, что раньше было родным. Все стало зыбким, ненадежным; бомбежки сменяют бомбежки, и все выстраиваются в длинную очередь к телефону узнать, живы ли близкие.

Елена Сергеевна, как могла, поддерживала его, писала ему в начале войны нежные письма из Пестово, где находился дом отдыха МХАТа.

"Вот Вам, милый Дима Владимир, мой адрес. Боюсь, что 19-го я в Москву не попаду, так как мне очень трудно далось мое путешествие сюда. Наш грузовик кидало из стороны в сторону по рытвинам и ухабам. Пылища стояла столбом до неба. Как всегда в жизни бывает, безумно пригодились те именно нелепые покупки, которые я сделала в Клязьме. Сергеевы трусы, например, я надела на голову и повязала той резинкой, о которой Вы меня с изумлением спрашивали, для чего она. Это спасло мою вымытую и причесанную голову.

Здесь либо грудные дети, либо матери их, либо старухи с клюками. Все эти категории ни к чему - в смысле разговорном, я понимаю.

Так что я целый день хожу, купаюсь, отдыхаю - все в полном одиночестве. Но это никогда не вредно.

Сергей зато нашел себе кучу мальчишек, с которыми и проводит целый день. Это хорошо. Он смягчился, стал милее. Я его заставляю все делать для себя самому.

Напишите мне о себе, Дима, о Кремлевке, о лечении, о работе, о решении наркомата относительно Вас. Жду ответа. Елена".

Иногда они связывались через сестру Елены Сергеевны Ольгу Бокшанскую. Она с недоверием относилась к увлечению сестры. Умоляла её сидеть в доме отдыха и не выезжать в Москву под бомбежки.

"Милый Димочка, получила Ваше письмо, спасибо.

Очень жалко, что Вас не было дома, когда я позвонила. Отсюда вообще нельзя было звонить несколько дней (и всегда трудно звонить), а тут вдруг я подошла к аппарату и меня сразу соединили с Вашей квартирой. Сегодня я была утром, как всегда, от 8-9 около телефона, но Вы почему-то не позвонили.

Оля говорит, что, пока у меня нет службы в Москве, я должна жить здесь.

Вчера я говорила с одной знакомой, и она обещала помочь мне устроиться в "Мосфильме" на должность помощника режиссера. Посмотрим. Если не наврет, поступлю. Тогда перееду в Москву.

На этой неделе, кажется, okazji в Москву не будет. Поэтому вряд ли приеду на побывку. Если ты хочешь прийти сюда, надо из Калязина прийти пешком. Вот эта знакомая из "Мосфильма" вчера пришла за два часа. Возьми с собой паспорт, оденься полегче - в штатское. Позвони накануне, что выходишь, - пойду навстречу.

С собой ничего из еды не бери, устрою здесь.

Очень довольна, что ты начал лечиться и хочешь работать. Если действительно это сделаешь, будет очень хорошо.

Вот это и будет то, что я хочу, чтобы ты делал.

О том, права или не права, будем говорить лично, если ты придешь сюда скоро.

Сейчас пишу наспех, кругом народ - Оля уезжает. Хочу ей дать письмо. Получил ли мое письмо по почте? Написала 17-го.

Будь здоров. Держись.

Целую тебя. Елена".

Видимо, в августе 1941 года между ними произошла жестокая ссора. Причины её неизвестны, но в архиве Луговского сохранилась записка без даты, но очень красноречивая. "Володя, я очень твердо говорю тебе, что мы расстаемся. Я много раз говорила это тебе, но поверь, что сейчас это последний. Я не смогу быть с тобой. После вчерашнего. Так как разговор будет мучителен и бесцелен для обоих - я попросила Сашу, нашего с тобой друга, переговорить с тобой и передать это письмо. Может быть, когда все уляжется, мы и сможем увидеться, но сейчас не надо ни приходить, ни звонить. Пойми это. Лена".

Татьяна Александровна вспоминала об этой истории, может быть, чересчур пристрастно, она вряд ли знала причину их ссоры: "А потом Елена Сергеевна с Володей поссорились, и она, назло ему, закрутила роман с Фадеевым".

Сказка о сне

В поэме Луговского "Сказка о сне", написанной под трагическим впечатлением начала войны, мистически преображена картина свидания поэта с некоей возлюбленной с чертами Е.С. Булгаковой.

Это последняя встреча влюбленных перед гибелью мира, перед катастрофой вселенского масштаба. Стрелки часов навсегда замерли на четырех часах - времени начала войны. Окна затемнены, звучит вой сирен воздушной тревоги. Все покидают дом. Остаются двое. В каждом из них продолжает жить погибающая вселенная.

В этой поэме была одна странная деталь. Влюбленные находились под пристальным взглядом кота в манжетах. Он ходит за ними из комнаты в комнату, все понимает, все оценивает... "Я оглянулся. Снизу шел, мурлыча, /Спокойный кот в сверкающих манжетах ...". Они прощаются. Кот, "ощерясь, глядит в окно". Несомненно, это был не просто кот, образ перекликается и со знаменитым Бегемотом, а, возможно, и самим Булгаковым.

Этот взгляд неотрывно преследовал Луговского всю историю его отношений с Еленой Сергеевной. Он читал "Мастера и Маргариту" после войны своей будущей жене Майе, с восторгом пересказывая страницы романа, но при этом не мог скрыть, что ревновал "Маргариту" к покойному Булгакову.

"Я-то лично очень счастлива здесь, - пишет Елена Сергеевна Луговскому после возвращения в Москву в 1943 году, - и вот почему: здесь я знаю, что я Булгакова (пишу это, зная все отрицательное отношение Володи к этому афоризму), здесь у меня есть много друзей, здесь мой дом, мои - дорогие для меня - памятные книги, архив, рукописи, вещи, вся атмосфера жизни, без которой мне было очень тяжело в Ташкенте и которая меня поддерживает в Москве. Сейчас я погрузилась целиком в прошлое, я сижу часами над чтением тетрадей, писем, рассматриванием альбомов. Я - дома. Я не боюсь ничего".

В архиве Луговского, помимо фотографии Елены Сергеевны, хранилась ещё и фотография Булгакова, а одна из поэм "Середины века" первоначально была посвящена М.Б. (Михаилу Булгакову). Он преклонялся перед творчеством писателя и мучительно осознавал, что Елена Сергеевна при всем её прекрасном к нему отношении, даже влюбленности, неуловима для него.

В феврале 1943 года Елена Сергеевна, находясь в своей комнатке на балахане, записала увиденный ею сон о Булгакове: "Все так, как ты любил, как ты хотел всегда. Бедная обстановка, простой деревянный стол, свеча горит, на коленях у меня кошка. Кругом тишина, я одна. Это так редко бывает.

Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне: громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то видное одному тебе. Они были даже ещё больше, ещё ярче, чем в жизни. Наверное, такие они у тебя сейчас. На тебе был белый докторский халат, ты был доктором и принимал больных. А я ушла из дому после размолвки с тобой. Уже в коридоре я поняла, что мне будет очень грустно и что надо скорее вернуться к тебе. Я вызвала тебя, и где-то в уголке между шкафами, прячась от больных (пациентов), мы помирились. Ты ласково гладил меня. Я сказала: "Как же я буду жить без тебя?" - понимая, что ты скоро умрешь. Ты ответил: "Ничего, иди, тебе будет теперь лучше".

Но в те, особенно тяжелые для семьи Луговских, ташкентские дни Елена Сергеевна, как могла, поддерживала их семью. Татьяна

Александровна с благодарностью вспоминала её фантастическое умение оказываться в нужное время в нужном месте. Многие её считали богемной и светской дамой, но это было только внешнее впечатление. По воспоминаниям знавших её тогда людей, ей ничего не стоило подоткнуть подол, взять ведро и спокойно вывезти любую грязь, навести порядок. Татьяна Луговская вспоминала про первые ташкентские дни: "Приехали в Ташкент, нас уже встречала карета "скорой помощи", маму отправили в больницу.

А потом, уже в больнице, с мамой случился ещё один инсульт. Я приехала, она была без сознания, увидела меня (врачи мне до сих пор не верят), у неё что-то двинулось в глазах, сознание на миг проглянуло из мути и она сказала: "Я - пропала!"

Я тогда осталась в больнице с ней, на папиросной коробке нацарапала записку Володе, чтобы он прислал мне подушку, и послала с кем-то. А на ночь в больнице никто из медперсонала не оставался. Я уже заснула, вдруг стук внизу. Я удивилась, спустилась, смотрю - сторож из проходной: "Иди, к тебе пришли". И как сейчас вижу: маленькая будочка-проходная, козырек на улицу, под козырьком лампочка тусклая, и в этом свете стоит Елена Сергеевна с Сережей, своим сыном, ему тогда лет 15 было. Она мне принесла подушку, кофе в термосе, ещё что-то. А идти далеко. Ташкент. Ночь. Три раза Елена Сергеевна мне очень помогла - при первом инсульте, в больнице и когда мама умерла - обмывать, собирать".

Комната на балахане, в которой потом поселится Ахматова, становилась все уютнее; не случайно в её стихотворном цикле "Новоселье" будет незримо присутствовать Елена Сергеевна.

"Елена Сергеевна была удивительной женщиной, - писала З.Б. Томашевская. - Об этом говорили все, кто её знал. Она дарила людям покой, надежду и силу даже в самые страшные минуты их жизни. И Анне Андреевне пришлось тоже это испытать".

Пушкинская улица - Первомайская улица. Алексей Толстой и другие Возле Узбекского отделения Союза писателей жили, по словам Марии Иосифовны, именитые писатели и их жены - А.Н. Толстой с Людмилой Толстой и сыном Митей, Всеволод Иванов с семьей, Екатерина Пешкова, первая жена Горького. Здесь находились основные продуктовые распределители. Для литераторов республиканское отделение Союза писателей было основным местом, где собирались на лекции и писательские

собраний, здесь на улице слушали последние сводки из репродукторов, передававших последние известия.

В писательской столовой, которая находилась на застекленной веранде, не только обедали, встречались, здесь происходили распределения вещей бытовой комиссией.

На Первомайской улице поселился со своей красавицей женой Алексей Николаевич Толстой, он приехал с ней из Куйбышева, с ним вместе жили мать жены, секретарша и домработница. В декабре правительство Узбекистана предоставило ему особняк в предместье Ташкента с прекрасным садом. К.И. Чуковский записал в дневнике 21 января 1942 года: "Вчера в Ташкент на Первомайскую улицу переехал А.Н. Толстой. До сих пор он жил за городом на даче у Абдурахмановых. Я встречался с ним в Ташкенте довольно часто. Он всегда был равнодушен ко мне, хотя мы знакомы с ним 30 лет ...".

У Толстого и Пешковой проходили так называемые элитные гостиные, где они устраивали поэтические и музыкальные вечера.

"NN (Ахматова) читала поэму, - записано в дневниках Л.Чуковской об одном из таких посещений, - Алексей Николаевич заставил её прочесть поэму дважды, ссылаясь на все ту же знаменитую трудность и непонятность. По-моему, он и после двух раз не понял".

Ахматова сложно относилась к Толстому. Судя по воспоминаниям английского филолога Исая Берлина, который общался с Анной Андреевной после войны, они обсуждали её взаимоотношения с Толстым. "Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он ходил в лиловых рубашках *a la gusse* и любил говорить о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был удивительно талантливый и интересный писатель, очаровательный негодяй, человек бурного темперамента. Его уже нет. Он был способен на все, на все, он был чудовищным антисемитом; он был отчаянным авантюристом, ненадежным другом. Он любил лишь молодость, власть и жизненную силу".

Антисемитизм не мешал Толстому близко дружить с Соломоном Михоэлсом, великим еврейским актером, который ставил на подмостках ташкентского театра национальные оперы. Может быть, их сближали невероятное жизнелюбие и бурный темперамент, свойственные им обоим. К Михоэлсу, который жил здесь же на Пушкинской улице, приходил Луговской. В огромной,



выгороженной из конференц-зала комнате литератора-ученого А. Дейча, в доме, где были расселены деятели науки, Луговской слушал хасидские легенды и анекдоты в исполнении великого актера, а потом они вместе пили и пели.

Однажды в театре оперы и балета был устроен концерт. Толстой сам написал для спектакля одноактный скетч. В спектакле играли Раневская, Михоэлс, Абдулов и сам Толстой. Зрители были в полном восторге. Толстой, по воспоминаниям друзей, просил Михоэлса подольше не уходить со сцены, поиграть еще, поимпровизировать. Потом он признавался, что испытывает от игры настоящее наслаждение.

В Ташкенте А. Толстой председательствовал в редсовете Ташкентского филиала издательства "Советский писатель", продолжал работу над пьесой "Орел и орлица", первой частью дилогии "Иван Грозный". Он выступал с чтением этой пьесы перед писателями, историками в середине февраля 1942 года. К пьесе недоверчиво отнеслись в верхах, Алексей Толстой тяжело переносил временную опалу, неоднократно отсылал текст с поправками Сталину, чтобы вождь сделал свои замечания. Щербаков в апреле 1942 года писал Сталину, что необходимо запретить Толстому как публикацию, так и постановку пьесы об Иване Грозном, потому что пьеса извращает светлый облик любимого народного царя. Толстой, крайне расстроенный тем, что ему не дали Сталинской премии за пьесу (дурной знак!), пытался её улучшить.

Интрига состояла ещё в том, что вполне успешно продвигалась работа у Эйзенштейна в Алма-Ате с фильмом "Иван Грозный". Луговской приезжал оттуда со сценарием (он работал с Эйзенштейном над песнями к фильму) и читал выдержки из него многочисленным слушателям, в том числе и Толстому.

К пьесе "красного графа" без энтузиазма отнеслись и эвакуированные. В одном из писем юный Михаил Левин, в будущем известный физик, откровенно иронизировал: "Граф Толстой читал "Ивана Грозного". Здорово выдуманно. Царь-демократ, первый русский гуманист. Графу бы только про Ежова теперь писать".

С середины 1942 года в дом Толстого стал ходить Георгий (Мур) Эфрон.

Мур - после нескольких лет голода и безбытности, с европейской привычкой к чистой, красивой жизни - более всего в Ташкенте привязался к благополучному дому Алексея Толстого и

его красивой, холеной жены. "Часто бываю у Толстых, - писал он в конце 1942 года сестре Але. - Они очень милы и помогают лучше, существеннее всех. Очень симпатичен сын Толстого - Митя, студент Ленконсерватории. Законченный тип светской женщины представляет Людмила Ильинична: элегантна, энергична, надушена, автомобиль, прекрасный французский язык, изучает английский, листает альбомы Сезанна и умеет удивительно увлекательно говорить о страшно пустых вещах. К тому же у неё есть вкус, и она имеет возможность его проявлять. Сам маэстро остроумен, груб, похож на танк и любит мясо. Совсем почти не пьет (зато Погодин!..) и совершенно справедливо травит слово "учеба". Дом Толстых столь оригинален, необычен и дышит совсем иным, чем общий "литфон" (о каламбуры!), что мне там всегда очень хорошо".

Мур не признавался в письмах в том, что ходил в дом к Толстым, чтобы его накормили. Он обедал ещё у А. Дейча в четырехэтажном доме по Пушкинской, 84, который находился недалеко от дома Толстых. До войны здесь помещалось Главное управление лагерей. Гулаг, как вспоминал Дейч, потеснился и переехал на первый этаж, а зловещая система проверок с часовыми, пропусками - осталась. Мура в основном кормили в этих домах.

Алексей Толстой часто разъезжал по городу на фаэтоне, запряженном лошадьми, вальяжный, полный, с трубкой во рту, - настоящий классик, таким его запомнили обитатели Ташкента. Машин в городе почти не было, трамваи ходили крайне редко и были чрезвычайно переполнены, по улицам в основном перевозили грузы ишаки и верблюды. Михоэлсу, работавшему сразу в нескольких театрах, расположенных в разных частях города, предоставили старую бричку с огромными колесами, запряженную, как вспоминал А. Дейч, унылой клячей и с таким же кучером. Так он перемещался по всему городу. Дейч вспоминал один забавный случай, которых, видимо, было очень много, несмотря на тяжесть той жизни: "С находившимся в Ташкенте артистом Абдуловым он сочинял и разыгрывал ... сценки из узбекской жизни. Один из них изображал старика бая, другой благочестивого имама, и оба сговаривались отправиться на богомолье в Мекку. Однажды ночью, накрутив чалмы на головы и надев халаты, они вышли в пустынный переулок. Встретив старика узбека, по-видимому ночного сторожа, спросили его, где дорога в Мекку. Изумленный старик сказал, что он этого не знает, что идти надо далеко, через моря и горы. Но Михоэлс

вполне серьезно его убедил, что самое трудное - дойти до Чирчика, а дальше уже совсем недалеко".

На Пушкинской улице обитали семьи драматурга К. Финна, Евгения Петрова, Вс. Иванова и многих других.

Часть сотрудников Академии наук, которые попали в Ташкент, были расселены в балетном училище Тамары Ханум. "Большой зал был разделен простынями на клетушки, в которых ютились "рядовые работники", - писал в воспоминаниях Евгений Борисович Пастернак. - На подоконниках и около коек стояли керосинки, на которых варилась и пахла разная еда. Людям покрупнее были отведены комнаты в прилегающих коридорах".

Евгения Пастернак писала в декабре 1941 года Борису Пастернаку о жизни в Ташкенте; их поселили рядом с Пушкинской улицей:

"Дорогой Боря! Уже два дня, как мы живем на новом месте. Нам разрешили занять комнату уехавшей в Москву семьи Кирсанова. Итак, мы живем рядом с Ивановыми в доме, предоставленном эвакуированным писателям. В этом помогли Чуковский и Тамара Владимировна. Как нам с Женькой хорошо, как нам хочется, чтобы ты на нас поглядел. У нас топится в комнате маленькая плита, и мы в ней сейчас печем картофель".

Бытие ташкентцев Начало - середина 1942 года

Вокруг всю ночь цвели лауреаты.

Их лампочки в оранжевых капотах На проволоке сумрачно качались,

И Азия глядела из ворот.

В.Луговской. Крещенский вечерок Чужое

"Недавно освободили меня от военной службы со снятием с учета. Но пока тепло и не слишком уж холодно. Цены в Ташкенте сверхбезобразные. Жизнь, конечно, состоит из сплошных тревог и неприятностей. Сюю материал и на радио, и в газету, и куда попало. Гонорары же и возможности - сама понимаешь какие. Живем вроде писательского коллектива. Сплетни, чепуха и т.д.", - писал Луговской Ирине Голубкиной 21 января 1942 года.

Древний азиатский город, ставший временным убежищем эвакуированных, поразил их вначале своим абсолютно несоветским бытом. "Город, выпавший из законов", - называет его Луговской, а Вс. Иванов в некотором раздражении "городом жуликов, сбежавших сюда со всего юга...".

В это время центральной проблемой для любого жителя, будь он простой мальчишка или крупный писатель, становится выживание, а следовательно, постоянные мысли о быте.

Кого-то это раздражает, кого-то занимает, кто-то вообще погружается в быт с головой и перестает думать о чем-либо другом. Но из низкого б ы т а, "из сора" вырастали и темы высокого б ы т и я.

Луговской словно мазками рисует в своих записных книжках странную жизнь города, с непривычным бытом, плотно обступавшим его снаружи и изнутри.

"Удивительный Ташкент: "Рыжий куст. Удивление. Желтый лист. Красный и желтый цвет".

И Вс. Иванов в дневниках - про то же: "Листья здесь опадают совсем по-другому. Они сыпятся, словно из гербария, - зеленые или золотые, не поковерканные бурей: не мягкие или потрепанные. Они заполняют канавы. Их собирают в мешки. Калека ползет по ним. ...".

Яркий восточный цвет солнца, цвет листьев, резкие тени от тополей, падающих на дома и узкие переулки, в сочетании с нищими, скособоченными домиками, сарайчиками. Все в этом городе, все - контрастно, ярко. Жара и особый, пронзительный холод. Голод и роскошь базаров. Инвалиды-калеки и блестящие военные из академий. Может, ещё от этого у всех так обострены нервы. Луговской и Вс. Иванов обошли в 30-е годы Среднюю Азию, Туркмению, прекрасно знали эти места, и, казалось, Восток не был для них чем-то новым, необычным. Однако их приезды сюда в качестве дорогих гостей, с цветами и оркестрами, сильно отличалась от существования на положении безбытных эмигрантов, встречающих осень, зиму, весну, жаркое-жаркое лето. Отсюда этот полусутоливый вопль Елены Сергеевны к Татьяне Александровне: почему Луговской не рассказал ей заранее, какое невыносимое здесь лето!

Луговской рисует тот мир, который отзовется в поэме "Алайский рынок":

"Другое царство: Тополь. Романские окна. Пьянки, бляди, легкий ветерок безобразного хода судьбы. Перцовые пьяные радости. Отсутствие государственности... Неведомая улица Радио на сквере. Город, выпавший из законов. Наслаждение бесправием. Киоски с портвейном. Сине-желтые парки. Пыль. Приезд военных академий. Московская выставка барышней. Луна как дыня над улицами, где торгуют перцовкой. Лагерь беженцев. Сиплые голоса

милиционеров. Пыль не падает... Неустановившийся ...быт. Первые дожди. Удивительный сквер. На Индию! Чувство юга, а не севера. Дервиш. Никита Богословский. Мое безумие ... души. Арыки. Скользкие переулки. Вино. 3-й удар у мамы. Длинный путь в Ташми. Ощущение сестры Тани, родственное и телесное. Могучие чиновники, спекулянты, сволочь, сырая рыба и дрожащие руки... Впечатления холодные... и первые выступления. ... Прощание. Пиво. Ночь. Умный эгоистически-честный Гусев. Водка в Союзе. Светлана. Переулки. Грозный ход зимы. Октябрь. Передает дочь до счастья знакомые интонации и тембр. ... Глупые речи Вирта. Гриша Широков. Возвращение... Радостная, самозабвенность разложения... Арыки как каналы. Мертвые закаты. Быт маленьких домов с желтыми окнами. Мои прощанья с Н. Городецкой?. Вещи в домах те же, что до войны... Чужие окна. Чужие шкафы. Чужие собаки. Эвакуационные вечеринки. Крохотный уют. Подлецы с водкой. Их личный уют, прописка. Подхалимская радость. Бесстыдное торжество довольно симпатичного чиновника. Снова пиры, пивные, жизнь как прибор ...".

Что составляло их каждодневную жизнь, быть может, в самом трагичном 1942 году?

Писатели ходили друг к другу за новостями или же слухами. Кому-нибудь удавалось ночью поймать иностранное радио, оттуда узнавали новости со второго фронта. Сопоставляли официальную и "ту" информацию. Разрыв был колоссальный, хотя и наша пропаганда вынуждена была отстраненно признавать факт сдачи городов и огромных территорий. Удивительно, но даже люди, привычно обслуживающие власть, такие, как критик Зелинский, говорят полупрошепотом, что им точно известно, что вводятся новые методы агитации и пропаганды - говорить правду, без прикрас и лжи.

Главное общение большинства эвакуированного мужского населения проходило за бутылкой. Несмотря на голодное существование, с выпивкой и на фронте, и в тылу было нормально. Почти все писатели, населяющие Ташкент, и не только Ташкент, спасались от дурных мыслей старинным российским способом: они много и иногда беспробудно пили. Пили Н. Погодин и Вс. Иванов, В. Луговской и В. Гусев, В. Катаев и А. Фадеев. Конечно же, питье в эвакуации это лишь часть огромной картины загулов советских литераторов, а его литературным апофеозом станут знаменитые "Москва - Петушки" Венедикта Ерофеева. Питье как протест, как

уход от реальности или же как трагическое свойство русской, и не только русской, души, - здесь мы подробно исследовать эту тему не будем, но не сказать об этом нельзя, потому что в том небольшом писательском мире эта тема стала общесемейной.

В одном из писем к Тарасенкову М. Белкина писала: "... Сегодня я отчитывала Луговского, он встретил меня на улице и провожал в столовую. Он старая развалина, что я ему и сказала, и довел себя до ужасного состояния. Его все считали трусом, и даже Гусев (член радиокomiteта) боялся передавать по радио его стихи и позвонил в Пур, но там ему сказали, что он на фронте вел себя достойно, но что по состоянию здоровья освобожден совсем. Так говорил Гусев, а там не знаю. Но что он развалина - это факт".

Виктор Михайлович Гусев, несмотря на относительно молодой возраст (около тридцати), был известным партийным поэтом газеты "Правда", автором сценариев нашумевших фильмов "Свинарка и пастух" и "В шесть часов вечера после войны", однако он прожил очень мало и умер в начале 1944 года в возрасте 34 лет. Война основательно меняла людей, говорили, что думали. Вс. Иванов в Ташкенте, общавшийся с Гусевым, пытался понять степень его искренности. По словам Вс. Иванова, тот оставался прежним: "...он так пишет и так говорит, что это строка в строку идет с передовой "Правды", - и это уже большое искусство. Что он сам думает - кроме вина, - не поймешь. Мне кажется, что если бы в передовой "Правды" запретили вино, он, несмотря на всю страсть свою к этому напитку, - не прикоснулся бы к нему".

Многие спьяну могли высказать все, что у них было "на уме". Например, Вс. Иванов в июне 1942 года приводит речи Н. Погодина, своего приятеля, автора "Кремлевских курантов": "Приказ о регистрации мужского и женского населения. В "Белом доме" (видимо, на Жуковской. - Н.Г.) - истерика. Погодин сказал: "А я не пойму, я хочу жить в демократической стране и распоряжаться сам собой". Он был пьян и очень горд, что хочет ехать в Москву". И ещё Вс. Иванов приводит остроумное соображение Михоэлса на эту животрепещущую тему:

"Когда передо мной стоит бутылка и рюмка водки, я чувствую себя свободным. Это - волеизлияние".

В записных книжках Луговского упоминается огромный круг лиц, вписанных в то ташкентское пространство. Поэт переходил из дом в дом, останавливался со знакомыми на улице, обсуждал новости.

На людей он смотрит то с раздражением, то с горечью, то с любовью. Почти всегда восхищается красотой мира, в любом состоянии и при любых обстоятельствах.

"...Торжественная осень. Мощный шум её ветвей и листьев. Синие и красные цветы... Подарки. Уткин. .... Пиво по углам. Я... пьяный, голодный до безумия, напоенный Ос. качаюсь как былинка. Дамы-патронессы. Киоски. Стыд за все это. Стыд и ненависть, и злоба легка как танцовщица. Ощущение трагедии всего мира, всего земного шара, потом утерянное. Япония. Мировая война. Москва таинственная и ледяная. ...Ловля рыбы в Чирчихе. Базар. Пирожки с перцем. Лиловые закаты. Медленные и грубые перемены света. Барышни в отелях. Поляки в новой антифашистской форме. Генерал в берете. Дивные антрепренеры, берущие и дающие, и такие же девушки. Умение жить среди ада. Улица К. Маркса. .... Пиво, спирт. Мое неуклюжее тело, оступающее в арыки... Вечер от всей души. Провода на Пушкинской, и все в снегу. Недоверие, мерзость... Ужас до оцепенения. Юбилей Вс. Иванова. Мои тосты. А.Т.(Алексей Толстой?)..."

В этих описаниях невозможно отделить картины природы от трагического взгляда на людей, нежность от близости родных, удивления от появления европейски подтянутых поляков, новых московских красоток, пьяный угар и скользкие арыки, канальчики, разделяющие улицы, в которые можно спьяну свалиться.

Вс. Иванов записывает почти в те же дни, но его взгляд более желчный, острый и иногда даже злой, хотя в чем-то он пересекается с Луговским: "Город жуликов, сбежавшихся сюда со всего юга, авантюристов, эксплуатирующих невежество, татуированных стариков, калек и мальчишек и девчонок, работающих на предприятиях. Вчера видел толпу арестованных, бледных, в черной пыльной одежде, - они сидели на корточках посреди пыльной улицы, ожидая очереди в санпропускник. Мы шли мимо. Я сказал спутнику, так как нас днем ещё заставляли перейти на ту сторону улицы милиционеры:

- Перейдем на ту сторону.

Стриженные клоками, как овцы, арестантки крикнули:

- Вшей боитесь, сволочи. ...

Скоро будет год, как мы приехали в Ташкент. Я не помню такого общегородского события, которое взволновало бы всех и все бы о нем говорили, - разве бандитизм, снятие часов и одежды. Преимущества централизации".

## Пайки

Выступали на поэтических вечерах, писали статьи, делали сборники для фронта и чтобы обеспечить себя заработками, и чтобы чувствовать себя нужными стране, фронту, народу.

Фадеев из Москвы рассылает письма с требованием откликнуться на военную тему. Но многие просто не считают себя вправе, находясь в тылу, сочинять "на заказ", не нюхая порошу. Они пытаются "писать в стол" о том, что пережили сами, что чувствовали на самом деле. Те же, кто искренне напишет об ужасах войны, об эвакуации, будет тут же подвергнут суровой партийной критике за произведения, "проникнутые мотивами страдания, смерти, обреченности". В донесении на имя Маленкова о положении в литературе, составленном в первые послевоенные годы, подводились некоторые итоги деятельности писателей во время войны.

"Вместо того чтобы, представляя передовую часть советского общества, морально укреплять народ, звать его к победе в труднейшие периоды войны, они сами поддавались панике, малодушествовали. Одни, испугавшись трудностей, - продолжал доносить зав. отделом культуры ЦК, - в 1941-1942 годах опустили руки и ничего не писали. Так К. Федин, Вс. Иванов, В. Луговской в эти годы не опубликовали ни одного художественного произведения, "отсиживались". Другие - создавали такие произведения, которые усугубляли и без того тяжелые переживания советских людей. Н. Асеев, М. Зощенко, И. Сельвинский, К. Чуковский создали безыдейные, вредные произведения".

И. Сельвинский был жестко "проработан" за стихотворение "Россия", Маргарита Алигер за цикл стихов о войне. Личные, исповедальные стихи Симонова "Жди меня", трагическую поэму Антокольского о погибшем сыне, патриотические стихи Ахматовой власть вынуждена была поддерживать: в самые тяжелые дни войны фронт уже сам отбирал для себя необходимое. В конце 1941 - начале 1942 года прошло несколько вечеров поэтов. Анна Андреевна Ахматова жаловалась Л.К. Чуковской 25 января, что её заставляют выступать два дня подряд, "а у неё нет сил; что она имеет право не работать совсем на основании своей инвалидной карточки ("Неужели Вы этого не знали?"). На мое предложение показать эту карточку в Союзе: "тогда меня вышлют в Бухару как неработающую".



Жизнь на карточки была почти невозможна, требовались надбавки, как говорили - лимиты. Все магазины были превращены в распределители. Население и беженцы из Москвы были разбиты на категории - одним полагался совнаркомовский паек, другим литер А, литер Б, кто же был безлитерный - тот имел простую хлебную карточку. Выдавали шелуху от какао и желудевый кофе. Обедали в писательской столовой, но это тоже требовало особых документов, необходимо было получить разрешение.

Из дневников Вс. Иванова: "Каждый день в неподалеку писательской столовой, у тополей стоят рваные нищие, и стоят так прочно, словно стоять им здесь всегда. ... Обед - опять распаренная пшенная каша без масла на воде или нечто, слепленное из макарон".

Часто в столовой давали "затируху" - баланду. Это была клейкая жидкость, остатками которой завсегдатаи кормили пригретых бездомных собак.

"В пайковые периоды - а таких у нас было несколько, - писала Н.Я. Мандельштам в своих воспоминаниях, - главной литературной сенсацией служили выдачи в магазинах, куда прикрепляли лучших".

В архиве Луговского сохранилось письмо в Совнарком Узбекистана от Московского комитета драматургов, возглавляемого Н. Погодиным. Когда Наркомторг приступил к раздаче так называемых "зимних пайков" (речь идет об осени 1942 года), предназначенных для деятелей литературы и искусства, драматургов в этих списках почему-то не оказалось. Это вызывает законное возмущение. "Автор идущей в театре пьесы, если он не член ССП, пайка не получает, а актеры, играющие в его пьесе, указанным пайком пользуются".

#### Оставленные вещи

Еще до войны, в 40-м году Ахматова начала "Поэму без героя", поэму об ушедшем, растаявшем времени, которую, как она написала в предисловии, вызвал к жизни "бунт вещей". Вещи в доме, оставленные близкой подругой Анны Андреевны О. Глебовой-Судейкиной, эмигрировавшей в Париж, "вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем". В них жила память о прошедшей эпохе. Работа над поэмой в эвакуации, где не было не только вещей, но вообще ничего своего, придавала ей иной смысл и объем текста.

Однажды Чуковская прочла Ахматовой свои стихи:

Я там оставила, я не взяла с собой,

Среди вещей любимых позабыла Ту тишину, что полночью пустой Мне о грядущем внятно говорила.

Теперь она убитая лежит В той бывшей комнате - фугаской иль снарядом,

И зеркало, где страшное дрожит Лицо судьбы, - убито с нею рядом.

"Я как раз в последние дни, - сказала ей Ахматова, - все думала написать о вещах, оставленных там, и о тех, которые взяла с собой... Теперь не придется..."

Мысли о том, что оставлены в Москве и Ленинграде не просто предметы, мебель, стены, оставлено что-то ещё более существенное - прошлая жизнь, исчезнувшие запахи, вчерашние радости, приходили в голову самым разным поэтам. И поразительно, как на фотографиях, сделанных до и после войны, меняются лица, словно какая-то тень набежала на них. Никогда и никто уже не будет прежним. Теперь все предметы, ощущения, настроения делятся на те, что были "до и после". Слово "довоенный" стало вмещать в себя целый уничтоженный мир...

Что же касается быта, уклада... Порвалась последняя нить, связывавшая 30-е годы с 20-ми и - через них - с началом века. 40-е годы перерубили время навсегда.

Отсюда поэма-прощание с прошлым веком; Ахматова, как никто другой, почувствовала, что прошлое закончилось именно во время войны, а не с приходом большевиков.

Луговской в те ташкентские годы тоже задумался о разрыве во времени, о внезапно открывшейся бездне. Он пробовал то одно, то другое название для своей книги поэм: "Жизнь", "Книга Бытия", "Книга Жизни", "Середина века", пытаясь определить масштаб произошедших в XX веке катаклизмов, изменивших и судьбу каждого человека, оказавшегося в водовороте истории.

Он пытался разгадать законы этого кошмара и определить в нем место человека, естественно стремящегося к счастью, к уюту, с его представлением о счастье и об уюте.

Все вещи, все предметы, все движенья,

Которые я вижу на пути,

Мне заменяет тонкий, нестерпимый Холодный запах  
необжитых комнат,

Где страсть и смерть, и мерзость и любовь Сошлись поспешно  
в бешеном единстве.

Я вижу все - оставленные книги,

Оставленные рукописи, двери,

Незамкнутые, белые; буфет,

Свидетель бородатых поколений,  
Картины в бедных, потемневших рамах,  
Что до сих пор висят в моей столовой ...  
Мы преступили все противоречья И вышли прямо к морю  
простоты,  
Иль пустоты - а что верней - не знаю.  
Об этом, верно, знает мой отец,  
Он спит на Алексеевском кладбище,  
Что за Сокольниками. Все тот же воздух В оставленной  
квартире сохраняет Сухие линии движений, жестов,  
Голов и профилей, и тени разговоров,  
И тени клятв, и тень моей судьбы.  
Поэма из книги "Середина века" так и называлась - "О вещах"  
(здесь цитируется её первый вариант).

Распределитель

Но была и абсолютно бытовая проблема. Когда уезжали в Ташкент из Москвы, стояла поздняя осень, многие захватили только самое необходимое.

Новым обитателям Ташкента все труднее было переносить жару. Тамара Груберт пишет весной Татьяне Луговской из Москвы: "У вас скоро будет жарко. Как ты? Ведь все летние платья у меня в сундуке. Ищу okazji переслать, но пока безрезультатно". Тамара Эдгардовна - первая жена Луговского осталась в Москве в их общей большой квартире в Староконюшенном переулке.

Ирина Голубкина, мать другой дочери Луговского - Людмилы, была в эти дни в местечке Куропаткино, недалеко от Самарканда и Ташкента, где работала в госпитале. "О том, что ты чувствуешь себя плохо, что жизнь твоя полна тревог и неприятностей, - писала Луговскому она, - что материально скверно - я представляла до получения твоего письма. Даже в Ташкент вы (писательская среда) умудрились перенести все отрицательные условия существования Москвы. Ты так же не исправим".

Итак, наступала весна, война продолжалась, и писатели, поэты и драматурги, а главное, их жены стали через спецраспределители добывать себе одежду. Наверх, наркому торговли пошли письма с просьбами, в частности, и от московских драматургов: "За год пребывания в Ташкенте небольшое количество белья, носков и проч её совершенно износилось, возобновить запас их по местным условиям было невозможно, и к настоящему времени ряд наших товарищей, в том числе и руководящих членов Бюро Комитета,

очутились в весьма затруднительном и, даже можно сказать, бедственном положении. Им необходимо срочно помочь, отпустив для них хотя бы минимально количество носильного белья (по три пары), носков (по 6 пар), носовых платков (по 6 шт.), обуви (по 1 паре) и по 1 костюму. ...

Учитывая, что выдать все просимые вещи для всех членов нашего коллектива может оказаться затруднительным, Бюро сделало отбор наиболее нуждающихся товарищей, список которых помещен на обороте настоящего письма, и выражает уверенность, что такое небольшое количество не сможет затруднить выполнение нашей просьбы".

Список остро нуждающихся литераторов тоже сохранился в архиве Луговского, хотя его имени там не было, но примечательно, что остро нуждающимися в основном оказались парторг, председатель Ревизионной комиссии и прочие не "знатные" товарищи. Так они обсуждали и голосовали часами подряд по поводу носков, носильного белья и носовых платков.

Мария Белкина с юмором описывала одно из таких распределений: "Бытовая комиссия ССП решила добыть эвакуированным писателям вещи ширпотреба. Для этого на Первомайскую в Союз выехал директор универмага с продавцами и кассиром. ... Все проходит под лозунгом "остро нуждающимся эвакуированным писателям". Итак, сцена: узкий зал, в обычное время столовая, сейчас за сдвинутыми столами накинаны груды товаров - одеяла, ичиги (узбекские сапожки), шелка, шерсть и прочее. Стена стеклянная, окна в сад, видны деревья ... Слева и справа две двери. За дверями толпа. Слева "нечистые", справа "чистые".

Лесная (толстая, хромотая женщина, кажется, писательница, что написала - неизвестно, подходит к дверям налево сквозь стекло). "Товара на всех хватит! Спокойствие, спокойствие... (подходит к дверям) граждане, граждане, в первую очередь будут отпускатся товары членам президиума, членам комиссии, отъезжающим на фронт, в Москву и больным"... Первая мадам Иванова, в собольей курточке, вид явно "остро нуждающийся", Лежнев, Погодин, Шназман (директор столовой) и пр. пр. знакомые и родные, друзья и товарищи. Все бросаются к прилавкам. ...". Часть текста в письме вычеркнута военной цензурой, которая сочла такие описания неприемлемыми.

Тамара Иванова, жена Вс. Иванова, вместе с Е. Пешковой, известной хлопотами об арестованных и ссыльных, благородной деятельностью в Красном Кресте, работали в Ташкенте в Комиссии помощи эвакуированным детям. Вместе с женами крупных партийных работников, тоже из этой комиссии, были связаны со всеми распределителями и внешне сильно отличались от обычной эвакуированной публики. Всегда изысканно одетые, прекрасно причесанные дамы составляли элиту писательских жен. К сливкам писательской колонии относились также Людмила Ильинична Толстая и Надежда Алексеевна Пешкова (вдова сына Горького). Отсюда и некоторая ирония к именитым в письмах Марии Белкиной.

Елена Сергеевна и Татьяна Луговская решили делать шляпки и продавать их обеспеченным дамам из эвакуированных. Делали они шляпки из подручного материала; обрезков материи, проволоки, - стирали, красили, крахмалили - и дело пошло. Появились первые клиентки. Уговорить даму купить изысканную шляпку, да ещё в условиях жары, было делом несложным. Кроме того, вкус Елены Сергеевны казался покупательницам безупречным. Товар стали брать. Но каков был ужас модисток, когда выяснилось, что клиентки не могли войти в них даже до порога дома - шляпки подло разваливались, рассыпались прямо у них на голове. Незадачливые модистки прекратили свое производство.

#### Алайский рынок

Как и в любом восточном городе, рынок, рыночная площадь были центром. К ним стягивались улицы, здесь узнавали новости со всего света, рассказывали последние городские сплетни. Теперь, во время войны, именно здесь сосредоточивалась жизнь людей.

Умение обменивать вещи на продукты или одни продукты на другие высоко ценилось в писательской среде.

"Это делали все, - вспоминала Надежда Яковлевна о тех днях, - но мы с ней (Ахматовой. - Н.Г.) не умели делать то, что делают все, ... то есть получать паек бубликами, менять их с приплатой на хлеб, лишнюю часть хлеба снова обменивать, а на приплату выгадывать горсточку риса... У нас закружилась голова от множества тонких операций, на которые были способны все, а нам решительно не везло, потому что я иногда промаргивала самые основные предметы обмена".

Дополнительный паек для Ахматовой появился непостижимым образом. В Ташкент по правительственному проводу позвонил сам

Жданов (!) и попросил позаботиться об Ахматовой, вспоминала Надежда Мандельштам.

"Он, наверное, объяснил, кто она ("наш лучший", "наш старейший поэт"), и в результате приличный писатель из эвакуированных спроворил ей два пайка в двух магазинах и жена писателя, женщина с милицейским стажем, приносила домой выдачи и кормила Ахматову. Когда они уехали, второй паек отсох, так как требовалась новая доза хлопот и улещиваний".

Здесь ещё одно странное сближение - Жданов, заботящийся об Ахматовой. Партийный деятель, который после войны своим знаменитым докладом 1946 года о журналах "Звезда" и "Ленинград", об Ахматовой - "монахине и блуднице" нанесет ей почти смертельный удар, после которого она с трудом оправится. Но в тот момент власть оберегала великую поэтессу, надеясь, что её поэзия ещё пригодится.

Об Алайском рынке, существовавшем во время войны в "развратной пышности" изобилия, ярких красок, дорогих вещей и нищеты, вспоминали почти все обитатели Ташкента. Художница Валентина Ходасевич с горечью писала о том, что Союз художников не позаботился о пайках для своих членов, пришлось идти менять вещи на базар, чтобы купить еды, а вернулись голодные, с огромным старинным подносом, повесили его на стену и любовались.

"А базары, на которых из-за бедности ничего нельзя было купить, казались необычайно живописными и изобильными. Фламандские натюрморты и узбекские узкие глаза. Орехи, сахар, сало, виноград и астрономические цены. И ни копейки никогда не уступят", - вспоминала Татьяна Луговская.

"Азиатский, красочный, веселый, сытый базар! Золотистые, солнечные дыни, оранжевые тыквы, прозрачные, подвешенные гирляндами гроздья винограда, бочонки меда, мешки с белоснежным рисом, бархатные домики молотого красного перца, розовые куски сала с тонкой коричневой прослойкой мяса, бараньи туши, подвешенные за ноги, живые бараны с огромными, хоть на тачке вези, курдюками и одуряюще пахнущий, прямо с пышущих углей - шашлык! Горячий, чуть не дымящийся плов, который узбеки носили в чугунах, завернутых в толстые ватные одеяла, и тут же могли положить на алюминиевую тарелку, или в горсть, или на газету. И такие соблазнительные, с поджаристой корочкой, лепешки - вождение всех голодающих и недоедающих!

Помню, как при мне, - писала Мария Белкина, - на этом базаре несколько здоровенных узбеков в ватных халатах, надетых прямо на голое тело, подпоясанных разноцветными кушаками, навалились на одного тощего, беднолицего юношу, который стащил лепешку и судорожно глотал её, не прожевывая, боясь, что её могут отнять. Его били ногами человек пять, перебрасывая его от одного к другому, а он не защищался - покорно принимал побои. Мы с одной узбечкой бросились к торговцам, умоляя их не калечить парня, но они нас отпихнули..."

Где-то среди богатых прилавков ходил голодный сын Марины Цветаевой Мур Эфрон.

Луговской, как уже говорилось, переживая острую депрессию, уходил на рынок, сидел на ступенях, валялся в пыли... Его существование проходило у всех на глазах, но мало кто понимал, что с ним творится.

Три дня сижу я на Алайском рынке,  
На каменной приступочке у двери В какую-то холодную артель.

...

Идут верблюды с тощими горбами.

Стрекочут белорусские еврейки,

Узбеки разговаривают тихо.

О сонный разворот ташкентских дней!

Я пьян с утра, а может быть, и раньше... ..

Поэт сидит на заплеванных ступеньках среди роскошного изобилия красок, а вокруг восточный базар, в котором он чувствует себя юродивым, нищим поэтом и, может быть, оттого абсолютно свободным. Его узнают, ему наливают. А он не стесняется, не боится унижения. И в отличие от Ахматовой - просит. Он все более и более уходит от себя вчерашнего, довольного, благополучного. Все это станет темой поэмы "Алайский рынок".

В начале 1942 года М. Белкина писала в посланиях мужу на фронт нечто вроде хроники ташкентской жизни. "Луговской - старая пьяная развалина .... Пьет, валяется в канавах, про него говорят "Луговской пошел в арык"..."

"А Володя запил, и пил ужасно, пока мама не умерла, а потом как отрезало, - вспоминала Татьяна Луговская. Она подробно рассказывала как они перевозили безнадежно больную в квартиру на Жуковскую: - ...я там даже уют навела, я захотела перевезти маму домой. Но очень трудно было найти перевозку. Мы с Володей даже в исполком ходили, он все пальто распахивал, чтобы орден было

видно. Наконец, нам дали разрешение: если привезут раненого и больница его примет, на этой перевозке отвезти маму.

Я трое или четверо суток дежурила в проходной. Наконец, однажды ночью повезло - привезли военного в больших чинах и его приняли. Я бросилась собирать маму, а она ни в какую - сознание же мутное. Тут случился один врач, ему было по дороге с нами, и он маму уговорил как-то, а то шофер уже пришел туда, что ему нужно ехать. Надели на неё пальто задом наперед, погрузили и поехали. Врача по дороге высадили, подъехали к дому, шофер носилки поставил на землю - дальше как хотите - и уехал. Ташкентская зима, слякоть. Но тут Поля прибежала, помогли.

Дома мама немного отошла, стала узнавать. Один раз кто-то зашел, а она вызвала Полю - "Как ты встречаешь гостей? Купи торт, пирожные".

Татьяна Александровна говорила, что испытывала ужасные муки стыда за пьющего брата и однажды, уже познакомившись с Ахматовой, зашла к ней в подавленном состоянии. Ахматова спросила, что с ней. И настояла на ответе. Татьяна Александровна призналась, что боится возвращаться домой, её унижает пьянство брата, которое видно всем. На это Ахматова достаточно жестко заметила, что её брат - поэт, у него могут быть падения, а без падений не бывает и взлетов.

Что мне сказать? Я только холод века,

А ложь - мое седое острие.

Подайте, ради бога.

И над миром Опять восходит нищий и прохожий,

Касаясь лбом бензиновых колонок,

Дредноуты пуская по морям,

Все разрушая, поднимая в воздух,

От человеческой мощи заикаясь.

Но есть на свете, на Алайском рынке Одна приступочка, одна ступенька,

Где я сижу, и от неё по свету На целый мир расходятся лучи. ...

Моя надежда только в отрицанье.

Как завтра я унижусь, непонятно.

Остыли и обветрились ступеньки Ночного дома на Алайском рынке.

У Всеволода Иванова в дневнике от 10 сентября 1942 года записан рассказ Луговского о некоем капитане Лейкине, с которым он познакомился в шашлычной возле Алайского рынка: "... Стена



народу в шашлычной. Перед капитаном, что в казачьей одежде с чубчиком, четыре бутылки водки, нераскупоренные, в ряд.

Какой-то армянин в украинской рубахе задел нрзб и разорвал от края и до края. ....

Опять та же игра. Пляшут с неподвижными, идольскими лицами два инвалида - безногие, безрукие. Капитан начинает бранить тыл, разврат ... и сам выбрасывает из сумки деньги за двадцать пять шашлыков. Затем брань с "пехотинцами", бегство на базар за помощью. "Пехотинцы" ругают кавалеристов... Инвалиды пляшут перед пехотинцами. Армянин брюхом ложится на виноград, покрывающий грязный стол, и сумку с деньгами, оставленную капитаном Лейкиным...

Когда он рассказывал, я думал о людской привычке: привыкнув убивать вернувшись, как жить мирно? Ведь после прошлой войны продолжалась война классовая, где подобные капитаны Лейкины могли проявить себя ...".

Эти почти брейгелевские картинки красноречиво свидетельствовали, что советский мир на войне, так же как и в лагерях - исчез или же уменьшился шагреневою кожей до размера заметки в газете "Правда"; советские писатели и поэты, столько положившие на созидание его в своих произведениях, столкнулись с тем, что его на самом деле нет. Было то, что подмигивало с брейгелевских картин - злоба, хитрость, зависть, глупость или сияло с икон - доброта, милосердие, сострадание.

Война давала каждому поэту или писателю великий шанс - оказаться рядом с капитанами Лейкиными, оказаться рядом с калеками и инвалидами, когда они дико танцуют, пьют, ругают пехотинцев или кавалеристов. Луговской опишет эту шашлычную в одной из своих поэм:

Вот забегаловка.

Сюда приходят Девчонки, бескорыстные, как дети,

Родная рвань, рябые спекулянты,

Жеребчики из продуктовых складов

Весь тыловой непогребенный сброд.

Сидит, сощурясь, гармонист угрюмый,

Угрюмо пляшет молодой калека,

Безрукие взметая рукава....

Россия вернулась к самой себе в этом восточном городе. Она стала такой, какой они, писатели и поэты, живущие собраниями, наградами, заказными работами, её давно не видели или не хотели

видеть. Эти "безрукие рукава" она взметала давно, а острейшее сострадание, а не пафос и крик, приходили только сейчас.

Но льется чад, и свирепеет солнце,

Угрюмо пляшет молодой калека.

Косая тень фронтов и дезертирства Лежит углом на лицах и столах.

Капитан Лейкин, странно рифмующийся с капитаном Копейкиным, Лебядкиным, пьянчужка Мармеладов - все они вдруг повылезли из щелей, куда их затолкнула советская власть, объявив несуществующими, и застучали сначала по ташкентским, а потом и по столичным улицам костылями, обрубками, тележками, замахали пустыми рукавами. Традиция русской культуры от Пушкина, Достоевского и Толстого - всегда быть и с аристократией духа, и с отверженными и чувствовать напряжение, которое проходит через эти противоположные миры. Странно считать, что поэт просто опустил и оттого шатался по этим страшным углам, скорее можно сказать, что Луговской возвращался туда, откуда был родом, к привычкам выращившей его культурной среды.

В драме Ахматовой "Энума элиш" ("Сон во сне") - в ремарке - есть картина Алайского рынка, увиденного поэтом как бы лет семьсот назад.

"Край базара. Под стеной юродивый. Вася - склоченный, полуголый, слепой. Гадает, к нему очередь. Подходит Х. Выглядывает из окна - опускает на Васю яблоко.

Он угадывает, что яблоко от нее. Движение в очереди ("С утра стоим" и т.д.).

Х.: Вася, погадай мне.

Слепой: Не бери сама себя за руку,

Не веди сама себя за реку,

На себя пальцем не показывай,

Про себя не рассказывай...

Идешь, идешь и споткнешься..."

Х. - героиня пьесы, сама Ахматова. Совет юродивого прозорливца она, может быть, и пыталась выполнить.

Ахматова не писала подробных писем - их все равно внимательно читали в органах; сжигала или уничтожала все, что как-то могло навредить её близким или ей самой (так она уничтожила в 1945 году цитируемую драму, а потом уже по памяти восстанавливала её в 60-е годы). Не показывать на себя пальцем и не рассказывать про себя - не удавалось. Это противоречило самому

исповедальному духу её поэзии. Все, что было ею написано, существовало только как её личное чувство, её переживание.

Этот совет юродивого можно было отнести и к Луговскому; все поэмы он писал в те годы только от своего имени, абсолютно не скрывая от читателя, что все происходящее с ним его личный внутренний опыт, его слезы, его унижения, его падения.

Когда-то в 20-е годы Шкловский в рецензии на сборник стихов Ахматовой писал о "бесстыдстве поэтов и поэзии": "Маяковский вставляет в свои стихи адрес своего дома, номер квартиры, в которой живет его любимая, адрес своей дачи, имя сестры.

Жажда конкретности, борьба за существование вещей, за вещи с "маленькой буквы", за вещи, а не понятия - это пафос сегодняшнего дня поэзии.

Почему поэты могут не стыдиться? Потому, что их дневник, их исповеди превращены в стихи, а не зарифмованы. Конкретность - вещь, стала частью художественной композиции.

Человеческая судьба стала художественным приемом".

Может быть, Шкловский что-то преувеличивал, но таков был его стиль в 20-е годы.

Удивительно другое: власть научилась искать в стихах и прозе не только клевету на строй, но своеобразные самодоносы. Им, к примеру, стала "Повесть о разуме" М. Зощенко, исповедальное повествование, которое использовалось чиновниками для борьбы с автором.

Об этом и предупреждает юродивый с Алайского рынка: "О себе самой не рассказывай!"

"Ноев ковчег". Улица Карла Маркса,7

"Я живу в центре города, у Красной площади со статуей Ленина, у самого здания СНК Совнаркома, - писал Мур сестре об улице Карла Маркса, минутах в 15 ходьбы - Союз писателей и столовая, 5 минут от книжного и букинистического магазинов; почти все под боком. ... И через несколько дней продолжал: - ... я нахожусь в постоянном тесном общении с писательской средой.... Да, я писателей знаю хорошо; передо мной они всегда представляли в их натуральном виде, ибо я всегда представлял для них человека слушающего, перед которым можно болтать без удержу. Некоторые даже, учитывая мою оригинальность, прикидывались совсем другими, чем на самом деле".

Из письма В. Меркурьевой, знакомой А. Ахматовой: "Хочется рассказать о самой ни на что не похожей - об Анне Ахматовой.

Пришла она к нам 2 апреля, как всегда незваная, неожиданная, закурила - самокрутку ... стала рассказывать о "лепрозории" - общежитии писателей, где она живет, остроумно, насмешливо и незлобиво".

А Мария Белкина часто писала мужу в блокадный Ленинград письма-картины, письма-сценки, где остроумно изображала быт писательского дома.

Ташкент. 17 марта 1942 года.

"Я, конечно, уже на боевом посту - как меня здесь дразнят - у коляски. Представь себе так - сцена, на сцене двухэтажный дом, два парадных, над ними два балкончика. Утро. Солнце светит сквозь пелену туч. На лестнице, сквозь разорванную мглу, кусок голубого неба и громады снежных гор (отрогов Тянь-Шаня) скорее подразумеваются, чем видятся, но в 12 часов будут ясно видны.

Занавес поднят, участники спектакля - провинциальные актеры - играют пьесу плохо написанную: нет ролей, а им скучно.

Итак, занавес поднят:

На втором этаже открывается окно - высовывается мадам Благая, профессорша в белом капоте в рюшках. Дама лет 45. Грузная брюнетка, нос грушей ... играет молодую.

Мадам Благая (за кулисы). Утеночек, утеночек...

Утеночек (проф. Благой). Появляется в окне, круглые очки. Белый колпак с кисточкой. Шея очень длинная, голова болтается, как тыква на шесте.

Утеночек. Мм... (Мадам Благая прильнула, оба исчезают...)

Появляется рыжая кошка, по карнизу подбирается к окну.

М. Благая - брысь, брысь... (кошка исчезает).

Открывается парадная слева, появляется Улицкий - персонаж без слов. Толстый, короткий - срезанная с двух сторон сигара. Думает, что писатель заблуждение. Торговец - когда в столовой развешивают продукты, ясно - нашел место в жизни. Ночная пижама, галоши, драповая кепка, кубарем слетает с крылечка, во двор торопится - во дворе уборная, вход только в галошах и противогазе...

Рыжая кошка опять появляется на карнизе. В окно выглядывает проф. Благой. Кисточка на колпаке болтается, выражение лица кровожадно, в руке острый предмет. Он говорит за кулисы: "Подожди деточка, я её, стерву, сейчас!" Кошка накальвается на предмет, взвизгивает - окно захлопывается. Благой с демоническим смехом исчезает. Сцена пуста. Проходят люди с портфелями в

Совнарком - на лицах надежда, проходят люди с портфелями из Совнаркома - на лицах нет надежды...

Возвращается Улицкий - он доволен, улыбается. Открывается парадное справа - выходит седой, тощий гражданин, бывший архитектор, теперь ... дед, с ведром, персонаж явно трагический, в пьесу попал по бездарности автора. Из двери выходит Шток - клетчатая пижама, халат до пят, фетровая шляпа, в одной руке - помойное ведро, в другой - ночной горшок или что-то похожее. Долго стоит с папиросой в зубах, ждет прохожего, чтобы закурить. Идет беженка с ребенком, из парадной выходит жена Улицкого, в руках яйца - идет за кулисы жарить мужу яичницу.

Беженка (вялым, безразличным голосом). Подайте что-нибудь.

Жена Улицкого. Что ты, милая, я такая же беженка, как и ты...

Беженка. Подайте...

Жена Улицкого. Вот пристала, я тебе по-русски говорю: я такая же беженка, неужели не понятно?

Ребенок смотрит пустыми, бездонными глазами... Беженка проходит, волоча ноги, обмотанные тряпьем. Жена Улицкого берет под руку Штока, уходят в ворота. Мадам Городецкая подходит к постоянному персонажу пьесы - перед домом на сцене колясочка, у колясочки мать, вечно пишет письма.

М.Городецкая. Я хочу узнать у вас одну тайну. Только дайте слово - вы никому об этом не скажете. ... Когда наступит жара, вы срежете ваши прелестные локоны ("прелестные" произносится через "э" обратное). Нет? Очень рада, у вас тон англичанки, локоны вам к лицу. Если бы вы знали, какие были у меня локоны. Вы представляете, я, полуобнаженная, локоны до колен и у моих ног Анатолий Франс, вы знаете, он написал "Боги жаждут", это такой роман. Мы в Париже были самая интересная пара...

Выходит сам Городецкий. В кармане водка, бутылка.

Мадам Городецкая. Сережа, где ты .... Ужасно быть женой поэта. Ваш муж, кажется, критик, я знаю, такой хорошенький блондин. Есенин тоже был блондин, он за один поцелуй был готов пожертвовать жизнью, но я его выгнала: "Сережка, убирайся!" - и кинула каблуком, тогда были модны золотые каблуки...

Но пьеса слишком затянулась, скучно и автору, и зрителям, и актерам.

Выходит дворник-узбек в ватном халате, подпоясанный женским платком, он метет, поднимается страшная пыль, все исчезает...

Очень жарко становится. Дамы вылезают в летних пальто, и я с вожделием вспоминаю о том, что когда-то у меня были даже два..."

Так заканчивалось это письмо. На сцене - дворник, поднимающий пыль, в мареве которой теряются все персонажи.

Дом на Карла Маркса с новыми и старыми жителями постепенно обрстал новым бытом, своими сплетнями, слухами и анекдотами. "Анна Ахматова и Городецкий живут в этом же доме, что и я. Женя Пастернак просила передать привет. Б.Л. Борис Пастернак в Чистополе, поехал со второй женой. Где Асмус, не знаю; Хазин кланялся, с ним его ... Фрадкина .... Граф Алексей Николаевич разъезжает на своем форде, его графиня ... вся в "духах" и "мехах" приезжает и уезжает ...", - подробно писала Белкина мужу о писательской колонии.

Ахматова и Сергей Городецкий были близко знакомы ещё с дореволюционных времен, по "Цеху поэтов", акмеистическим собраниям. К 40-м годам в нем от прежнего известного поэта, близкого знакомого и друга Блока, Клюева, Есенина, почти ничего не осталось. По словам Л.К. Чуковской, Ахматова в Ташкенте отзывалась о нем так: "Потоки клеветы, которые извергало это чудовище на обоих погибших товарищей (Гумилева и Мандельштама), не имеют себе равных".

Наблюдательный Мур Эфрон говорил юному Эдику Бабаеву: "Вот, например, Анна Ахматова написала стихи о своей "вольности" и "забаве": "А наутро притащится слава погремушкой над ухом бренчать..." Сергей Митрофанович Городецкий говорит: "Кто это пишет? Анна Ахматова? Моя недоучка..." ...".

"Вместе и наряду с "Избранным" Анны Ахматовой, - писал Бабаев, - в Ташкенте были напечатаны и "Думы" Сергея Городецкого с подзаголовком "Семнадцатая книга стихов". Я принес этот сборник Анне Андреевне, думая, что ей это будет интересно. Она перелистала сборник, взглянула на титульный лист и сказала:

- Семнадцатая книга стихов... Много я дам тому, кто вспомнит, как называлась шестнадцатая книга!

Никто не помнил, и никто не знал".

Однако жена Городецкого Нимфа, женщина со странностями, и дочь Ная помогали Ахматовой, часто бывали у нее.

В дневниках Л.К. Чуковской сохранился такой разговор с Ахматовой:

"Дня два-три тому назад она показывала мне письмо из армии, от очередного незнакомца, благодарящего судьбу, что он живет на земле одновременно с нею. Очень трогательное. Я вспомнила такое же, полученное ею из армии во время финской войны.

- Я показала его Нае, - сказала Ахматова. - Она очень зло сообщила: "Папа сотни таких получает..." Потом я прочла ей два четверостишья памяти ленинградского мальчика. Она сказала: "Очень похоже на "Мурка, не ходи там сыч..."

Как меня ненавидит все это семейство, и любит, и завидует мне. Ная оскорблена за отца... Нимфа дня три назад пришла ко мне и сообщила, что перечла "Из шести книг", что это однообразно и очень бедно по языку".

И все-таки Ахматова, хотя и считала дом на Карла Маркса "лепрозорием" и "вороньей слободкой", здесь на сквозняке чужого пространства, написала стихи, где есть образ иного "азиатского дома", в который вернулась её душа после семисотлетних странствий.

...Все те же хоры звезд и вод,  
Все так же своды неба черны,  
И так же ветер носит зерна,  
И ту же песню мать поет.  
Он прочен, мой азиатский дом,  
И беспокоиться не надо....  
Еще приду. Цвети ограда,  
Будь полон, чистый водоем.

Это стихотворение Ахматова написала уже перед отъездом, пройдя множество испытаний: холодом, тоской по близким людям, заблуждениями и отчаянием, болезнями, переездами. В чужом городе, где ничего не было своего, она наполняла пространство своим присутствием. Она читала петербургскую поэму в Ташкенте, писала здесь новые стихи; и Запад и Восток в её строках перезванивались, оживали новыми красками.

"По наружной лестнице ... я поднялся на длинный крытый балкон двухэтажного дома, - вспоминал поэт Валентин Берестов, мальчиком познакомившийся с Ахматовой, - в начале ташкентской улицы Карла Маркса. С балкона застекленная дверь, служившая также и окном, вела в крохотную комнатку Ахматовой, которую она называла "копилкой". Название это с двумя смыслами. Маленькая комнатка - на месте сберкассы, приспособленной под общежитие для эвакуированных.

Над домом и двором стояла яркая голубая весенняя звезда. Она сияла как раз над той светящейся дверью, куда мы должны были войти. Поднимаясь по деревянной крутой лесенке, я все время смотрел на звезду. ...

Голая электрическая лампочка на белом шнуре. Ахматова сидела на казенной узенькой койке, откинувшись к белой стене".

Болезни. Кривотолки. Расставания

Если ты смерть - отчего же ты плачешь сама?

Если ты радость - то радость такой не бывает.

А. Ахматова. Ноябрь 1942

Какая есть. Желаю вам другую,

Получше. Счастьем больше не торгую ....

А. Ахматова

Лидия Корнеевна Чуковская жила на Жуковской, 54, в шестиметровой комнатухе под лестницей, о которой писала, что её "смело можно было бы назвать чуланом, если бы в ней не было окна".

"Когда летом 1942 года я заболела брюшным тифом и, отдав Люшу родителям, вылеживала шестинедельный бред в своем чулане, Анна Андреевна не раз навещала меня. Однажды я расслышала над своей головой: "...у вас в комнате 100 градусов: 40 ваших и 60 ташкентских".

Вскоре Ахматова заразилась и заболела тифом сама. "Она металась по кровати, лицо было красным и искаженным, - вспоминала Светлана Сомова. "Чужие, кругом чужие! - восклицала она. Брала образок, со спинки кровати: На грудь мне, когда умру..." И какие-то бледные беспомощные женщины были вокруг". В эти страшные дни в бреду она писала стихи.

Смерть Я была на краю чего-то,

Чему верного нет и названья...

Зазывающая дремота,

От себя самой ускользанье...

А я уже стою на подступах к чему-то,

Что достается всем, но разною ценой...

На этом корабле есть для меня каюта,

И ветер в парусах - и страшная минута Прощания с моей родной страной.

Потом был второй тиф - в начале ноября 1942 года. Ее удалось устроить в санаторий в Дюрмень под Ташкентом, а потом её перевезли в стационар на улице Жуковской. Она готовилась к



смерти и в то же время боялась умереть именно здесь и остаться в памяти потомков искаженной слухами и наветами.

Еще в 1922 году Ахматова написала стихотворение "Клевета":

И всюду клевета сопутствовала мне,

Ее ползучий шаг я слышала во сне И в мертвом городе под беспощадным небом,

Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.

И отблески её горят во всех глазах,

То как предательство, то как невинный страх.

Я не боюсь её. На каждый вызов новый Есть у меня ответ достойный и суровый.

Но неизбежный день уже предвижу я,

На утренней заре придут ко мне друзья,

И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,

И образок на грудь остывшую положат.

Никем не знаема тогда она войдет,

В моей крови её неутоленный рот Считать не устает не бывшие обиды,

Вплетая голос свой в моленья панихиды.....

Тот образок на груди из стихотворения 1922 года появляется в 1942 в тифозном бреде. К Ахматовой часто заявлялась веселая компания с Раневской, приходившей в сопровождении преданных актрис; этому всегда сопутствовали выпивка, веселье, грубые анекдоты, которые шокировали Лидию Корнеевну: у неё было другое поле деятельности - высокая поэзия, разговоры, работа с текстами. Началась невидимая борьба на вытеснение противника, в которой верх одержала знаменитая актриса. Потом Раневская говорила, что Ахматова выставила Чуковскую, потому что та плохо о ней отзывалась, и даже то, что Чуковская испугалась постановления 1946 года и боялась общаться с Ахматовой. А уж это совсем не могло быть правдой, ведь Чуковская с Ахматовой познакомились и подружились в самые отчаянные 30-е годы. Уж чего-чего, но страха здесь не было. Были интриги, что возникает часто около талантливых людей.

Тех, кто клеветал в 20-е годы, теперь Ахматова называла "вязальщицами", это были местные сплетницы. Их раздражали её постоянные посетители, подношения, которые она получала, и даже то, что она щедро делилась со всем двором. Они обсуждали её отношения с Раневской, пустили сплетню об их сожительстве. Ахматова знала об этом. Мария Белкина говорила, что эти дамы

действительно сидели на наружной лестнице, напротив ахматовской двери, и следили за всем, что происходило во дворе: кто к кому идет, кто от кого вышел - и при этом непрерывно вязали. Ахматова ответила всем "вязальщицам" стихотворением, написанным 21 июня 1942 года:

Какая есть. Желаю вам другую,  
Получше. Счастьем больше не торгую,  
Как шарлатаны и оптовики.  
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,  
Ко мне уже ползли такие ночи,  
И я такие слышала звонки.....

Над Азией весенние туманы И яркие до ужаса тюльпаны  
Ковром заткали много сотен миль.

О, что мне делать с этой чистотою Природы, с неповинностью святою?

О, что мне делать с этими людьми?

Мне зрительницей быть не удавалось,

И почему-то я всегда вклинялась В запретнейшие зоны естества.

Целительница нежного недуга,

Чужих мужей вернейшая подруга И многих неутешная вдова.

"Вязальщицы" преследовали её всю жизнь, до самой смерти. Их иное название, как объясняет Л.К. Чуковская, - "фурии - гильотины", женщины-фанатички, появившиеся в годы Французской революции. Их изобразил Чарлз Диккенс в романе "Повесть о двух городах". "Накануне казни они садились перед гильотиной в первых рядах и "деловито перебирали спицами". Не прерывая вязания, женщины подсчитывали отрезанные головы".

Ахматова прекрасно знала свой масштаб. Раневская рассказывала, что когда Анна Андреевна вешала на дверь записку со словами о том, чтобы её не беспокоили, так как она работает, бумажку каждый раз срывали, та и часу не могла провисеть, - понимали, что это автограф знаменитого поэта. Объяснять что-либо своим современникам она не пыталась, стихотворение "Какая есть...", скорее, было адресовано будущим поколениям, Ахматова рассказывает потомкам не о поэтической - о личной судьбе. В умении брать на себя чужие кресты она признавалась ещё в середине 20-х первому биографу - П. Лукницкому. И здесь не было тщеславия или гордыни, она не мерилась с другими своим горем, скорее обнаруживала перед читателями разность жизненных

масштабов. Она жила десятилетиями в таком концентрированном кошмаре ночей, звонков, тюремных очередей, измен, что "эти люди" просто не могли ни осознать, ни вместить в себя весь её опыт. Именно такого рода люди потом, с удивлением оглядываясь по сторонам, говорили: "А что, разве кого-то сажали, разве были какие-то сложности в стране? У нас все было хорошо". Слепота и глухота многим помогали выжить физически, но духовно убивали.

Ахматову сравнивали с Кассандрой, она рано стала предвидеть будущее, в том числе и свое, в том числе и посмертное, поэтому она и обращается к нам, зная заранее, что мы прочтем в мемуарах "вязальщиц".

Так совпало, что с июня 1943 года Ахматова и Чуковская стали жить в одном дворе на улице Жуковской, занимались литературой с одними и теми же подростками, которые приходили к ним на занятия, - Э. Бабаевым, З. Тумановой, В. Берестовым.

"С середины декабря 1942 - го я перестала у Анны Андреевны бывать, писала Лидия Чуковская. - И она более не посылала за мною гонцов. Вплоть до моего отъезда из Ташкента в Москву осенью 1943 года (то есть почти целый год!) - мы, живя в одном городе, изредка встречались всего лишь на улице на окаяннознойной, непереносимодлинной улице азиатского города (который ей удалось, а мне так и не удалось полюбить)".

Летом 1952 года отношения между ними восстановились и продолжались до самой смерти Ахматовой. Лидия Корнеевна Чуковская оставила подробные "Записки", в которых запечатлены атмосфера тех лет, многочисленные разговоры с Анной Андреевной Ахматовой.

Белый дом на улице Жуковской Начало - середина 1942 года

Ты, Азии земля, ты, прах сыпучий Отживших беспощадных поколений,

Храни мою измученную мать.

В. Луговской. Смерть матери

Смерть матери Луговских "Вспомнил я все детство, и елку, и какие-то яблоневые сады, и собак, и юность мою, и зрелость", - писал Луговской в горестные дни расставания с матерью.

У них были особые, очень близкие отношения. Татьяна Луговская в своей книге о детстве писала, что мама больше всех с детства любила Володю и это никого в семье не обижало. "Мать была самой большой любовью брата в жизни. Они были похожи, только она не поспевала за ним. Все в нем было крупнее. Поэтому

она и умерла раньше времени. Душевно и физически устала. А по своему здоровью она могла бы прожить дольше".

Но эта любовь, видимо, накладывала свой отпечаток на его отношения с женщинами и женами; он всегда жил вместе с матерью - и в квартире на Староконюшенном, и на Тверской, и в Лаврушинском. Как правило, сильная привязанность матери и сына часто мешает созданию того нормального притяжения, которое должно возникать между мужем и женой. Так и было в семье Луговского: и Тамара Груберт (его первая жена), и Сусанна Чернова (его вторая жена) были в трудных отношениях с Ольгой Михайловной. Это при том, что друзей и учеников Луговского она обожала, а они любили её. Владимир был внутренне мягок, иногда даже слабохарактерен, о чем с двадцати лет писал в своих покаянных письмах к женам, но умел собираться, начинать все с нуля, прикикая, как к твердыне, к матери.

Нет, мама, смерти! Нет!

Нельзя расстаться С твоей походкой поутру за дверью,

С тобой, которой имя было - Ольга. ...

Я через тысячи летящих поколений Все от тебя схватил -  
движенье, брови,

И голос мой, и поступь, и усталость.

Татьяна Александровна не раз рассказывала историю о том, что предшествовало тому, как их маму окончательно разбил паралич. Она воспринималась как новелла, законченный литературный сюжет.

"Перед войной у мамочки случился первый инсульт, она потеряла речь. Володи не было, я его разыскивала и дозвонилась Елене Сергеевне Булгаковой. Она сразу примчалась, помогала мне делать все, самую грязную работу.

Потом мы мамочку выходили, она совсем почти восстановилась.

В лето войны мы жили на даче долго, очень трудно было её вывезти в Москву.

Осень 1941 года. Я привезла маму с дачи с Хотьково, куда мы после тяжелой болезни спрятали её от бомбежек. Привезла, потому что стало холодно, да и Хотьково уже начали бомбить, и в Москве находился брат после контузии, она о нем волновалась.

Приехали под вечер. Газ почему-то не горел, мы разожгли примус, вскипятили чайник. Квартира неубранная и нежилая, в

одной из комнат живет чужая женщина, лишившаяся угла из-за бомбежки.

Затемненные окна, свет только от примуса, и наши огромные тени на потолке её комнаты. Мама так была рада, что она дома, что мы снова вместе. Она сидела в кресле. Было тихо... Ждали бомбежки... И вдруг она запела (до этого около года она уже не пела, ей было запрещено, да и не могла она, голос пропал, было кровоизлияние в мозг). И вдруг запела, да так сильно, громко, молодо, как певала когда-то в давние дни... Мы все застыли и окаменели в тех позах, в которых нас застало её пение...

"О, весна прежних дней, светлые дни, вы навсегда уж прошли", - пела она, и голос её лился без усилий и заполнял не только комнату, но и всю квартиру. Остановить, прервать её было страшной жестокостью. Творилось, что-то важное, величественное, чего нельзя было прерывать.

Это было прощание с чем-то, утверждение чего-то значительного, вечного, что было важнее не только здоровья, но и жизни.

Отзвучала последняя нота арии, мама закрыла глаза и начала падать (точнее сползать) с кресла. Брат кинулся к ней, поднял. Мы перенесли её на кровать. Она была парализована, недвижна и нема. Это был конец её жизни.

Она прожила ещё семь месяцев, но была уже другая. Такой, какой она была раньше, до этого пения, мы её уже не видели.

Дальше было только страдание и жалкое и мучительное существование. Жизнь её кончилась на этой арии Масне. Кончилась на пении. Она уже перестала быть птицей. Больную и недвижимую мы потащили её в Ташкент, так как брату было велено туда, и он не мог оставить мать одну в Москве".

В записных книжках Луговской с горечью писал:

"Ледяная ненависть и беспомощность ...Крики матери за стеной. Синие ночи и подлость без границ. Раз ты пошел по этому крестному пути - должен все выдержать... Неумение жить и вероятно умереть. Тихие заводи доброты. Блистающая, подлая жизнь на маленьких кубометрах. Первые знаки весны - и снова смертный холод и мрак ночей. Зеленые тучи на Карла Маркса, и два стакана портвейна, и девушка под треп. Сыро, холодит... Черкасов. Желание сжечь Берлин. Первые фиалки".

Главное ощущение от мира в те первые месяцы 1942 года - это холод и неустроенность. Для Луговского, как и для многих других,

порвалась ткань существования и времени и оттуда из продырявленного войной пространства потянуло ледяным, мертвенным холодом. И тут же длинное и тягостное умирание самого родного ему человека. По-гамлетовски он восклицает:

Такое счастье умереть и сгнить,  
Проникнуть в ледяной уют вселенной,

Назвать седую смерть освобождением И получить, как в детстве, как на Пасхе На стуле возле маленькой кровати Подарок, весь обернутый бумагой...

Опять прервалась связь времен... связующая нить. Видимо, со смертью каждого человека, так как через него протекает свой поток времени, рвется связь времен. Художники - своеобразные лекари времени, они зашивают эти прорехи в нашем мире. В ином же мире все непрерывно.

Бывает, что внутренние кризисы совпадают с внешними трагедиями. Для поэтов такие совпадения являются неопровержимыми знаками того, что судьба окликает их, обращает к глубинам своего трагического опыта. В записных книжках Луговской пытался нащупать точку опоры, равновесия.

"Ничего не даст, ничего не получится. Именно этого мне не хватало. Именины подлецов. Вера в жесткие правила и людской порядок. ... Мои робкие, каждый раз неверные движенья. Беспомощные глаза Е.С. (Елены Сергеевны. Н.Г.) и её гордость ребенка. ...Внутренний город души. Внутренний город Ташкент, невидимое царство. Дом ЦК. Уют каждого мгновения. Уют лампочки и стула, редакции и дерева, вечеринки и арыка. Человек создан все-таки для счастья".

Уют, покой не только в тех незыблемых вещах и людях, оставшихся в Москве или умерших. Пока человек жив, он должен искать радость и тепло мира в жесте, взгляде, в своей, может даже неловкой, нежности к другому. В этих заметках чувствуешь, как человек словно заново учится ходить, держась за стены, как больно ему смотреть на свет, ведь он долго был почти ослепшим, как он вдыхает новые запахи, потому что он несколько месяцев ничего не чувствовал.

"Милый Леня, - писала Татьяна Луговская в конце марта Малюгину, - вы меня зря хвалите за спокойствие - это просто смертельная усталость и обреченность и, главное, невозможность вести себя иначе при данных обстоятельствах. Пришлось хлебнуть горя за все это время всем. Я делаю с успехом тысячу вещей,

которые принято называть самообладанием: работаю, пудрю нос (пока ещё есть пудра), веселю и утешаю людей, навела даже бесподобный уют у себя в доме. Только все это чепуха, а душа отшиблена - у меня не хватает мужества заглядывать в будущее и заглядывать в глаза моей умирающей матери. Умирает она тяжело, мучительно, положение её поистине ужасное - помимо всех её болезней и страданий, у неё ещё обнаружен рак. Кричит она, не замолкая ни на минуту (днем и ночью). А я, кажется, готова закопаться в землю, чтобы только не слышать этих душераздирающих воплей".

Мать умерла в апреле 1942 года после четырехмесячных мучений, и их жизнь перевернулась. Возникло чувство пустоты и беспомощности. Работа, которую Луговскому предлагалось делать в Алма-Ате, стала его настоящим спасением. Вызов пришел накануне смерти матери.

6 апреля 1942 года Луговской получил телеграмму с кинофабрики от Эйзенштейна:

"Прошу приехать Алма-Ата подробно оговорить песни возможности текста сообщите срок выезда привет Эйзенштейн".

В Алма-Ате шла подготовка к съемкам фильма "Иван Грозный", сдавались варианты сценария, трудности были с диалогами. Еще в конце 30-х годов Эйзенштейн и Луговской удачно сотрудничали на картине "Александр Невский", к которой поэт сочинял песни. 7 апреля, в день смерти матери, Луговской посылает ответную телеграмму: "Рад совместной работе ответ задерживался смертью моей матери посылаю письмо скоро выезжаю Луговской".

После смерти матери он записал: "Комната страданий. Вот они и кончились. Вот и ушла твоя душа далеко в те края, которые остались позади, в мир всех прошлых движений и образов, распыленных в мировом пространстве и времени.

А она все вязала, вязала, все сучила, сучила пальцами на смертной постели. Расцветание мира. Она - плоть моя и передала мне плоть своей любви. Книги, письма. Пасхальный звон на небе "Слава в Вышних Мирноносицы".

Эйзенштейн немедленно прислал телеграмму: "Искренне соболезную постигшем горе жду приезда привет Эйзенштейн".

"7 апреля умерла мама, - писала Татьяна Александровна в письме. Первый раз в жизни я видела, как умирает человек. Это очень тяжело и очень торжественно. 9-го мы её похоронили, и сразу этот несчастный город стал мне родным.

Обмыла, одела, положила в гроб, забила гроб и зарыла могилу - все своими руками. И на всю жизнь мне запомнилось её строгое, красивое лицо.

Потом ясный день, дощатый гроб, тюльпаны и ещё какие-то цветы, кажется вишня. Я нашла чудесное место на этом азиатском кладбище - совсем русское - просторное и тихое, тополь растет в ногах. Вот и все.

Вот и осталась я одна, и ничто уже меня не связывает, а как грустно, если бы вы знали, и как все безразлично. Вот и прошло детство, юность, да и молодость, пожалуй, на исходе".

И картина её похорон на восточном кладбище в дни Пасхи из записных книжек Луговского:

"Пасхальный звон на небе "Слава в Вышних Мирноносицы".

Путь мимо винных киосков.

Все расцвело в одно утро.

Земные поклоны всей твоей жизни, большой, мудрой, полной страстей и душевного жара. Улыбка, знающая все, видящая все. И меня, и все гадости мои, все строгое во мне и во всех.

Азия. Верблюды. Кипень деревьев.

Кладбище, желтые трупы на досках. Все как в XVI веке. И все та же условная, чистая земля. Да будет все хорошо на ней, как в этот день весны. Церковь. Могила. Опустили. Пошли лопаты. Полетели цветы. Дай мне закрыть тебя землей, сыну твоему. А мы с тобой увидимся или разъединимся навеки, и только изредка будем говорить друг с другом на языке мимо идущих людей, зверей, деревьев, трав. Только изредка. А теперь прощай!

Гимн земле и её превращению... Гимн моему телу - звездной системе жизни. Вселенная - это гимн людских и ангельских существований. Это огромный чудовищный хор".

После похорон матери Владимир и Татьяна Луговские выехали в Алма-Ату.

В командировочном удостоверении на имя Луговского сказано, что его вызывают для литературной работы над фильмом "Иван Грозный", он туда отправляется на срок с 21 апреля по 28 апреля 1942 года.

Татьяна ехала к мужу. В Алма-Ате для неё нашлась работа художницы в спектакле.

Жизнь двора

Елена Сергеевна Булгакова осталась на балахане в их домике на Жуковской своеобразной хранительницей домашнего очага. С



ней жил младший сын, Сережа Шиловский. Старший сын, Женя, был на Западном фронте. До войны он жил в семье отца - видного генерала Е.А. Шиловского. Это было условие бывшего мужа, когда Елена Сергеевна оставила его ради Булгакова. Спустя два года после ухода Елены Сергеевны Шиловский женился на дочке Алексея Николаевича Толстого Марианне. Сергей с шести лет рос в семье Булгакова, Женя приходил в их дом на все праздники и обязательные воскресные обеды, его любовь и привязанность к матери, к брату и к Булгакову никогда не ослабевала.

Сережа в Ташкенте очень привязался к Луговскому, о чем говорят письма и открытки, которые он посылал, уже покинув Ташкент.

Оставшись в Ташкенте, Елена Сергеевна писала в Алма-Ату грустные и смешные письма.

"Дорогой Володенька, я решила тебе написать письмо на машине и притом большими буквами, а то иначе ты не смог бы ничего прочесть (У Луговского в то время сильно болели глаза, он плохо видел. - Н.Г.), стал бы просить Эйзенштейна или свою подругу мадам Пудовкину, и все бы узнали, что я твоя содержанка. А так ты волей-неволей сам прочтешь и все будет шито-крыто. Я пишу тебе в твоей комнате, на твоём письменном столе - машинку я перетасила сюда, сплю на твоей кровати, вот. Спать очень хорошо, москиты не кусаются, они все пьяные от постоянного винного запаха в этой комнате и потому добрые. Я посылаю тебе гребенку такую жесткую, что ты никогда не сможешь её сломать. Правда, зато ты можешь потерять её. Ну, смотри, лучше не теряй. Я сейчас-то веселая, зато, когда ты уезжал, я совсем обалдела от страха.... Сидели мы как-то раз очень мило вечером во дворе. Все вместе ужинали экспромтом, всякий принес, что было дома, получилось очень славно. Погодины, как ты знаешь, уехали в тот же вечер, что и ты. Он был, по-моему, феерически пьян. Хазин привез свою мать и сестру, - они все на одно лицо, все переодетые Хазины".

"В большом южном городе жизнь идет открыто - во дворе, - писал в своих воспоминаниях Эдуард Бабаев. - Большие дворы Ташкента, разноязыкие, населенные множеством народа, в годы войны были настоящими Вавилонами".

В такой вот Вавилон к Евгению Яковлевичу Хазину приехали из Джамбульской области Надежда Яковлевна Мандельштам со своей старенькой матерью. Хазины действительно все были очень похожи внешне; но в худобе Евгения Яковлевича было своеобразное

изящество, а Надежда Яковлевна, истощенная и истерзанная несчастиями, физической работой в колхозе, и до того не очень-то привлекательная, теперь вообще стала неотличимой от брата.

Приезд на Жуковскую Хазиных, остроумно определенных Еленой Сергеевной "все на одно лицо", на самом деле означало печальное воссоединение семьи. Надежда Яковлевна Мандельштам была близкой подругой Анны Андреевны Ахматовой, она приехала к брату, надеясь на облегчение жизни. Но её ждала такая же тяжкая судьба и здесь: медленное угасание матери, голод, постоянный поиск заработка, отсутствие взаимопонимания с родными, их эгоизм... После отъезда Елены Сергеевны с балаханы Надежда Яковлевна ухаживала за больной Ахматовой в комнатке "колдуньи", как они называли Елену Сергеевну. В те дни она пишет их общему с Осипом Мандельштамом другу Борису Кузину: "Встреча с друзьями. Основное, конечно, Женя (Хазин. Н.Г.). Очень хорошо приняла Лена. Анна Андреевна - неузнаваема - так молода и хороша. Много стихов. Скоро выйдет книга. Стихи горькие и прекрасные. С этими хоть на смерть идти. ... Анна Андреевна говорила, что боялась думать о моем приезде, так хотела его. Но я, видно, тяжелая. Помните, какая я была болтунья. А теперь я с трудом говорю. Нужно какое-то громадное усилие, чтобы произнести слово".

С Николаем Погодиным, автором "Кремлевских курантов" и "Человека с ружьем", ни Булгакова, ни Луговской особо близких отношений не имели, а вот Б. Пастернак через Вс. Иванова, который был его близким приятелем, относился к нему очень задушевно. В эвакуации Погодин очень много пил и отличался крайней несдержанностью в выражениях. Направо и налево ругал власть, военное начальство.

Вс. Иванов писал 29 июня 1942 года: "Провожал Погодина в Москву. Погодину, перед отъездом, сказал Берестинский, поднимая бокал:

- Скажи в Москве, что бы ни случилось, Ташкент врагу не сдадим никому".

Потом, когда Погодин вернулся, он рассказывал Вс. Иванову:

"Мне поручили написать пьесу "Сталин и защита Москвы". Я спрашиваю, в чем дело? Что за чудо такое под Москвой? А какое тут чудо. Просто уложили три миллиона и закрыли живым мясом проход. Если бы не зима, быть бы чуме".

В воспоминаниях актрисы Марии Мироновой о Ташкенте, где были её муж Менакер и недавно родившийся на свет Андрей Миронов, которого Миронова носила на выступления в большой плетеной корзине, рассказывается, что Николай Погодин написал для неё очень смешную миниатюру про двух теток с Алайского рынка. "Вы вакуированные, - и мы вакуированные", - говорили они.

Через неделю Луговской вернулся из Алма-Аты, а Елена Сергеевна продолжала свою хронику ташкентской жизни в письме к Татьяне Луговской: "Дорогая моя Тусенька, откладывала ответ на Ваше чудесное письмо, так как ждала okazji. Наконец, сегодня, по-видимому, Таня Кондратова едет и берет с собой письмецо и маленькую посылочку Вам.

Родненькая, если бы Вы видели, на что я стала похожа, Вы взяли бы назад все хорошие слова, которые Вы когда-либо мне говорили. Дело в том, что москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чертову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, - москиты, о которых все упоминали мимоходом, - искусали меня вконец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее (и отчасти на ногах и на теле) зияет не меньше 200-300 открытых ран, так как я не выношу, когда у меня появляется хоть какое-нибудь пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что испытываю при этом физическое наслаждение. Истинное слово, я не шучу и не преувеличиваю.

В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления и он по-прежнему твердит, что милей мово на свете нет никого.

Затем - жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов, уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках, сожжет зад, приходится подкладывать подушечку, а Поля с трудом ходит босиком по этим ступеням. Из-за того что москиты летят на огонь, надо закрывать окна, а тогда - так душно, что потом и ночью не отдыхаешь. Я сплю голая и без простыни даже, никогда в жизни со мной этого не бывало.

Двор значительно опустел, уехали Вы, Леонидовы, Уткин (слава богу), Файко, Зузу, наконец, - нас осталось здесь 21 человек. Двор большей частью пуст, это, впрочем, хорошо, так как если,

например, зачнется такое веселье, как было вчера, когда вытащили стол на улицу, пили, танцевали под патефон, Погодин хамил, - я посидела для приличия 5 минут и ушла наверх. Через полчаса пришел Володя и стал диктовать мне свою поэму для 2-й книги "Жизнь". Боюсь сглазить - но, кажется, это будет замечательная вещь.

Володя - молодец, с ним хорошо и легко".

Булгакова вечером подымалась к себе наверх, после многих часов перепечатки под диктовку новых поэм. Елена Сергеевна, с её умением быть удивительной помощницей во всем, была теперь жизненно необходима Луговскому. Иногда она оставляла ему на столе смешные записки без единой запятой.

"Димочка Дима спокойной ночи сразу ложись спать не читай завтра лучше раньше встать и начать новую чудную жизнь свет гаснет уже три раза боюсь побегу домой скорей и лягу спать пока горит Димочка не читай право послушайся меня а я Киплинга нашла но сразу спрятала чтобы не соблазняться и не зачитываться завтра буду читать до свидания Димочка Дима ложись сразу спать завтра расскажешь все свои дела что врал старик по дороге что старая подруга жизни твоей кипучей говорила что валенок..." (записка обрывается).

Итак, Луговской диктует свои поэмы, а во дворе появляются новые обитатели и уезжают в Москву старые. Обстановка дружная, но не без сложностей. Леонидовы, Файко - друзья Михаила Булгакова и Елены Сергеевны.

Файко, драматург, комедиограф, автор знаменитых кинокомедий "Папиросница от Моссельпрома", "Сердца четырех", "Аэлита", был соседом Булгаковых в писательском доме на ул. Фурманова. В своих воспоминаниях о Михаиле Афанасьевиче, рассказывая о последней встрече, Файко приводит их разговор.

"Я хотел тебе вот чего сказать, Алеша, - вдруг необычно интимно произнес он. - Не срывайся, не падай, не ползи. Ты - это ты, и, пожалуй, это самое главное..... Будь выше обид, выше зависти, выше всяких глупых толков....

И я ушел и проплакал всю ночь".

Файко не стал известным драматургом, но навсегда сохранил чувство собственного достоинства. В своих дневниках после смерти Булгакова он писал о том, что не может ходить на вечера его памяти, потому что там будут лгать, не будут говорить о писателе как должно. Он хранил любовь и верность Булгакову.

Живя в Ташкенте, Файко написал в дневнике: "20 марта 1942. Культ Ахматовой. (Я люблю Ахматову, но не люблю культов)". В середине 1942 года он уехал на съемки фильма по своему сценарию "Актриса".

Олег Леонидов, журналист, драматург, и его жена жили в Большом Левшинском переулке (ул. Щукина), они часто бывали у Булгаковых. Их соседом по подъезду был близкий друг Луговского Павел Антокольский, его дом был один из самых гостеприимных и веселых домов в Москве, где будущие обитатели ташкентского двора и встречались. Вернувшись из Ташкента в Москву, Леонидов с нежностью писал Луговскому:

"6 июля 1942. Москва - Ташкент  
Тегуан - Тепек,  
Тегуан - Тепек...

Безусловно, подражая Вашему бархатному баритону с басовыми переливами и сексапильным рокотом, я почти каждый вечер - то в обществе Павла, то в обществе других друзей, - пою нашу скорбную песню дальней дороги и отчаянья. Слушатели осуждают в зависимости от количества столяр, трезвые не слушают совсем, а пьяные даже подпевают. С нежностью вспоминаю Вас, дорогой Володя, и наше сожительство (пусть не истолкуют дурно эти лирические слова). Ах, если б навеки, навеки так было - но только не в Ташкенте, а в Москве.... В Москве Вас помнят, любят и рады, что Вы стали работать во всю силу своих поистине лошадиных сил. А.А. Фадеев в Ленинграде (все еще!). Приехала из Чистополя евойная мадам - может быть, это ускорит его возвращение. А то загостился. Павел в нашем доме и часто за нашим столом, как и мы за его и Зоиним.

О Елене Сергеевне думаем и тоскуем ежечасно (простите - но больше даже, чем о Вас). Она незримо присутствует во всех наших делах и думах... Целуйте её благодетельные ручки. Обнимите Сергея и запретите ему размокать от жары и лениться (у меня такое впечатление, что он раскис!). Целую, целую! Ваш Олег. Поле привет, конечно!"

Леонидовы только что вернулись в Москву и наведывались к сестре и первой жене Луговского в Староконюшенный переулок, который был по соседству. Кроме того, Леонидов описывает ту компанию, которая сложилась в соседской, гостеприимной квартире Павла Антокольского и его жены Зои Бажановой; там прожил некоторое время Александр Фадеев, отбывший в Ленинград, а

"евоинная мадам" - это актриса Ангелина Степанова, вернувшаяся из Чистополя в Москву.

И. Уткина, известного комсомольского поэта, во дворе не очень жаловали, он был высокомерен и не очень приветлив с обитателями. Буквально через год он погибнет в авиакатастрофе недалеко от фронта. Товарищи написали ему в Ташкенте шуточную эпитафию, которая осталась в архиве Луговского, не подозревая, видимо, что их шутке скоро предстоит сбыться.

"Записка: Ташкент, Жуковская, 58 (ошибка. Должно быть 54. - Н.Г.), Луговскому Копия Ташкент, Жуковская, 58, Уткину 5 ноября 1942 года.

Предлагаем следующий текст для будущей эпитафии на надгробье имеющего впоследствии умереть И. Уткина:

Под камнем сим лежит Иосиф Уткин.

Прости, Всевышний, все его грехи:

При жизни что не мог сдержать в желудке,

Выкладывал немедленно в стихи.

Группа товарищей".

Уткину в начале войны прострелили руку, и он ненадолго приехал в Ташкент долечивать раны. Несмотря на то что он считался вместе с Жаровым и Алтаузенем видным комсомольским поэтом, на него в НКВД копилось огромное количество материала. В опубликованных теперь доносах его имя очень часто упоминается как бывшего троцкиста, который то там, то здесь выражает недовольство Советской властью. Это уже трудно проверить, но известно по рассказам сестры И. Уткина, которую встретила спустя годы Мария Белкина, что его квартира в Лаврушинском, после смерти матери и самого поэта, очень приглянулась какому-то генералу. В результате сестру Уткина посадили на восемь лет в лагерь с конфискацией имущества. Она была незаметным бухгалтером, а вот материалы, которые были собраны на её покойного брата, очень могли пригодиться в том деле.

Эпиграммы, пародии писали многие. В архиве Луговского достаточно таких материалов. Например, на обрывке бумаги отпечатано некое стихотворение Н. Богословского, проживавшего неподалеку, и, видимо, даже писавшего музыку на стихи Луговского.

В. Луговскому Крестьянин осенью, по сборе винограда,

Тяжелой поступью шагает по чанам.

И очень хорошо известно нам,

Как родилась прозрачная прохлада Напитков тех, о коих помнить надо.

Так слово грубое, попавшее к поэту И скрытое во тьме изящных слов,

Напомнит пусть про процедуру эту.

Ведь пряных вин нежнейшие букеты Не говорят о ступнях грязных ног.

Ташкент, 16 июня 1942.

Никита Богословский В основном особняке на Жуковского жил Исай Григорьевич Лежнев, большой литературный начальник, занимавший в Ташкенте пост секретаря президиума Союза писателей. Эта была загадочная личность. В 20-е годы в Берлине он занимался изданием эмигрантского журнала "Россия", где была напечатана "Белая гвардия" М. Булгакова. В "Театральном романе" Булгаков увековечил его в образе хромого Рудольфи, близкого родственника Мефистофеля. Наверное, это родство и помогло в дальнейшем человеку со столь сомнительной репутацией стать функционером от литературы. Вс. Иванов писал возмущенно: "Библиотека - книги писателей! - закрыта, так как нужен кабинет Лежневу".

Однако они часто общались. Вс. Иванов пишет в дневниках в июле 1942 года: "Разговор с Лежневым, который сидит завешенный ковром в большой комнате. Он рассказывает, как Алимжан (глава местного Союза писателей. Н.Г.) хотел "забронировать", то есть освободить от мобилизации, одних узбеков". Разговоры с Лежневым у Иванова были все больше начальственные. Кто трусит, а кто нет, кого отправлять на фронт, а кого не стоит. Лежнев обладал правом решения "по писателям", он же отправлял в НКВД на проверку все писательские рукописи, попадавшие в его руки.

Еще один личный сюжет

После смерти матери, видимо остро ощутив уязвимость жизни и дорогих людей, Луговской посылал много добрых и нежных писем в разные концы. Одно из таких - Жене Шиловскому на фронт. Тот был очень обрадован и прислал ему ответное письмо, с которого и началась их переписка.

"Западный фронт. 11.7.42.

Дорогой Володя!

Одной из самых приятных неожиданностей последних дней было твое письмо. Только человек, имеющий большой теплоты душу, мог так написать. Но я считаю, что ты меня переоценил.

Просто мы здесь люди на работе, но работа наша такая, что мы влагаем в неё все наши силы, всю ненависть. Просто у нас оказались неплохие нервы и табаку достаточно для того, чтобы не спать трое суток.

У нас простая жизнь, но она интереснее и богаче любой другой, ибо она дает мудрость.

Я человек, привыкший жить в центре. Я родился и жил в Москве, в столице первого социалистического государства. Теперь я на фронте борьбы с фашизмом, на войне, которая решает судьбу свободного человечества. И этим я горжусь, хотя моя доля в настоящей борьбе ничтожна.

В моей сумке, запыленной и потрепанной, лежит фотография матери и твои стихи.

Когда-то, это было очень давно, за богатым столом поэт прочел их, и с тех пор они врезались в мой мозг.

Страшной силой пройденных дней, легкой пылью дорог - вот чем богата моя жизнь.

Мой дорогой друг! За твои слова, за хорошую память обо мне горячо тебя благодарю и целую.

Евгений Шиловский".

Слова о "страшной силе пройденных дней, легкой пыли дорог..." цитата из популярного стихотворения В. Луговского "Сивым дождем на мои виски падает седина...". Стихотворение на самом деле очень горестно повествует об ушедшей от героя любимой женщине, что было в те дни очень актуально для Жени Шиловского.

Может, и не стоило бы специально останавливаться на судьбе этой дамы, но, к сожалению, тот шлейф лжи, который в наши дни возник вокруг имени Елены Сергеевны Булгаковой, образовался не без её помощи. История, которая продолжает длиться и сегодня, хотя почти все её участники давно умерли, началась в дни ташкентской эвакуации.

Вот несколько выдержек из писем Елены Сергеевны весной и летом Татьяне Луговской в Алма-Ату:

"...А я скажу: Зузу и москиты портят мою жизнь. Это - два больших вопроса".

"...Но главное - это Ваша любимица м-ме Зузу. Это Вам не фунт изюма. Грандиозно!"

"...Сергей выправляется. Повзрослел, стал получше.



От Женечки письма приходили все время чудесные, а последние два-три прямо чистый шизофреник, хрен его возьми! Из-за этого дрянца, как эта Дзюка (так её назвала одна Володина приятельница), мальчик себе душу надрывает".

Кто же это такая? Зузу, Зюка, а также Дзюка или Дзидра Тубельская это первая жена Жени Шиловского, по происхождению латышка, молодая женщина, которая выехала вместе с Еленой Сергеевной и Сережей в одном поезде из Москвы. Некоторое время она ещё жила с Булгаковой, но уже в поезде проявила огромный интерес к немолодым, именитым, богатым писателям.

Эта среда сразу же оказалась ей по сердцу, так как именно здесь она могла, наконец, найти не юношу, ушедшего на войну, с непонятными перспективами на будущее, а подходящую партию. Все её телодвижения, разумеется, не оставались незамеченными в писательской колонии и становились предметом сплетен. Некоторое время Дзидра находилась в качестве любовницы при драматурге Иосифе Пруте, покинув вслед за ним Ташкент.

Видимо, тогда она и отправляла письма Елене Сергеевне, которая в растерянности писала Татьяне Луговской: "От Зузу приходит масса писем, из которых выяснилось, что она пишет во все города и никто не отвечает. Пишет, что любит меня, скучает. Работает, как вол, и стала такая, как я хотела. Писала в это же время, что в её роскошном номере ванна с зеркалами, что приятно особенно потому, что она там проводит большую часть дня. Я ей не ответила, не знаю, что писать. На сердце пусто, Женя на Западном фронте, пишет чудесные письма. Боже мой, только бы мне его не потерять".

Более всего Елена Сергеевна боялась, что слухи о похождениях её невестки дойдут до сына; на фронте такое известие могло привести к смерти.

В переписке с сестрой Ольгой эта тема на некоторое время станет для Елены Сергеевны основной. Бокшанская пишет ей из Куйбышева: "Да, уложила ты меня с Зюкой, вот блудливая какая девица оказалась, противновато, прямо сказать, и боюсь только одного, что он с ней расстанется, а она явится обратно в довольно потрепанном виде. И ты не сможешь не принять ее". А к началу 1943 года, когда МХАТ вернулся в Москву, театральная кухня упоенно обсуждала переход Дзидры в руки писателя Тура, о чем с ужасом пишет Ольга Бокшанская сестре в Ташкент.

Женя должен был приехать с фронта в отпуск в Ташкент. В письмах он спрашивал Елену Сергеевну о том, что с Дзидрой. От Евгения скрывали положение дел, пока все не открылось, и он, пережив очень сильное потрясение, с ней развелся. Может быть, поэтому отец и отправил его в 1943 году служить в Самарканд, хотя он рвался на фронт.

Надежда Андреевна Филатова (Лиходеева), близкий друг Евгения Шиловского, а потом и Елены Сергеевны, незадолго до смерти рассказывала, что та очень переживала из-за Дзидры, которая, как говорила Надежда Андреевна, вовсе не отличалась строгостью нрава. Уже в писательском поезде, когда ехали в эвакуацию, - "пошла по рукам". Следы её теряются, известно только, что она, уже будучи немолодой женщиной, жила с Александром Чаковским.

И вот теперь появляется скандальное письмо Дзидры Тубельской, которая называет себя любимой невесткой Елены Сергеевны, письмо это широко цитируется Мариэттой Омаровной Чудаковой. Тубельская пишет, что ей кажется, будто бы Елену Сергеевну внедрило НКВД в семью Булгакова, чтобы увести его из семьи, а потом, живя с ним, доносить в органы о нем и его творчестве, оказывается, она выполняла такое задание. С её легкой руки, в прямом смысле этого слова, гуляет грязная версия. Вот отрывки из этого письма:

"Сейчас произнесу крамольнейшую мысль, пришедшую мне в голову: а не имела ли сама Елена Сергеевна особого задания? Вполне допускаю, что на первых порах она холодно принимала любовь М.А., выполняя некоторое задание, а затем искренне полюбила его сама и посвятила ему всю свою жизнь. Возникает ряд бытовых деталей. Откуда такая роскошь в жизни? Ведь временами М.А. почти не зарабатывал. ... Почему так активно она взяла в руки все дела М.А. - переговоры с театрами, с издательствами и пр.? Почему, наконец, она так быстро покинула обеспеченный дом Шиловского, разделила сыновей и последовала за крайне сомнительным будущим с Булгаковым?"

Сама Дзидра никогда не видела их вместе. Корень иезуитской логики этой женщины в её собственной биографии. Она всерьез не понимала, как можно из обеспеченной жизни уйти в необеспеченную, как можно просто полюбить. Ее жизнь есть печальная иллюстрация к этому письму.

Но история литературы знает множество несправедливых наветов, которые рассыпаются в прах, достаточно только к ним прикоснуться; вопрос только в том, что нельзя пользоваться подобными инсинуациями, которые не выдерживают критики даже с точки зрения элементарного здравого смысла.

Если даже и предположить безумную ситуацию, будто бы Елена Сергеевна работала на органы и получала оттуда деньги, французские духи, прочую роскошь, которая так волновала бедную Дзидру, то как же Булгаков? Жил на эти деньги, среди всей этой роскоши, которую Елена Сергеевна приносила в дом, и, к примеру, спрашивал её время от времени: а сколько, дорогая моя, они тебе сегодня заплатили за то, что ты доносишь на меня? Каждый из таких аргументов похож на бред воспаленного воображения.

Но, кроме того, все поступки Елены Сергеевны в эвакуации и после, отзывы людей, которые знали её, общались с ней, свидетельствуют о ней как о человеке невероятно отзывчивом и порядочном, не пристраивающемся, а идущем в жизни своим особым путем. Ее многие очень любили и оставили о том множество свидетельств.

А та, что клеветала, если и останется в истории, так только фактом своей клеветы. Независимо друг от друга все рассказывали о Дзидре одно и то же. Мария Белкина вспоминала: "Выскочила замуж за Женю, но искала себе какого-то "маститого" мужчину. Все началось ещё в поезде". После всех странствий по Средней Азии Дзидра сначала вернулась в Ташкент, а оттуда улетела в конце 1942 года в Москву вместе с Марией Белкиной, на личном самолете мужа её подруги. Но Мария Белкина летела в Москву, чтобы оттуда пробраться на фронт, а Дзидра Тубельская устремилась к очередному богатому писателю.

Прогулки по городу 1943 год

Жизнь Мура Эфрона в основном проходила на улицах Ташкента. Фанерная клетушка без окна была хуже, чем жильё Раскольникова, хотя бы потому, что ташкентскую жару там невозможно было вынести. Он много ходил по городу и подробно описывал, как он выглядел именно тогда.

Юноша был одинок, письма заменяли ему общение с близкими.

"Я люблю ходить гулять к вечеру, часам к 7; мой обычный маршрут: улица Маркса, сквер, улица Пушкинская и обратно. По улице Маркса я выхожу из дома около Совнаркома и памятника Ленину; по правую руку - широкая площадь, которую я пересекаю,

когда иду в школу. Потом я миную ограду сада Дома пионеров, кино "Хива", ряд магазинов (галантерейный, ювелирный, комиссионка, книжный, где я тщетно спрашиваю французские книги); перехожу налево заглядываю в распределитель (если до 6 ч.); потом продолжаю идти по длинной улице Маркса, прохожу около Главунивермага, превращенного в какое-то общежитие, около Русского театра им. Горького (сейчас там идут патриотические пьесы: "Нашествие" Л. Леонова, за которую он получил 100.000 - Сталинскую премию 1-й степени, "Всегда с Вами" А. Ржешевского и пр.). Прохожу мимо бюллетеней УзТага (последние известия), к которым жадно прилипаю, если за день не успел их прочесть. Много идет по улице студентов с книгами и котелками для обеда, компаний девиц, рабочих, женщин в платках; идут скучные профессора и работники Академии наук, интеллигенты, несколько разложившиеся в Ташкенте и болтающие лишь о том, что им сегодня не удалось получить свеклу в распределителе. Впрочем, торопливо семенит какой-то маленький чеховский интеллигентик в пенсне; он судорожно сжимает в руке "Вестник древней истории", и, уж конечно, интересуется он только древними дрязгами и ест как попало и что попало ... Прохожу мимо САГУ (Средне-Азиатского гос. университета) и выхожу на дорожку сквера. Гремит радио. На дорожке узбеки-продавцы продают папиросы, конфеты, семечки, бублики, пирожки с рисом. Привычным движением я потягиваю носом и прохожу прочь - что хорошо - или, наоборот, трачу последние гроши на какую-нибудь дрянь. Дорожка сквера выводит меня на Пушкинскую улицу - тоже длинную и "центральную". На углу - Наркомат торговли, горком - напротив, дальше распределитель, такой же, как на ул. Маркса; потом Наркомпрос и Управление по делам искусств при СНК УзССР, дальше - аптека, гостиница, Первомайская улица, на одном конце которой - Союз писателей и столовая, на другом - дом, где жили Толстые".

Бабаев вспоминал, как они с Муром шли по улице Жуковской. "И вдруг увидели Алексея Николаевича Толстого. По случаю жаркой погоды он был одет в светлый костюм. И шел, опираясь на трость, попыхивая трубкой. На голове у него была легкая соломенная шляпа.

Мы пустились вдогонку за ним. И уже почти поравнялись, как со стороны Пушкинской на Жуковскую вышла высокая и неторопливая женщина в длинном полотняном платье. На улице были и другие люди, но мы смотрели только на нее. Мы

остановились. И Алексей Николаевич остановился. Навстречу ему шла Анна Ахматова.

Мур потащил меня за руку, мы издали смотрели на Алексея Толстого и Анну Ахматову, встретившихся под платаном.

- Анна Андреевна! - говорил Алексей Николаевич, снимая шляпу и целуя её руку.

- Я вспоминала вас недавно, - сказала Анна Андреевна, - в академии был литературный вечер. И я почему-то ожидала увидеть вас среди приглашенных. Вы ведь академик... ..

По улице Жуковской тянулся караван верблюдов по направлению к Алайскому базару. Это был единственный вполне надежный вид транспорта в те годы, как, впрочем, и во все другие времена. Верблюды перекликались резкими птичьими голосами, вытягивали шеи и высоко шагали в клубах пыли.

На Анну Андреевну с её бурбонским профилем и на Алексея Толстого с его обломовской внешностью никто не обращал особенного внимания среди этого шума и гама".

Мария Белкина вспоминала, что на улицах города можно было увидеть огромное количество кинозвезд; тут жила Т. Окуневская, бывшая в те годы женой писателя Бориса Горбатова, Тамара Макарова с мужем - режиссером Сергеем Герасимовым, Ф. Раневская и многие другие, кто не уехал сразу же в Алма-Ату.

Евгений Борисович Пастернак, который жил с матерью в Ташкенте недалеко от Пушкинской улицы, писал о своих прогулках по ней с Мишей Левиным, будущим физиком. "Пушкинская улица, по которой нам было вверх до Урицкого, была обсажена большими деревьями - вероятно, тополями. Они облетали, и улица была завалена по щиколотку палыми, громко шуршащими и горько пахнущими листьями. Журчала вода в арыках, и когда мы дошли до перекрестка, где Мише было через улицу, а мне - за угол налево, - настоящий разговор только начался. Мы ещё долго ходили по прилегающим улицам, поочередно провожая друг друга, и не могли наговориться".

Из письма Михаила Левина: "В Ташкенте сейчас зима: на улицах грязь, на тополях снег, маленькие ослики, укрытые попонками, равнодушно месят мостовую. Глаза у осликов совсем человеческие. А на горизонте горы".

Татьяна Луговская не сразу сумела полюбить город, но, полюбив, пыталась его образ передать в красках и словах.

"Ташкент был мрачен и прекрасен одновременно. Мрачен войной, ранеными солдатами и больными беженцами, горьким запахом эвакуации, замкнутым, сухим, пыльным, с домами без окон на улицу - старым городом, городом чужой земли.

Прекрасен - потому что красив, потому что юг, а главное, какой-то полной свободой: уже нечего терять, уже все страшное случилось, уже все, что имело ценность, обесценено и потеряно. Уже знаешь, что можешь жить босой, голодной и холодной.

Утром до работы я бегала на этюды. Присядешь где-нибудь около грязного вонючего арыка и пишешь. На ногах деревянные подошвы, в животе пусто, но душа ликует. Удивительно красивы огромные белые акации и похожие на пики тополя. Глиняные стены и дувалы, которые становятся розовыми от солнца. А плитка на дороге - сиреневая. Старые женщины ещё ходили тогда в паранджах, и от них ложилась на землю голубая тень. Маленькие девчонки лепились около них и крутили головками с бесчисленными косичками. ...

Наш двор убитый камнем, с арыком и шелковицей под окном и высоким дувалом, окрапленным красными маками. Дикие голодные камышовые коты и собака Тедька, которой кто-то аккуратно красил брови чернилами".

Москва - Ташкент Середина - конец 1942 года

Что там теперь, в тех комнатах? Какой Родимый золотой июньский воздух?

Какие зданья и какие крыши,

Какие окна и какие стекла

Все это для меня загадка ... .

В. Луговской. Поэма о вещах

Другая Москва

Москва жила очень трудно. Беженцы занимали "свободные" квартиры. А те из писателей, кто остался в городе, пытались сохранить вещи, рукописи, книги от разграбления или от растопки буржук.

Тамара Груберт написала из Москвы в Ташкент: "Никто от Булгаковой не приходил; конечно, если мне принесут, я сохраню, а тем более архив такого автора, как Булгаков".

По всей видимости, Е.С. Булгакова поручила кому-то отнести часть архива Булгакова Тамаре Эдгардовне, чтобы она сохранила его в Бахрушинском музее. Так потом и случилось. Часть архива была надежно спрятана.

Комнаты забирали или за них требовалась плата, по тем условиям неприемлемая. Конечно же, на фоне общих бедствий это было не так важно, но после глобального передела и уничтожения времен Гражданской войны разорение архивов, библиотек, картин было ударом по частной, домашней культуре.

"Квартира Владимира занята переселенцами из дома правительства, писала Тамара Груберт Луговским - до их вселения успела забрать рукописи, Пушкина и Гофмана (это мой личный выбор), хотя я и знаю, библиографических ценностей там больше найдется, да кое-что из оружия, что, к сожалению, как оказалось, никакой исторической и материальной ценности не представляет.

Если удастся, - заберу у него ещё книг, сколько сумею унести.

Прости за грязь. В музее только копировальные чернила, а их даже твоя чудесная бумага не выдерживает. ...

Мы с (Ниней) были в Лаврушинском, она что-то взяла по специфике Марфы, а я по специфике Марии, то есть забрала какие-то книги, чтобы взять на сохранение в музей (список составляется). В квартире живет тетка из дома правительства, но, по виду, с Сухаревки. Обращение соответственное".

Москвичи хранили город, его дух, и дома, и жилища тех, кто сражался на фронте и кто был в тылу. Никакого презрения к уехавшим не было. Очень смешно и трогательно Тамара Эдгардовна описывает их общего с Татьяной Луговской родственника, которого она встретила в октябрьские дни на Ордынке.

"Шла стрельба, - пишет она, - но тревоги ещё не объявляли, а он с вытаращенными глазами говорил "очень интересно жить", "никогда Москва не была так красива". Стояли мы около разбомбленного дома". "Милый, русский интеллигент", - характеризует она его в заключение. Поразительно то, что этот возвышенный разговор происходит в самые ужасные дни для Москвы.

Из писем Тамары Эдгардовны складывался причудливый образ города, мыслями о котором во многом и жили обитатели в ташкентской колонии. И каждый, кто оставил в Москве родственников или друзей, получал такие военные московские зарисовки.

Т. Груберт - Т. Луговской: "Декабрь 1941... Тебе, конечно, интересно, как живет Москва? Хорошо живет, нормально. На ходу и в бою залечивает свои раны, заделывает выбитые окна, ремонтирует дома, ремонтирует Большой театр. Городской транспорт не

подводит, на работу попадаем вовремя, по дороге в отогретую дырку в окне смотришь на уличные баррикады, как на декорацию не пропущенного реперткомом спектакля. Дни короткие, домой возвращаешься в полной темноте. Над темным, кажущимся необитаемым любимым городом как покровом ложатся мелодии шопеновских баллад, или вдруг этот фантастический город запоет голосом Обуховой под аккомпанемент виолончели "Сомнения". Очень это странное ощущение".

"29 марта 1942. Все много работают, по мере сил развлекаются. Театры полны, сидят в шубах и смотрят "возобновления" и новые постановки. Мало настоящей музыки, хотя завтра иду на 7-ю Шостаковича. К сожалению, дирижер Самосуд, этот из всего делает либо оперетту, либо нрзб. Не сердись, если пишу неразборчиво; коптилка не заменяет электричества, а его нет вот уже 3-ю неделю".

"24 мая 1942. На столе букет черемухи, окно открыто, за окном теплый дождик. Правда, очень не хватает Мушки. Ну да если бы она была здесь, я бы не так относительно хорошо себя чувствовала. Тревог нет, но все же их можно ожидать. По существу, сейчас мы переживаем дни, когда история вносит новые записи в свои скрижали, и меня просто шокирует беспечный вид москвичей. У кино очереди, театры полны, девушки ходят все в рогах и локончиках. Очень мало, до грусти мало настоящей музыки. Иногда играет Флиер, Гилельс, Софроницкий, а то и все ...".

В одном из писем она говорит, что пыталась сдать кровь на донорском пункте, но когда её стали осматривать врачи, то выяснилось, что её худоба уже смахивала на дистрофию, к тому же застарелый туберкулезный очаг и прочее, и врачи не пожелали брать на себя ответственность за её жизнь и прогнали прочь из кабинета.

Эта маленькая, но очень сильная женщина тосковала по дочке, которая находилась в Чистополе в детском писательском доме. Детей отправили на несколько месяцев, а оказалось, что они прожили там почти три года. Девочка выросла вдали от дома, они встретились в конце 1943 года и вынуждены были заново привыкать друг к другу. В Чистополе Муха часто видела Бориса Пастернака, его жена, Пастернак была сестрой-хозяйкой интерната. Здесь же жил и их маленький сын Леня, и Станислав, старший сын Зинаиды Николаевны и Генриха Нейгауза. Ночью он играл на рояле, наполняя детский дом прекрасными звуками. Эту игру Мария Владимировна помнит до сих пор.



Борис Пастернак, для того чтобы спасти картины отца, художника Леонида Осиповича, перенес их в дом своего друга Вс. Иванова в Переделкине, а дом во время войны сгорел вместе с картинами.

Семьи были разделены, и все только надеялись, что вот-вот - и все закончится. Пастернак находился между Москвой и Чистополем, в Ташкенте обитали его первая жена и сын, а он ездил по Москве между Лаврушинским и их квартирой, чтобы сохранить хотя бы немного вещей довоенного быта. "За твою квартиру я заплатил, - писал он им в Ташкент, - до конца года. ...Хотя все существенное у тебя разворовали, твои окна и стены целы, вместе с мебелью и часть вещей и книг. Твоя квартира не стала продолжением части двора ....

Но не знаю, писал ли я тебе и писал ли достаточно об ударе, постигшем меня в лице папиных вещей. Сундук сгорел в Переделкине ... Судьбу квартиры в Лаврушинском и её содержимого решило несколько обстоятельств: то, что она под самой крышей и при бездействующем лифте слишком высоко; что во время воздушных тревог она становилась как бы штабом охраны; что она год оставалась без надзора; что в её нижней части поселились зенитчики.... Вперемешку с битым стеклом и грязью на полу валялись затоптанные обрывки папиных рисунков".

Потом, когда Пастернаки в начале 1943 года вернутся в Москву, из-за невозможности жить в прежней квартире на Лаврушинском, Пастернак будет жить у Асмусов на Зубовском бульваре и даже некоторое время в квартире Луговского. "А в твою квартиру, - писала из Москвы в 1943 году Елена Сергеевна Булгакова, - въезжает опять же Чумак (в той комнате просто свинарник) и Пастернак, которому дали твою квартиру, пока не кончится ремонт в его собственной, словом, не надолго. Я понимаю, что никому не интересно жить в таких условиях и, конечно, это даже хорошо, что Пастернак будет здесь: они невольно приведут хотя бы в какой-то порядок эту квартиру и задерживаться не будут, будут торопить со своей".

Луговскому неожиданно из Москвы пришло письмо от его прежней жены Сусанны, уход которой в конце 30-х он тяжело пережил.

"... Сегодня я говорила с Пастернаком и призналась ему, что в его стихах, которые я люблю и почитаю, для меня всегда есть ложка (пусть чайная) дегтю.

Я знаю, что война и люди говорят о пайках, о литературном питании, о лимитах, но вдруг время остановилось на моем чердаке, как большое солнце, вокруг которого движется земля, и я увидела постоянные ценности, простите, Володя, я думаю бесхитростнее, но мне стыдно написать слова "вечные величины" или что-нибудь ещё более наивное.

Володя, вы приближаетесь в своих стихах к тонкости предельной и обладаете простотой не вульгарной, что недоступно Пастернаку, там, где у вас "Он очень хороший парень, жена у него плоха", он пишет "а горечь грез (у Пастернака "слез". - Н.Г.) осточертела".

А Вс. Иванов, вернувшись в конце 1942 года из Ташкента в Москву, увидел её совсем другими глазами. "Москва? Она странная, прибранная и такая осторожная, словно из стекла. Из-за дороговизны водки, а главное, отсутствия её - совершенно нет пьяных. Дни, до сегодня, стояли солнечные и теплые. Я обошел много улиц. Но ни у одного дома не встретил стоящих и беседующих людей, которых всегда было так много в Москве. Так как продуктов мало и все они истребляются, то улица чистая - нет даже обрывка бумаги. Возле нашего дома, на Лаврушинском, бомбой отломило угол школы. Сила воздушной волны была такова, что погнуло решетку, прутья которой отстоят довольно далеко друг от друга".

#### Назначенный круг

У Луговского остались в Москве два близких друга - Павел Антокольский и Александр Фадеев - артистичный, несколько старомодный Павлик и романтический, азартный и все более напряженный от тесного общения с властью Фадеев. Волею судеб они оказались в 1942 году под одной крышей. Фадеев какое-то время жил в гостеприимном доме Антокольского, куда заезжали с фронта ученики Луговского: Долматовский, Матусовский, Гольцев, Маргарита Алигер. Сюда приходили вернувшиеся из эвакуации и те, кто вырвался из блокадного Ленинграда.

"В годы войны квартира Антокольского на улице Щукина, - писал критик Лев Левин, - превратилась в нечто среднее между литературным штабом и гостиницей для фронтовиков. Здесь кое-как поддерживалось тепло. Гостей угощали кружкой черного кофе без сахара и куском хлеба с солью. Сюда приезжали прямо с фронта, чтобы немного обогреться, повидать друзей, почитать стихи".

"Милым Зое и Павлику на память о суровой и прекрасной зиме начала 1942 года на улице Щукина, д. 8, - с неизменной любовью. Ал. Фадеев", написал он на своей книге.

Судя по письму Луговскому в Ташкент, Фадеев переживал необычное состояние, вернулись разговоры о стихах, литературе, споры, дружбы, а отступила отвратительная номенклатурная возня последних лет. Он рассказывал о тех днях в Москве с каким-то особым, небывалым, забытым чувством.

Фадеев - Луговскому: "20 марта 1942. Москва - Ташкент.

Дорогой старик!

Я уже посылал тебе небольшое письмо почтой. Получил ли ты его? Меня на некоторое время подкосило крупозное воспаление легких. 23-й день я уже в кремлевской больнице, и это дает мне возможность написать тебе подлиннее.

Долго скитался я по Москве, не имея квартиры. Дом наш в Комсомольском отошел под военное ведомство. Оно им, правда, не воспользовалось, но дом не отапливается, и вещи мои были вывезены родственниками и знакомыми. Наконец, я притулился на Б. Левшинском переулке у Павлика Антокольского. Здесь, в маленьком уютном кабинетике, возле полки с хорошими книгами, на диване, слегка коротковатом для меня (так что ноги мои ночью покоятся на французских поэтах), - я живу. С Павликом мы более или менее сошлись в Казани. Душа у меня к нему издавна лежит. В нем есть что-то душевное и благородное, без показного, - он очень застенчив, что очень талантливо изображает Ираклий Андроников, - он умен и эмоционален, талантлив и любит поэзию. Зоя очень мила и добра. Квартира у них теплая и какая-то по-особенному уютная. Выходит, мне там хорошо.

Коля Тихонов, вызванный на некоторое время из Ленинграда для одного задания поэтического характера, ещё здесь, но скоро уедет, вернее - улетит. Старик прилетел очень худым и изможденным, ступал своими кривоватыми ногами в бурках не очень твердо - от изнуренности, но настроен исключительно светло и мужественно. Здесь мы его кормили и поили сколько могли. Вскоре он пополнил, посвежел, глаза его заблестали, и вскоре обнаружился все тот же не сгибающийся, смеющийся, рассказывающий все самое необыкновенное, старый, седой дьявол. До моей болезни легких мы виделись почти ежедневно, хотя, правду говоря, времени для дружеских бесед стало очень мало. Он работал как зверь, заполняя газеты и радио, а моя судьба уже известна. Но

дней шесть-семь я болел гриппом, и тут мы немало почитали стихов в обществе Павлика и Зои, Риты Алигер и Виктора Гольцева (он приезжал на побывку с фронта и жил у Антокольского), Коли и меня. Самое забавное, что в течение 3 дней вся эта компания жила у Павлика веселой и дружной коммуной.

Москва теперь совсем не такая, какой ты её знал. Особенно интересной она была в первые дни нашего возвращения. Она ещё хранила печать самых суровых дней обороны её, - была вся в баррикадах, заснеженная, многие дома стояли, как обледенелые глыбы. Потом она стала быстро заполняться народом, теплеть и расчищаться на глазах. Однако и сейчас она очень демократична, бобровых воротников почти не видать, много военных, - нет коммерческих магазинов и ресторанов, атмосфера подтянутости и дисциплинированности. Но, боже, до чего Москва бывает хороша в солнечные морозные дни или лунные ночи, - хочется бродить и бродить по ней без конца!

Как-то, выйдя от Павлика, я вспомнил, что рядом находится музей Голубкиной, и зашел туда. Дом был заморожен, вход открыт, я поднялся по лестнице, никем не встреченный. Интеллигентного вида пожилой мужчина, в потертой бобровой шапке, с бородкой, как у Луначарского, что-то делал среди заколоченных, с торчащей в щелях соломой, ящиков, - руки у него были скрючены и синие от мороза. Я назвал себя, сказал, что я поклонник таланта Голубкиной, - он так и просиял! Выяснилось, что гипс и мрамор вывезли, а бронза была запакована в эти страшные ящики.

Я ушел с внезапно возникшей грустью в сердце, вызванной, должно быть, воспоминаниями о том, как мы ходили с тобой по этому музею в другие времена.

В эти суровые дни, когда все так заняты, напряжены, ожесточены, когда ложишься и встаешь с постели, измученный и озабоченный, воспоминания действуют с силой почти разящей.

Во время моей болезни гриппом договорились с Алигер, как только поправлюсь, вместе съездить в Сокольники: мне нужно было узнать, куда эвакуировалась семья самого младшего моего брата (он тяжело ранен, лежит в госпитале в Пятигорске), а ей - навестить родню мужа, убитого на фронте. От круга пошли пешком по пятому Лучевому просеку. И вот я снова был у дачи, с которой у меня так много связано, и где ты неоднократно гостил у меня зимой, и где мы бродили летом. Забор был спален на топливо, лес вокруг сильно повырублен. Но все-таки это были те же Сокольники, чудесные, как

юность. Потом мы подошли к тем местам, где однажды мы попивали с тобой чудесный кагор прямо из бочонка, а потом выяснилось, что родственники Алигер живут в тех же скоростройках на поле, мимо которых мы с тобой прошли, когда ходили на могилу твоего отца. И вот тем же полем, но в снегу мы прошли к церкви на кладбище.

День с утра был пасмурный, но тут разыгрался ветер. Церковь стояла такая же прекрасная, старинная, уходящая ввысь, со своими русскими крыльцами. Я долго лазил по снегу, проваливаясь иногда выше пояса, - все хотел найти могилу твоего отца. Но многие кресты целиком были под снегом (эта зима вообще очень снежная), а в некоторых местах из-за снега невозможно было пролезть. Так и не удалось мне найти могилу. Когда мы подошли к самой церкви, мы услышали, что там идет служба, - день был воскресный. У главного входа эти звуки стали особенно ясны, - это была служба без пения, только голос священника явственно доносился из пустой и холодной церкви. На паперти внутри стояли нищие с клюками, и так все это необыкновенно было в современной Москве! Просто диву даешься, сколько вмещает в себя наша Россия!

Пройдя через знакомую тебе деревушку, которая славилась в старой Москве своими ворами, мы вышли на шоссе, ведущее к сельскохозяйственной выставке. В это время выглянуло солнце, и кресты на церкви с их заиндедевскими цепями и заиндедевские ветви кладбищенских деревьев, выглядывавшие из-за крыш деревни, вдруг засверкали на солнце радостно и весело. Некоторое время мы ещё видели эти кресты и деревья из окон троллейбуса, потом их не стало видно, но они навсегда остались в моем сердце.

Милый старик! Ты должен сделать все, чтобы перестать быть больным. Ты знаешь, что это возможно, если этого очень захотеть. Это значит, что все физические и духовные силы нужно подчинить т о л ь к о этой задаче. Но для этого надо вернуть себе то моральное состояние, которое возникает у сильных людей, когда они вновь начинают верить в возможность добра и счастья. Мне кажется, таким ты был в Соснах. Это моральное состояние ты должен вернуть. Для этого ты должен ликвидировать абсолютно все, что взвинчивает нервы (вино, табак, сплетни и переживания, - женщины, конечно, только рекомендуются, но не занудливые), посадить себя на режим, читать Джека Лондона и Стивенсона и больше гулять на воздухе.

Крепко жму твою руку. Поцелуй Ольгу Михайловну и мою незабвенную Тусю. Сердечный привет Елене Сергеевне и Сережке, когда их увидишь.

Твой Пит Джонсон (эсквайр)".

Удивительное письмо. Прекрасное описание прогулки в Сокольники с Маргаритой Алигер. На трагическом фоне потери близких у Фадеева возникнет мимолетное чувство к ней, а у неё сильная, глубокая любовь. Они вместе поедут в блокадный Ленинград, а после она родит от него девочку - Машу. К Луговскому Маргарита была нежно привязана со студенческих лет, училась в его поэтической группе, из ученицы превратилась в близкого друга и защитницу на всех собраниях-проработках. В тот памятный день, когда они с Фадеевым заглядывались на кресты Тихвинского храма, им, наверное, хотелось через храм, службу, могилу Александра Федоровича Луговского соединиться с далеким другом в Ташкенте.

Совпадение или действительно сердечная прозорливость друга, но для Луговского память об отце в эти годы становится основной опорой в жизни. В записных книжках читаем: "Все возвращается, но в другом завитке. Счастлив, благословен тот, в ком сохранилась традиция. Несчастливы те, кто вверяется самозабвенно стихии этого страшного века..."

Ужасная переключка. Его товарищ - Фадеев - именно тот несчастный, что вверился самозабвенно стихии страшного века.

Но есть на свете старое кладбище В тени, под Алексеевской слободкой,

Что за Сокольниками.

Там в могиле С кривым бугром, заросшим сорняками,

Вьюнками, подорожником, ромашкой,

Лежит спокойно, гордо мой отец.

Он, полнотелый, с мягкими губами И мягкой сединой, в пенсне давнишнем,

Романтик радостный, педант ученый,

Он, Луговской А.Ф., родной, беззлобный.

Он это знал. Он был началом века.

Отступление. Семья Луговского Отцом семейства Луговских был замечательный учитель литературы, Александр Федорович Луговской "словесник" Первой московской гимназии, располагавшейся на Волхонке, напротив храма Христа Спасителя. "Этот среднего роста, рано поседевший человек с большими усами и небольшой бородкой, короткими и причесанными кверху

волосами, с добрым, чуть ироническим взглядом голубых глаз был необыкновенно обаятелен. А.Ф. Луговской был отзывчив и чуток, никогда не повышал голоса и не "карал" учеников, но при этом пользовался огромным авторитетом" - так описывал его ученик В. Ардов. Семья жила рядом с гимназией в казенной преподавательской квартире. Мать, Ольга Михайловна, была талантливой певицей, но предпочла всему занятия домом, семьей. "Мама была переменчивая: красивая и дурнушка, добрая и сердитая, веселая и грустная... Мне кажется, - писала Татьяна Луговская, - что ей легче было выразить себя пением, а не словами". В 30-е годы Александр Фадеев со своего писательского гонорара скупил несколько ларьков цветов, нанял мальчишек и с их помощью приволок охапки флоксов - это был их сезон - старой женщине, Ольге Михайловне Луговской, которую он называл "мама" и на "ты". Когда Владимир бывал в командировках, Фадеев заботился об Ольге Михайловне и часто навещал её. Именно Фадеев внес её, парализованную, на руках в поезд, следовавший в эвакуацию.

Привязанности в семье были разделены: Володя обожал мать и никогда с ней не расставался, а Таня была очень привязана к отцу. В своей книге о детстве "Я помню" она отдает своей счастливой семье "последний поклон".

Александр Федорович и Ольга Михайловна были детьми священников, о чем впоследствии в семье старались не вспоминать. Их брак был омрачен тяжелым обстоятельством: во время помолвки отец Александра Федоровича встал и сказал: "За здоровье молодых!" - выпил и умер. Свадьба была отложена на год.

Отец Ольги Михайловны был настоятелем храма Симеона Столпника на Поварской. Михаил Дмитриевич Успенский смотрит со старой фотографии из-под густых, пушистых бровей. Татьяна Александровна срезала рясу с крестом, оставив в своем старом альбоме только лицо в окладистой бороде. Его описал Луговской в поэме "Шуба", открывавшей цикл поэмы "Середины века": "Дверь отворяется - и входит дед./ Огромный, седобровый, бородатый, / Арбатским инеем осыпан весь до пят./ Он опускает каменную руку/ На голову мою и молча дарит/ Холодный, красный, круглый апельсин".

С началом революции и Гражданской войны вполне благополучная семья, имевшая прислугу, содержавшая большой дом, с поразительным смирением приняла все - разрушение прежнего уклада жизни, голод, холод. Главное для Александра

Федоровича, а следовательно и для его семьи, на тот момент жизни стало спасение его учеников. Он особенно не вникал в суть классовых битв, в революционную и антиреволюционную риторику, он тихо и настойчиво делал свое дело. Александр Федорович стал добиваться у новых хозяев возможность создать в Подмоскowie школу-колонию для детей, где они могли бы выращивать овощи, разводить птицу и скот и таким образом выживать в новых условиях. Он же со старой гвардией гимназических учителей обязывался учить их в свободное от работы время. Хождение по кабинетам советских чиновников очень осложняло его жизнь; к тому времени он был уже больным человеком, перенесший несколько инфарктов. Но в нем была огромная внутренняя прочность, порядочность, чувство собственного достоинства, умение всегда сначала думать о других, а потом о себе. Он оберегал каждого человека, который встречался на его пути, словом ли, почтительным обращением, вниманием. Эти отцовские качества и спасали его детей, когда они стали взрослыми.

Нравственная упругость семьи, память о любви родителей к детям и друг другу, к людям, наверное, удержала В. Луговского во внутренних и внешних катастрофах от той бездны, того последнего шага, который сделали Марина Цветаева и Александр Фадеев. Луговской тоже был совсем недалеко от желания наложить на себя руки в эвакуации в Ташкенте, но его спасала, вытаскивала память детства. Александр Федорович Луговской скончался в 1925 году в возрасте 50 лет от инфаркта в колонии в Сокольниках. На Алексеевское кладбище гроб на руках отнесли ученики.

В самые лучшие дни их дружбы в начале 30-х годов Фадеев придумал себе маску Пита Джонсона - эсквайра, веселого забулдыги, но, в сущности, честного парня и преданного друга, этим именем он часто подписывал письма Луговскому. Становясь все более официальным и замороженным на своей партийно-литературной службе, он забывал старика Пита. Не привыкнув ещё к циничному лицу власти, он нуждался в доброй маске, в другом имени, чтобы быть открытым, веселым и легким. Потом это имя ушло из переписки.

"Но Пит Джонсон жив и, несмотря на некоторые удары судьбы, - писал Луговскому ещё полный сил Фадеев, - во многих из которых он виноват сам, начинает чувствовать себя все более бодро и кончает третью книгу "Удэге". Голоса жизни тревожат старика. Тысячи уток, осуществляющих весенний перелет, проносятся над



его головой, и прямо перед его носом, на только что освободившемся ото льда голубом заливе, совершают свои извечные утиные дела. Прямо скажем, Пит не прочь бы поохотиться, тем более что весенний прилет скоро кончится и охота будет запрещена. ... Да и вообще, самое плохое и вредное при нашей профессии - это праздность, видимость жизни. Только когда человек работает всласть, он в состоянии ощущать, что на свете есть ещё такие прекрасные вещи, как лес, море, звезды, добрые кони, умные и чистые люди и прекрасные женщины. К этому я, собственно, и призываю тебя. Я знаю, что ты и сейчас много работаешь, но работаешь, продираясь сквозь дебри настроений и суетности. А ведь это можно послать к черту, перенесясь одним хорошим молодым движением на 10 000 километров через горы и степи к берегам Великого и Тихого".

Тот взлет дружбы и взаимопонимания, который пережил в военные годы Фадеев, видимо, не повторился больше никогда. Отсутствие жилья, радостная безбытность, жизнь в гостеприимном доме Москвы возродили в нем самые высокие дружеские чувства, связывавшие их с Луговским в начале 30-х годов. Два молодых человека, ещё недавно чувствовавшие себя свободными и сильными конквистадорами, осваивающими новые земли, завоевывающими любовь женщин и почтительное уважение мужчин, и представить себе не могли, в какой песок их творчество, их радостные надежды перетрет советская власть. Луговской в Ташкенте, благодаря работе над поэмой, выпрыгнул на полном ходу из машины, безжалостно перемоловшей его друга.

В 1942 году он обозначил новую точку отсчета. В первом варианте его книга "Бытия" ("Середина века") открывалась поэмой "1937 год, или Верх и низ".

Ответственность за жизнь, историю, за миллионы замученных пришла к Луговскому во время войны. Фадеев ещё жил вслепую, не желал понимать весь масштаб трагедии, а может быть, и не мог, поскольку был слишком причастен к ней.

А пока война, как ни странно, реабилитировала многих, сняла заклятие лжи, давала возможность творить, возвращала полноту поэтического чувства.

"Милый, милый Володя! - писал ему после посещения Москвы вернувшийся из блокадного Ленинграда Николай Тихонов. - ... Я о тебе много расспрашивал в Москве, узнал все твои болезни и беды и очень расстроился. Ну, ничего, старина, пройдет и это страшное

время, не будет же война длиться сто лет кончится раньше - и мы с тобой поедим в какую-нибудь солнечную долину и тряхнем кахетинское под развесистой чинарой или под чьим-нибудь гостеприимным кровом. ...Друг милый! Это ничего, что так сложилось, что ты в Ташкенте. Город старинный вроде Багдада, город поэтов..... Потерял я много родных за эту зиму, ничего не поделаешь, старик добрый, хлебнули мы горюшка..." Тихонов, которого удалось несколько откормить и поправить в Москве, вернулся в умирающий город к своей жене, чрезвычайно мужественной женщине, поддерживающей всех своей стойкостью. "Наш Тобрук на Неве живет сурово. В городе пустынно и прекрасно" - так осторожно Тихонов писал о Ленинграде, про который в Ташкенте ходили страшные слухи.

Отступление о Ленинграде. А. Фадеев и М. Алигер В Ленинграде продолжал работать Тарасенков. Блокадниками каждый приехавший встречался с неопишуемым восторгом. Во-первых, приезжали друзья, можно было увидеть близкие, родные лица, во-вторых, что было немаловажно, привозили еду. По письмам Тарасенкова, который подробно пересказывал ленинградские события, трудно представить, что он голодал: он скрывал это от жены, чтобы не расстраивать её. Выдавало его то, что он слишком уж подробно перечислял названия продуктов, которые ел. На Ладогу он выехал в середине мая по приказу командования уже с признаками дистрофии.

Итак, часть той же компании, которая провела несколько недель в доме Антокольского в Москве, едет в Ленинград. Тихонов выезжал за Сталинской премией, о которой, надо отдать ему должное, ни словом не обмолвился в письме Луговскому. Возможно, ему не хотелось противопоставлять себя, лауреата, им, живущим в Ташкенте, "отсидевшимся".

В мае 1942 года Тарасенков пишет жене в Ташкент каждый день, а иногда два раза в день. Он посылает ей свои патриотические лирические строфы, которые печатает в газете, а также трогательные стихи, посвященные ей лично. Его собственные опыты были слабы, несмотря на очень высокое поэтическое чутье, позволявшее ему быть в Москве чуть ли не главным собирателем русской поэзии, переписывать и хранить в тетрадях написанные от руки стихи Цветаевой, Пастернака, Ахматовой, поэзию русской эмиграции.

"1 мая, 1942

Ну, Машка, событий уйма. Во-первых, прилетел из Москвы Николай Семенович Тихонов, расцветший, хороший, сильный. И вместе с ним Фадеев и Алигер. С Фадеевым мы целовались, как родные... Дурак я, забыл все то горькое, что сам о нем думал и говорил... С Маргаритой мы просидели и говорили до двух часов ночи... Все не передашь, но говорили мы с ней бесконечно, читали друг другу стихи. Она молодец. Выглядит прекрасно, пишет хорошие стихи (особенно об эвакуации в Казань). Сюда, к нам, она и Фадеев прилетели дней на 10-15. Привезли мне письма от мамы - от 22 апреля. ....

Хотим с Маргаритой пройти сегодня по городу - я хочу ей показать все..."

"1 мая, 1942

... Прилетел из Москвы Тихонов. С ним - Фадеев и Алигер!.. Они сюда недели на две. Радость встречи с Маргаритой очень велика. Молодец она! И хорошие стихи пишет. Весна, весна... Небо чистое, светлое, в шинели жарко. Ну будем бить фрицев и летом... Славно стали работать зенитчики, - то и дело, пылая, юнкерсы летят на землю. Рад твоим продажам. Есть хоть деньги. Увы, мне нечего тебе послать к празднику. Целую брысы. Толька".

"2 мая, 1942

... Пишу тебе неумоимо. Маргарита здесь - приехала с Фадеем и Тихоновым дней на 15. Какая она? Внешне не изменилась. Чистая, нарядная, здоровая. Это очень радостно. Стихи она пишет очень хорошие. Особенно одно - о поездах, идущих осенью на восток, с детьми и женщинами. Это - на основе казанских впечатлений. Вещь сильная, правдивая... Долго-долго говорили мы с Маргаритой.

Итак, весна. Она должна стать весной победы, весной радости. Но ещё далеко до нашей встречи, о которой столько мечтаем мы с тобой... Далек Ташкент, что-то больше 4000 километров... Если бы эти километры идти пешком, то понадобилось бы 150 дней. Я бы дошел, пожалуй, если бы было можно. Но пока ни я, ни ты не имеем права ещё мечтать о скором свидании. Я иногда нарочно заставляю себя не думать об этом. А то уж очень начинает хотеться... Нельзя так.

Эти майские дни я переживаю с какой-то особой остротой. Я не могу забыть, как было в мае год назад, как гуляли мы с тобой, как провожал я тебя на вокзал. Милый, родной мой махаон-брыса!..

День уходит за днем. Идет одиннадцатый месяц великой войны. И теперь, оглядываясь, видишь, как невиданно быстро все

менялось вокруг. Каждый из месяцев неповторим, каждый не похож на другой. Душевно самым трудным был сентябрь. Физически - январь. Кто знает, какие ещё испытания впереди. Но надо все выдержать. ..."

"3 мая, 1942

Я уже писал тебе, что вернулся из Москвы награжденный Сталинской премией Тихонов. С ним не надолго прибыли Алигер и Фадеев... Алигер между прочим рассказывала, - была она в Малеевке. Сволочи немцы все сожгли, даже деревья вокруг нашего дома отдыха... От города Рузы осталось несколько домов... Ах, как там было нам хорошо с тобой. Помнишь? - почти 2 года тому назад, после того как я отболел почками ...

Вернулась вылетавшая Ольга Берггольц. Ты её, впрочем, кажется, не знаешь. Прибавила она за полтора-два месяца пуда два. Пишет очень хорошие стихи (до войны писала бледно, вяло).

Сегодня туман, дождь...

Настроение у меня кисловатое. Погода влияет на меня очень... Но жить и работать мне очень хорошо. ..."

"3 мая, 1942 (второе письмо)

Снова мы с Маргаритой ходили по городу. Она рассказывала о друзьях. Женька Долматовский, несмотря на все свои приключения, по её словам, остался таким же легкомысленным балбесом. Мишка Матусовский приехал раз в Москву на 3 дня и женился на какой-то секретарше эстрадного управления. ... Ну, Костя Симонов преуспевает. У Фадеева нет машины, а у него есть. Скоро он будет самым главным начальником на свете. Ужаси какие!.. Потом очень коротко - Маргарита рассказывала о гибели Кости Макарова. Она написала об этом замечательное стихотворение "Музыка", которое вместе с другими читала вчера на так называемом "Устном альманахе" в Союзе писателей (это новая форма возникшая во время войны). ..."

"5 мая, 1942

Родная моя!

Вот снова пишу тебе... Вчера был в Союзе писателей. Фадеев делал доклад о работе ССП. Затем - прения. В числе прочих выступил и я. Много было разговоров о "тыловых писателях". В конце концов нам всем надоело злиться на них, пусть пишут, работают, ведь в тылу нужна литература. Всем нам несколько прискучила роль "непримиримых" по отношению к Виртам-Лаврениным и проч. Бог с ними. Есть более важные дела.

Завтра организую у себя большой литературный вечер - будут Фадеев, Тихонов, Алигер, Берггольц. Пусть наши ребята послушают... .."

"10 мая, 1942

... У нас - Фадеев и Алигер. Приехали вместе с Тихоновым. Встреча исключительная. Все сразу Фадееву простилось. Кажется, у них с Марго роман. Но это - колоссальная тайна. Не болтай абсолютно никому. Маргарита пишет очень хорошие стихи. ..."

"14 мая, 1942

... Улетела Алигер, увезла письмо тебе, письма маме. ..."

Фадеев, как пишет Тарасенков в одном из писем, сел на трамвай и поехал на фронт. Эта замечательная деталь есть в знаменитом фильме об обороне Ленинграда "Два бойца", который снимался в Ташкенте, там был такой титр: "Линия фронта проходила в конце трамвайного пути".

Близкие. Связи пунктиром Середина - конец 1942 года

Павел Антокольский

Волны горя захлестывали и Москву, и Ташкент. Болезни, пропажа близких и родных, смерти - главная тема разговоров и писем тех лет.

Павел Антокольский в те дни ещё не знал, что всего через два месяца придет страшное сообщение с фронта о том, что его сын Володя - от первой жены - погиб, это случилось 6 июля 1942 года.

Радостный, доброжелательный - все его называли "Павлик" - буквально окаменел. Он сидел за своим столом в комнате и бесконечно то рисовал, то стирал набросок портрета погибшего мальчика. Друзья уговорили его съездить в Ташкент, где жили мать Володи - Н.Н. Щеглова - и дочь Павла Григорьевича, надеясь, что это спасет его от мучительной депрессии. В конце июля он выехал в Ташкент.

"А потом приезжал Павлик Антокольский, - писала Мария Белкина, - его дочь Кипса жила в нашем доме, и мы с Павликом часами кружили по узким улочкам вдоль глинобитных дувалов, за которыми были скрыты дворы и дома узбеков, и он говорил, говорил о своем красавце сыне, только что убитом на фронте..."  
Совсем недавно мальчик Володя, учившийся неподалеку от Ташкента, из тех мест ушел на фронт. Для Антокольского было важно прикоснуться к тем местам, где только что сын на плацу печатал шаг.

Георгий (Мур) Эфрон

"...я нахожусь в постоянном и тесном общении с писательской средой. Я успел познакомиться с нравами этой среды, с её специфическими особенностями, с её кулисами, её языком, привычками, ужимками и гримасами. В будущем я смогу хорошо использовать богатейший материал, накопившийся у меня о наших писателях, - материал для интереснейших материалов романа".

Ироничный, и саркастичный, и уже совсем "пожилой" мальчик. Аля, его сестра, очень волновалась, что брат излишне высокомерен, что он будет возбуждать против себя только раздражение и злость. Из лагеря она пыталась дотянуться до него, делая какие-то бесполезные внушения, уговаривая его не ссориться с их общими знакомыми.

Но Мур в середине 1942 года совсем рассорился даже с Анной Андреевной Ахматовой. Она стала говорить о нем ужасные вещи, что правы те, кто называет его убийцей своей матери, а он зло писал о ней Але.

"Несколько слов об Ахматовой. Она живет припеваючи, её все холят, она окружена почитателями и почитательницами, официально опекается и пользуется всякими льготами".

Это было внешнее впечатление, распространенное среди недоброжелателей Ахматовой. Мур подхватывает его, потому что за ним ещё и судьба его матери. "Подчас мне завидно - за маму, - продолжает он письмо. - Она бы тоже могла быть в таком "ореоле людей", жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо никогда не была "богиней", сфинксом, каким является Ахматова". Он считался с Ахматовой за мать, которую она-то, по-своему, очень ценила, любила. С каждой годовщиной её смерти подымала, как поэта все выше и выше. Но и Анна Андреевна перестала видеть в Муре маленького, запуганного страшной жизнью мальчика, который нуждался в любви и закрывался от мира кривой усмешкой. Ей, наверное, казалось, что её сын - другой, что он во много раз лучше. Она, наверное, мысленно сравнивала свою судьбу с судьбой Марины Ивановны, своего сына с её сыном. Ее сын Лева, заключенный в лагере, в конце войны чудом освобождается, попадает на фронт и доходит с боями до Берлина. Его судьба пощадила, а цветаевского сына - нет.

Мур тоже не хотел помнить о том, что Ахматова, с её "ореолом", не уехала в 20-е годы из страны, что она несла и несла тот крест, который выпал на несколько лет цветаевской семье, а на её долю - на многие годы подряд. Они - Ахматова и Мур - с какого-

то времени видят друг друга чужими глазами, все более доверяя слухам и сплетням.

О Муре все говорили с уверенностью, что это он виновен в смерти матери. Его называли бесчувственным, высокомерным. Эдуард Бабаев вспоминал, как одна дама бросилась к Муру с вопросами о матери, на что он холодно оборвал ее: "Разве вы не знаете, что Марина Ивановна повесилась!" Женщина была потрясена. Так было со многими другими, кто пытался его пожалеть; он по-своему защищался.

То, что он чувствовал на самом деле, что понял за год сиротской жизни в Ташкенте, - все свои горькие мысли он доверит в письме от 8 января 1943 года близкому Алиному и своему другу Муле (Гуревичу Самуилу Давидовичу), погибшему в тюрьме уже после войны.

"Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, её предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал её и злился за такое внезапное превращение... Но как я её понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие внутренней мотивировки каждого её слова, каждого поступка, включая самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, и пойми, пойми, как давило её прошлое, как гудело оно, как говорило! ..."

Невозможно представить, что эти слова писал человек с холодным сердцем, хотя даже Аля от насмешливых и язвительных писем юноши-подростка приходила в негодование и называла брата бесчувственным Каем. А он продолжал свой анализ, он ведь должен был понять, осмыслить происхождение рока, который поглотил всю их семью.

"Мне кажется, что для нашей семьи это проблема взаимосвязи трех величин: настоящего, прошлого и будущего, - основная проблема. Лишь тот избегает трагедии в жизни, у кого эти величины не находятся в борьбе и противодействии, у кого жизнь образует одно целое. У Сергея Яковлевича всегда преобладало будущее; только им он и жил. У Марины Ивановны всегда преобладало прошлое, многое ей застилавшее. Об Але не говорю - не знаю. Я же всегда хватался за настоящее, но в последние времена это настоящее стало сопротивляться и прошлое начало наступление. И в том, что у каждого из членов нашей семьи преобладала одна из этих трех величин - в ущерб другим, в этом-то наша трагедия и причина

нашей уязвимости, наших несчастий; у всех отсутствовала единая мера, которая бы измеряла явления всех трех величин. Вполне возможно, что такой меры вообще не существует, но мы это отсутствие осознали с особой силой".

Видимо, Луговского и Антокольского, после его краткого пребывания в Ташкенте, успел запечатлеть язвительный Мур в своих французских дневниках. "29 августа 1942. Дом профессора-пушкиниста Цявловского. Приходят два поэта: Павел Антокольский и Владимир Луговской Как большинство своих собратьев, когда они соберутся вместе, они начинают говорить о недалеком, довоенном прошлом. У этих двух в воспоминаниях явно перевешивает тоска по выпитому и съеденному. Все они ездили на съезды в республики, где их угощали; сколько выпито и сколько съедено! Мне смешно. А. и Л. рассказывают, главным образом, о Грузии, драках в ресторанах, выпивках, имитируя акцент грузин. Все это занимательно, ибо Л. - прекрасный рассказчик, а А. - остроумный человек, но крайне примитивно. Нашли о чем вспоминать! О кафе и окороках! Ну и источники вдохновения. А ведь это официальные сливки интеллигенции. Все-таки насколько они ниже западной. А может, они правы? Ведь действительно, описываемые наслаждения "бесспорны".

Мальчик, который делает много верных замечаний, часто не понимает, не чувствует раненую душу этих людей, прячущихся за шумные разговоры. Ведь не могли же они на чужих глазах рассказывать один - об убитом сыне, другой - о только что умершей матери, о том страшном сквозняке, на котором они оказались. И только воспоминания, только совместное прикосновение к прошлым счастливым дням могли вернуть им, как заблудившимся в истории детям, чувство устойчивости и порядка. Услышала бы их сейчас его мама, Марина Цветаева, наверняка поняла, почувствовала, что стоит за этими легковесными разговорами.

Антокольский вернется из Ташкента домой, в свой дом в арбатском переулке и напишет поэму "Сын", в которой выплечет горе миллионов отцов и матерей, потерявших во время войны своих детей.

Я не знаю, будут ли свиданья,  
Знаю только, что не кончен бой.  
Оба мы - песчинки мирозданья.  
Больше мы не встретимся с тобой.



И боль за потерянного в этой страшной кровавой воронке Мура тоже будет звучать в этой поэме.

Анна Ахматова

Ахматова страдала и боялась в те месяцы не только за сына, но и за Владимира Георгиевича Гаршина, которого с конца 1942 года стала называть своим мужем. Они были связаны дружбой и нежной привязанностью ещё накануне войны. Он был врач, профессор-патологоанатом, на тот момент главный прозектор в блокадном Ленинграде. В умирающем городе для него было очень много работы. В одном из писем, отправленных Ахматовой в Ташкент, он сделал ей официальное предложение, поставив условием, что она должна взять его фамилию. Ахматова после некоторого колебания согласилась. Она с нетерпением ждала от него писем, но они приходили крайне редко.

24 мая 1942 года она получила от Гаршина открытку, а через некоторое время сказала Чуковской, что хочет ехать в Ленинград с подарками для ленинградских детей, чтобы увидеть Гаршина. Но поездка не состоялась. Через всех ленинградцев она пыталась узнать о нем. В ноябре жена Гаршина упала и умерла на улице. Он написал Ахматовой письмо, где объяснял, что покойная была самым значительным человеком в его жизни. Ахматова негодовала: "А если бы я написала ему, что самым значительным человеком в моей жизни был Лурье?" Но потом они стали с нетерпением ждать встречи. Ему была посвящена вторая часть "Поэмы без героя" и Эпилог.

В середине 1942 года из блокадного Ленинграда в состоянии тяжелой дистрофии выехал Николай Пунин, бывший муж Ахматовой, со своей семьей. Она писала близкому другу, Н. Харджиеву, критику, живущему в Алма-Ате: "21 марта через Ташкент в Самарканд проехал с семьей Н.Н. Пунин. Он был в тяжелом состоянии, его нельзя было узнать. Недавно я получила от него письмо. Милый друг, мне очень трудно - от Владимира Георгиевича вестей нет ...".

Ахматова встретила Пунина на вокзале в Ташкенте, помогла деньгами и продуктами, он был глубоко тронут. Из Самарканда, где был конечный пункт их следования, из больницы, куда его сразу же положили с истощением, он отправил ей прекрасное письмо, которое Ахматова всю жизнь носила с собой.

"... Мне кажется, я в первый раз так широко и всеобъемлюще понял Вас - именно потому, что это было совершенно бескорыстно,

так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было предсмертное с вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. ...

Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас увидеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и ещё больше, когда узнал, что Вы снова были на вокзале. Ваше внимание ко мне бесконечно ...".

Ленинград был родным городом многих ташкентцев, а за время войны к нему возникло отношение как к живому человеку. Ленинградцы несли в себе трагедию города, независимо от того, где они находились. Связь с любым человеком оттуда была предельно драматична, все сведения о Ленинграде отзывались горем и потерями. И если на фронте могли воевать, сопротивляться врагу, то в Ленинграде - терпеть, погибать или чудом спастись.

Боль за блокадный Ленинград была такой сильной, что удалось организовать и отправить целый состав с продуктами от писателей Узбекистана для блокадного Ленинграда. Началось все с горячего желания одного человека. "Я предложила писателям Узбекистана посылать посылки писателям Ленинграда, 19-го Лавренев будет об этом говорить в Совнаркомме ...", - писала Мария Белкина ещё в начале 1942 года.

#### Чуковские

Самая прочная связь с блокадным Ленинградом была у Марии Белкиной. Корреспонденция приходила нерегулярно, и получалось, что когда она являлась на почту, девушки совали ей огромную пачку писем украдкой, так как многие люди из очереди редко могли дожидаться единственного письма. А она стала некоторым связующим звеном между ташкентцами и ленинградцами.

Еще в феврале 1942 года Ахматова, как писала в своих дневниках Лидия Чуковская, говорила: "Я теперь уверена, что Владимир Гаршин погиб. Убит или от голода умер... Не уговаривайте меня: ведь Тарасенкова (Белкина) получает от мужа регулярно письма..."

Мария Белкина бегала к Чуковским, чтобы рассказать о Николае Чуковском, который работал в газете вместе с Тарасенковым на Ладого. Николай писал мало. Связь часто осуществлялась через Тарасенкова.

"Позвонила мне сегодня М.Б. Чуковская - была у нее, говорила весь вечер. Корней Иванович очень нездоров... и дочь их больна брюшным тифом, из-за этого поездка в Москву откладывается, хотя мать сходит с ума и мечтает узнать что-либо там о погибшем сыне и узнать про Николая Корнеевича и его семью. Всю зиму Мария Борисовна стремилась для этой цели в Москву, но целый ряд причин сбивал их. Это все передай Н.К."

Вот те отрывки из писем Тарасенкова, которые Мария Белкина ходила читать родителям Чуковского.

Тарасенков - Белкиной

"24 мая, 1942

... Передай Чуковскому, что я видел сегодня его сына. Будем с ним встречаться частенько. Сегодня были с ним вместе у наших друзей-летчиков в гостях... Сосны. Обрыв. Чудесное место - курорт... .."

"27 мая, 1942

... Эти несколько раз встретился с Николаем Чуковским. (Это теперь единственное литературное "общество"). Он бодр, здоров. Передай это его отцу. Николай жалуется - отец его пишет ходатайства в разные учреждения, чтобы сына отправили к нему в Ташкент, и делает страшно неудобно сыну, ибо ведь все равно все бумаги приходят к непосредственному начальству. Этого старому Корнею, конечно, не передавай....."

"3 августа, 1942

Здравствуй, родная моя чудесная Машка... Как мне мечтается о тебе... Вчера вечером встретились с Чуковским. Пошли на берег, выкупались, а потом сидели на плотках у берега и несколько часов подряд читали друг другу стихи Ходасевича, Мандельштама, Блока, Ахматовой... Прямо как будто нет войны. Так хорошо было в сотый раз припоминать милые знакомые строчки и образы, чудесные создания человека... Чуковский ждет жену - со дня на день она должна к нему приехать сюда на трехдневное свидание... Правда, ей не так далеко, она в Молотове. А мой Ташкент так далеко, где-то на краю света... А в Ташкенте мой беспокойный Махаон, который собирается бросить меня... А в Ташкенте мой Митька, которого я никогда не видел... и жара, и странный азиатский быт...

Фантастика все это какая-то. Ни писем, ни открыток сегодня от тебя нет... И новостей у меня никаких нет. Писать что-то не могу - пустота в душе. В редакции на меня за это злятся, а я ничего не

могу поделаться с собой - так раздергали меня твои последние письма...

Очень трудно без твоей ласки, внимания, настоящих душевных писем.

Целую, родная. Твой пес Толька".

"15 августа, 1942

... Вожусь с Чуковским... Бродим с ним, читаем стихи и прозу (Достоевского), купаемся, критикуем несовершенство мироздания и грустим вместе по нашим женам... Сейчас я сижу у себя дома под развесистым фикусом, а он валяется на койке и упивается "Неточкой Незвановой". ..."

"16 августа, 1942

Милый Махаон!

Мне грустно без твоих писем, - а их опять нет уже несколько дней... Сегодня мы с Колей Чуковским устраиваем от нечего делать вечер Маяковского в клубе. Я сделаю свой старый доклад, он поделится воспоминаниями, а потом будем читать стихи Владим Владимировича. Пишется мне плохо. Хочу снова уйти в море... Начались у нас туманы и летает свирепое миллионное количество каких-то белых бабочек... Получается таинственно. ... Пиши родная...

Твой старый пес Толька"

"25 августа, 1942

... О Чуковском. Все, что просят родные, завтра же ему передам. Мы очень сдружились за последние две-три недели и буквально не можем существовать друг без друга. То я еду к нему на аэродром и ночую у него, то он приезжает ко мне... Сегодня позвонил ему по телефону и передал о письме, - завтра он будет у меня и я все ему расскажу. Чуковский очень славный, по-настоящему тонкий культурный человек, бесконечно любящий и понимающий поэзию. Бесконечны наши с ним литературные разговоры, задушевная лирика о семье, которой мы делимся друг с другом... Психика его абсолютно здорова, - это все заботливые родственники мудрят. Он спокойный, храбрый и умный человек. Работает он сосредоточенно, написал большую книгу о летчиках. Прочел я здесь его довоенные романы, довольно приличные, особенно "Юность"... Весь он горит мыслью о свидании с женой. Сейчас ему разрешили дня на 3 слетать в Молотов к жене... Если бы ты была в Молотове, я бы, конечно, тоже слетал....."

А 10 сентября 1942 года Белкина писала ему: "Милый пес! Вчера была мать Чуковского - прочла ей твое письмо, она была страшно растрогана. Чуковский в Москве. Не видался ли Николай Корнеевич с женой?"

"12 сентября, 1942

Масса новостей, Махаон, в моем скромном провинциальном быте. Вчера приехал из Молотова Чуковский. Три дня он пробыл у жены, у семьи. Очень счастлив... Бездна рассказов о тыловой России, о быте писателей... Все это воспринимается непривычно остро... ...."

"24 сентября, 1942

... Сегодня Чуковский уезжает на 6 дней в Москву - отец (влияние!..) устроил ему вызов-свидание. Но я надеюсь, что мне без помощи знатных родственников удастся побыть там подольше. ..."

Татьяна Луговская

Всю войну она звала Малюгина в Ташкент, а он был то в Кирове, то в Ленинграде, то на фронте; звала не потому что любила его, а просто нуждалась, хотя бы ненадолго, в его надежности, влюбленности, в восхищении. Один раз он попал в Алма-Ату, но до Ташкента так и не доехал. Может быть, благодаря этому, Татьяна Луговская так красочно писала ташкентскую жизнь, чтобы он мог посмотреть на все её глазами.

Татьяне Александровне удалось увидеть Малюгина в кинохронике, посвященной Ленинградскому Большому драматическому театру. Театр со спектаклями приехал в блокадный город. Это запечатали, и многие ташкентцы получили возможность увидеть родной город. Татьяна Александровна смешно рассказывает, как один за другим выплывали в хронике лица известных всем режиссеров и актеров.

"Тут как-то пришел к Ахматовой какой-то человек, - писала Луговская Малюгину, - кажется Янковский, и сказал, что видел в кино ленинградскую хронику.

Подождали сеанса и уселись. Потух свет, и сердце сразу переместилось в горло. Показали несколько открыточных ленинградских видов, потом кусок крыши вашего театра. Потом вокзал и кучу людей, мимо которых проплыл аппарат, потому что он понимал, что эти люди мне не нужны. Запомнился какой-то верзила, занявший удачную позицию вполоборота - почти красавец, но уж очень длинный нос (Лида всплеснула руками и сказала: Рудник!). Не успела я его обругать - зачем он вас обижал, как произошла

небольшая давка из-за первого места перед аппаратом и вынырнула ваша подруга Казико с какой-то мочалкой на голове вместо волос. Она быстро-быстро затрясла мочалкой, давая этим понять, что она кокетничает. (Старушке уже пора ложиться в гроб, а она все упорно настаивает на том, что в молодости была травести и носила мальчишеские штанишки.) Потом выплыл какой-то огромный блин, одетый в капор с оборочкой. Блин этот зашевелился, переместился, и мне удалось догадаться, что это Никритина. Потом поплыли ещё какие-то незнакомые люди, все без исключения, как и предыдущие, делавшие вид, что они самые главные и что, если бы они не приехали в Ленинград, - город бы погиб. (Все чувствовали себя героями.) И тут я поняла, что вас я проглядела...

Но судьба изменчива, и уставший от актерских рож аппарат решил отдохнуть и задержался на одном лице, явно не актерского вида... Помните детскую книжку "Макс и Мориц"? Это были очень озорные мальчишки, и автор рассказал детям про все их шалости. И нарисовал их. Вот однажды они попали в чан с тестом и, когда выскочили, оказались похожими на какие-то гигантские плюшки своей собственной формы. И нос их, и хохолок на голове, и руки, и ноги, и штанишки - все их, но все стало какое-то большое (круглое, без морщин и сделанное из теста)... Вот таким, покрытым тестом, предстало перед нами ваше лицо.

Все-таки было очень приятно встретиться хотя бы с вашей меховой шапкой, которая сохранила свою фактуру. Потом был красивый, но неправдоподобный кадр, как снимали чехлы в партере. Затем дядя в темном костюме осматривал сцену. Опять трясла мочалкой Казико, но уже перед зеркалом, и ещё кто-то сидел перед зеркалом. Потом мы ушли домой.

Я рада за вас, что у Акимова идет ваша пьеса. Раневская видела спектакль и очень хвалила. Говорила, что зрелище очень приятное, хвалила она и оформление".

И тогда же Татьяна Луговская написала ему пронзительные строки о покойной матери, которая пришла к ней во сне.

"Сейчас утро. Мне ещё рано идти трудиться. Поля спит. Солнце жарит вовсю. Я с 7 часов уже встала. Мне ужасно милый, но грустный и безнадежный сон приснился. Приснилась мне мать - такая ласковая, заботливая (готовая пожертвовать всем, чем угодно, - лишь бы мне было лучше) и всепрощающая какой только она одна умела и могла быть. И руки, и голос её - такие милые и знакомые. Вот такая она, какой была до этой страшной болезни. И очень

ласково и жадно она смотрит на меня и ничего не говорит, но все понимает. А мне так ужасно нужно ей что-то объяснить, и рассказать, и пожаловаться (как в детстве), но я только могу сказать: мама, голубушка, и реву - очень отчаянно и с наслаждением. И такое забытое чувство горячей волной нахлынуло на меня: что есть опять человек, которому все важно во мне, который все простит, будет любить бескорыстно, и позаботится, и заступится, и пожалеет. Ну а потом, как это всегда бывает во сне, я ничего не сумела расспросить, ни сказать и проснулась. Было уже утро, горели мангалы и со звоном наливались ведра под краном. И жарило солнце. И я вскочила со своей зареванной подушки и подумала - откуда я черпала этот источник ласковости, и тепла, и нежности в жизни? Все-таки от матери. ..."

Отступление из сегодняшнего дня

Татьяну Александровну Луговскую я узнала давно, в моей юности. Будучи уже немолодой дамой, она поразила меня своими язвительными суждениями, ироничностью и в то же время глубочайшим интересом к людям. Ее низкий, хриплый голос невозможно забыть, он сразу же выплывает из памяти, достаточно только щелкнуть невидимым переключателем. "Почему вы носите длинные волосы, вы считаете это красивым?" Я нервничала, меня удивлял допрос этой необычной дамы, похожей на постаревшую Мэри Поппинс, и отвечала, что не думаю об этом, ношу и все. Она забрасывала меня вопросами, пристально следя за моей реакцией, и вела нить разговора в ту сторону, которая была мне интересна. Она была обаятельна и умела захватить собеседника буквально сразу, с первых минут. Ей было абсолютно все равно, кто перед ней находится - женщина, старик, ребенок, молодой мужчина, ей было важно, чтобы все уходило от неё влюбленными.

История с письмами Малюгину, которые её племянница Л.В. Голубкина нашла и расшифровала после её смерти, очень характерна для Татьяны Александровны, её эксцентрического характера. Как все это было, рассказала Людмила Голубкина в предисловии к публикации писем в книге Т. Луговской.

"Однажды, уже в последние годы жизни Татьяны Александровны, я пришла к ней и застала её сидящей на постели, а вокруг неё весь пол был засыпан изрезанной бумагой.

- Что это? - потрясенно спросила я. - Что вы делаете?

- Уничтожаю свои письма к Лёне, - спокойно ответила она.

- Зачем?

- Это мое дело, - сказала она надменно.

Потом рассказала, что они переписывались в течение многих лет, но в 1946 или 47-м году произошла ссора, как тогда казалось, навсегда. И Татьяна Александровна потребовала, чтобы он вернул ей её письма. Он долго медлил, наконец, после неоднократных напоминаний, вернул. И она их уничтожила. А после его смерти ей позвонила сестра Леонида Антоновича и сказала, что они обнаружили в его бумагах перепечатанные копии. Вот эти копии она и кромсала у меня на глазах.

По её просьбе я подобрала бумаги, сложила их в полиэтиленовый мешок.

- До другого раза, - сказала она.

Но когда после её смерти я стала разбирать бумаги, то нашла аккуратно свернутые, перевязанные ленточкой листы. Это и были те самые письма. Она их не уничтожила, а "отредактировала" - вырезала какие-то места, которые её не устраивали".

У неё был трудный характер, она одновременно и понимала, и не понимала этого. Но что-то мучило её. Незадолго до смерти вдруг сказала:

- Боюсь, что не встречу там с Сережей (ее покойный муж Ермолинский), не заслужила.

Разговоры. Настроения. Слухи

25 сентября 1942 года Вс. Иванов написал в своем дневнике: "Все говорят о возможности налетов на Ташкент. Агитаторша сказала, что "Ташкент - прифронтовой город". В домах чувствуется, что привыкшие к эвакуации уже собирают чемоданы".

В то время, когда наши войска все более сдавали позиции, а эвакуированные только начинали заселять клетушки комнат, по Ташкенту ползли разговоры о том, что необходимо учить английский язык. Что Узбекистан, скорее всего, отделится от России и станет англо-американской колонией.

Те, кто знал по рассказам или сам прошел через эмиграцию, говорили об ощущении от Ташкента, "как последнего корабля на Константинополь", на котором ещё недавно оказались тысячи бегущих от советской власти людей.

Возможно, это были всего-навсего панические слухи, но они с неизбежностью появлялись в том вакууме, в котором находились миллионы людей, не знающих, что происходит на самом деле. Вс. Иванов, напряженно пытающийся разобраться в происходящем, с



тоской отметил в дневнике, что все ждут какого-то чуда, надеются на сверхъестественные обстоятельства.

Неудивительно, что писателей в самые напряженные дни немецкого наступления охватывало раскаяние за прежнюю фальшь, за приукрашивание действительности, за чудовищные 30-е годы. Они уже откровенно говорят друг другу, что неудачи на фронтах происходят из-за потоков лжи, в которых утонула страна. Никто не знает, что происходит в городах, где остались их друзья и близкие, что со страной, что с властью, как она функционирует.

Вс. Иванов горько признавался себе в дневнике от 22 июня 1942 года: "Много лет уже мы только хлопали в ладоши, когда нам какой-нибудь Фадеев устно преподносил передовую "Правды". Это было все знание мира, причем если мы пытались высказать это в литературе, то нам говорили, что мы плохо знаем жизнь. К сожалению, мы слишком хорошо знаем её - и поэтому не в состоянии были ни мыслить, ни говорить. Сейчас, оглушенные резким ударом молота войны по голове, мы пытаемся мыслить, - и едва мы хотим высказать эти мысли, нас называют "пессимистами", подразумевая под этим контрреволюционеров и паникеров. Мы отучились спорить, убеждать. Мы или молчим, или рычим друг на друга, или сажаем друг друга в тюрьму, одно пребывание в которой уже является правом".

Начинается время больших разговоров; только общаясь друг с другом, можно было почувствовать, понять, кто думает так же, а кто по-другому, а кому вообще все безразлично. Разговоры, как и прежде, в России, были основным способом для интеллигенции понимания самой себя. Мура, внимательно наблюдавшего за писателями, их суждения смешили и раздражали.

"Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, замечает Мур в своем дневнике, - способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены советской властью, все они получают от неё деньги - без неё они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения ей нанесенные, не коснулись бы их. Все боятся за себя. В случае поражения, что будет в Узбекистане? Все говорят, что "начнется резня". Резать будут узбеки, резать будут русских и евреев ...".

К сожалению, разговоры о еврейских погромах звучали постоянно. Обыватели упорно обвиняли евреев в том, что война

произошла из-за них. Вс. Иванов в своих дневниках приводит такой разговор:

"Маникюрша, еврейка, у которой двое детей, сказала в воскресенье Тамаре:

- Евреев всех надо перерезать. И меня. И моих детей. Если бы не евреи, войны бы не было.

Чисто еврейское самопожертвование. Бедная. Она уже поверила, что война из-за евреев!"

"Любопытно отношение интеллигенции к англо-саксонским союзникам, продолжал свои рассуждения Мур. - С одной стороны, все говорят о предательстве Англии, наживе Америки, "исконной вражде" этих стран по отношению к СССР. Говорят о "загребании жара" ... С другой стороны, наличествует симпатия к этим странам, ибо кто после войны будет "нас" снабжать продовольствием, восстанавливать промышленность? Никому из них не хочется новых пятилеток".

Семнадцатилетний мальчик видел трагическую сущность советской интеллигенции, привыкшей питаться из рук власти и мучительно ищущей этой руки. Но в то же время он так и не понял драму людей, с которыми ему было суждено прожить полтора года. Да, они были уязвимы в своих страхах и словоговорении, но у них, как и у всей советской интеллигенции, не было никакого другого выхода, не было никакого другого способа осмыслить положение вещей: ни в газетах, ни на радио, ни в книгах, - и это делало их абсолютно непохожими на прагматичных западных интеллектуалов.

Теперь напечатаны материалы так называемых спецсообщений НКВД, по которым видно, насколько широко прямые разговоры о судьбе страны захватили советскую интеллектуальную элиту. Материалы подслушанных разговоров показывают, что по-настоящему "советских" людей в писательских слоях уже нельзя было сыскать. Поэтому удар по интеллигенции после войны был закономерен. Сталин жестоко мстил им всем за разговоры, размышления, надежды, за то, что вообразили себя свободными.

Вот только некоторые из оперативных данных (прослушанных разговоров, доносов и прочего) на писателей, бывших и не бывших в Ташкенте. Специально не приводятся разговоры Пастернака, Пришвина, Сергеева-Ценского и других писателей, с очевидностью недовольных происходящим в стране. Отобраны те, кто привык всегда поддерживать все идущее сверху.

"И. Уткин - поэт, бывший троцкист: "Будь это в 1927 году, я был бы очень рад такому положению, какое создалось на фронте сейчас (Уткин имеет в виду невозможность достижения победы силами одной Красной армии)....

Нашему государству я предпочитаю Швейцарию. Там хотя бы нет смертной казни, там людям не отрубают голову. Там не вывозят арестантов по сорок эшелонов в отдаленные места, на верную гибель...

У нас такой же страшный режим, как и в Германии... Все и вся задавлено... Мы должны победить немецкий фашизм, а потом победить самих себя..."

А. Новиков-Прибой - писатель, бывший эсер: "Крестьянину нужно дать послабление в экономике, в развороте его инициативы по части личного хозяйства. Все равно это произойдет в результате войны... Не может одна Россия бесконечно долго стоять в стороне от капиталистических стран, и она придет рано или поздно на этот путь..."

К. Чуковский - писатель: "Скоро нужно ждать ещё каких-нибудь решений в угоду нашим хозяевам (союзникам), наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая, разумная эпоха. Она нас научит культуре..."

С. Бонди - профессор-пушкиновед: "Жалею вновь и вновь о происходящих у нас антидемократических сдвигах, наблюдающихся день от дня. Возьмите растущий национальный шовинизм. Чем он вызывается? Прежде всего настроениями в армии - антисемитскими, антинемецкими, анти по отношению ко всем нацменьшинствам, о которых сочиняются легенды, что они недостаточно доблестны, и правительство наше всецело идет навстречу ...".

В. Шкловский - писатель, бывший эсер: "Мне бы хотелось сейчас собрать яркое, твердое писательское ядро, как в свое время было вокруг Маяковского, и действительно, по-настоящему осветить и показать войну..."

В конце концов мне все надоело, я чувствую, что мне лично никто не верит, у меня нет охоты работать, я устал, и пусть себе все идет так, как идет. Все равно, у нас никто не в силах ничего изменить, если нет указки свыше ...".

К. Федин - писатель: "... Все русское для меня давно погибло с приходом большевиков; теперь должна наступить новая эпоха, когда народ больше не будет голодать, не будет все с себя снимать, чтобы

благоденствовала какая-то кучка людей (большевиков)... Я очень боюсь, что после войны все наша литература, которая была до сих пор, будет просто зачеркнута. Нас отучили мыслить. Если посмотреть, что написано за эти два года, то это сплошные восклицательные знаки".

Н. Погодин - драматург: "...Страшные жизненные уроки, полученные страной и чуть не завершившиеся буквально случайной сдачей Москвы, которую немцы не взяли 15-16 октября 1941 года, просто не поверив в полное отсутствие у нас какой-либо организованности, должны говорить прежде всего об одном: так дальше не может быть, так больше нельзя жить, так мы не выживем ...".

Ф. Гладков - писатель: "Подумайте, 25 лет советская власть, а даже до войны люди ходили в лохмотьях, голодали... В таких городах, как Пенза, Ярославль, в 1940 году люди пухли от голода, нельзя было пообедать и достать себе хоть хлеба. Это наводит на очень серьезные мысли: для чего было делать революцию, если через 25 лет люди голодали до войны так же, как голодают теперь..."

По разработкам выходило, что сажать надо было всех. Любой человек мог оказаться по другую сторону от власти.

Большие надежды

До желанного водораздела,

До вершины великой весны,

До неистового цветенья Оставалось лишь раз вдохнуть...

А. Ахматова. 23марта 1944 года

И все-таки именно во время войны возникла надежда на изменение мира, страны. Слишком высокой ценой оплачивался каждый взятый рубеж.

В. Луговской с уверенностью писал: "Именно сейчас жду огромного расцвета искусств, ибо все отношения изменились, открылась новая протяженность мира, сорвались с петель старые замки, страшнее стало. Несет... Все перепуталось. К началу 20-го века все так определилось, что начали уже обозначаться немые правила мира. Очевидно, это было очень вредно и неправильно. Не выявились ещё все страшные свойства человека. Уют мира 19-го века их анестезировал. Все занимались боковыми проблемами. Всю меру, неисчерпаемость человеческой подлости и самоотверженности никто не знал. Рождественские мальчики. Елки. Взыскующие интеллигенты. Новое столетие принесло мощь худших веков истории и, следовательно, наиболее плодоносных веков.

Обозначилась чушь человеческого существования. Обозначились новые, совсем новые требования уюта. Человек попал во власть новых стихий машины и её производных, но эта стихия более победна - вызвана им, а не силами природы. Регресс был настолько величественен, что его трагедия стала обыденной... мысль о жизни в другом измерении, о катарсисе. Случайность стала законом, а закон случайностью. Смерть стала тривиальной и в искусстве потеряла свое острие. Жизнь стала пышна и однообразна, как жизнь растений. К счастью, осталось основное свойство, основной интерес человека - кто прошел через двор, кто с кем живет, кто подлец. Это спасительное для людей свойство, это благодетельная, трогательная и величественная сила должна послужить содержанием отдельной главы. Меню жалкого обеда, новый карандаш, новые подметки, новый распределитель у соседа спасают людей и сохраняют потенциальные силы человечества. Все возвращается, но в другом завитке. Счастлив, благословен тот, в ком сохранилась традиция. Несчастливы те, кто вверяется самозабвенно стихии этого страшного века, его проявлений. Чем проще формулирован закон, тем он сложнее. ... Но, надеюсь, человечество все-таки будет существовать, хотя это базируется только на многочисленности людского населения земного шара, и больше ни на чем".

Луговской считал, что укорененность человека в простых вещах, в вещах "низменных", делающая его нормальным обывателем, спасет человечество от новых и старых "трихин", или от идей, про которые в свое время написал Достоевский в знаменитом последнем сне Раскольникова. Но в то же время необходима традиция, в том числе и религиозная, те ценности, которые дошли от родителей. Это та ось, на которой возможно удержаться человеку и обществу, чтобы не соскользнуть вниз.

А Пастернак в июне 1944 года пишет близкие по смыслу слова о расцвете искусства: "Если Богу будет угодно и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век, и ещё раньше, до наступления этого благополучия в частной жизни и обиходе - поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет мне все остальное; неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности, домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати и политики и пр. и пр. ...

Война имела безмерно освобождающее действие на мое самочувствие, здоровье, работоспособность, чувство судьбы. Разумеется, все ещё при дикостях цензуры и общего возобновившегося политического тона, ничего большого, сюжетного, вроде пьесы или романа или рассуждений на большие темы, писать нельзя, но и пускай. Это все промысел Божий, который в моем случае уберег меня от орденов и премий ...".

И даже обласканный властью Алексей Толстой надеялся на изменения в стране: "Что будет с Россией. Десять лет мы будем восстанавливать города и хозяйство. После мира будет нэп, ничем не похожий на прежний нэп. Сущность этого нэпа будет в сохранении основы колхозного строя, в сохранении за государством всех средств производства и крупной торговли. Но будет открыта возможность личной инициативы, которая не станет в противоречие с основами нашего законодательства и строя, но будет дополнять и обогащать их. ... Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться. ..."

Удивительно, что осторожный А.Н. Толстой формулирует за пятьдесят лет горбачевскую программу "социализма с человеческим лицом". Правда, время показало её нежизнеспособность. Однако главная мысль, которая приходила в голову большинству писателей, - мысль о том, что "народ ничего не будет бояться". Это понимала и власть, оттого так страшно снова раскрутился в послевоенные годы маховик репрессий.

"Анна Андреевна, - писалось в воспоминаниях о ней, - была переполнена оптимизмом.

- Нас ждут необыкновенные дни, - повторяла она. - Вот увидите, будем писать то, что считаем необходимым. Возможно, через пару лет меня назначат редактором ленинградской "Звезды". Я не откажусь".

Эти слова, если действительно были произнесены, продолжали роковую игру её судьбы. Жизнь Ахматовой навсегда соединилась с докладом Жданова и постановлением о журналах "Звезда" и "Ленинград".

В магической драме Ахматовой "Сон во сне" или "Энума элиш" все это было предсказано.

Можно ли сказать, что надежды стольких умных и даже прозорливых людей были наивными? Ведь странно, когда столько человек говорят в один голос одно и то же: "Как жили раньше - больше невозможно!"

Но эти голоса хорошо расслышали наверху и сделали все, чтобы не дать осуществиться надеждам.

Борис Пастернак в письме в Ташкент разочарованно заключал: "Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого сделали. Все осталось по-прежнему .... И я одинок в той степени, когда это уже смешно".

Алма-Ата.

"Голливуд на границе Китая"

И на этом сквозняке Исчезают, мысли, чувства...

Даже вечное искусство Нынче как-то налегке!

А. Ахматова.

Конец 1942 - начало 1943 года

"Моя алма-атинская жизнь несколько тяготит меня, - писала Т. Луговская Малюгину. - Во-первых, я отвыкла от Григория за этот год разлуки, во-вторых, я не работаю, так как договоров нет, а на штатную работу я боюсь поступать, потому что не потеряла надежды получить вызов в Москву. В-третьих, мне сейчас, видимо, везде будет беспокойно по причинам, от меня не зависящим.

Алма-Ата, хотя и причудливо раскинулась у подножия снежных гор, все же довольно милый город. Прямой, чистый и озелененный до противности. На одной из магистралей города находится трехэтажное здание урбанистического вида (здесь в Средней Азии обожают этот тип архитектуры) - это гостиница "Дом Советов", набитая до отказа ленинградскими и московскими кинематографистами. Дамы всех мастей и оттенков, но, в общем, до такой степени все на одно лицо, что иногда начинает казаться, что ты галлюцинируешь. И мужчины - готовые растерзать на части всякое новое лицо женского пола. Если случайно природа не наделила вас двойным горбом или оторванной ногой - любой лауреат к вашим услугам на любое амплуа - мужа, любовника, поклонника, друга и т.д.

У меня и Широкова есть комната с большим окном на уровне земли, куда заглядывает солнце от 3 до 7 часов, с рабочим столом, кроватью, шкафом и ещё разными бебихами, которые я уже изобрела на месте и которые принято называть уютом. ....

Тут люди живут какой-то странной жизнью - словно им осталось жить ещё несколько дней и они стремятся за этот кусочек времени выполнить все свои желания (и возвышенного, и низменного порядка).

Потом сюда приезжал мой брат и очень огорчился от моего вида, говорит, что я стала совсем тощая, и требовал моего возвращения в Ташкент".

В этом военном городе кинематографистов, нашем "Голливуде", "городе снов", оказались и писатели - К. Паустовский, М. Зощенко и В. Шкловский, тоже работавший с Эйзенштейном над "Иваном Грозным". Здесь снимались все знаменитые ленты военных лет, но что касается быта, то он был в каком-то смысле ещё труднее ташкентского. В небольшом двухэтажном здании, Доме искусств или, как его называли, "лауреатнике", жили лауреаты Сталинской премии. Они получали пайки высшего сорта и имели столовую с особыми продуктами.

В первом варианте поэмы "Город снов", посвященной Алма-Ате, Луговской писал об их житье в "лауреатнике":

Мое жильё, о Боже! "Дом искусства".

Без электричества, без лампочек, без печек,

Набитый небогатыми людьми,

Как мертвая собака червяками.

Войдешь - ударит духом общежитья.

Эвакуация на свете возродила Все, что бывало в каменных пещерах.

И вот он вьется в темном вестибюле

Дух человечества. В своей клетушке Лежит опухший пьяница-актер С костлявой девочкой. Потом семейство Благожелательное, неживое.

Потом удачник - неприкрытый вор Случайных тем. Прости его, Создатель!

Весь Дом искусства, словно падаль, воеет.

От бешеной нужды и подхалимства.

Как страшно, как печально в этом доме,

Где света нет, и печек нет, и сумрак От горестной луны, глядящей в окна.

Актеры спят, прикрывшись чем попало,

Мигают одноглазые коптилки.

А все-таки, как прежде, жив курилка,

Жив человек, его не одолеешь Ни холодом, ни голодом, ни смертью ...

Электричество на студии давали только ночью, так как днем обслуживались другие эвакуированные предприятия.



"Ты пришел к нам в отдел вместе с драматургом Берестинским, тоже приехавшим из Ташкента", - писала в своих воспоминаниях-исповеди Ольга Грудцова, тогда она работала в сценарном отделе. Ольга выросла в окружении знаменитостей: хорошо знала Н. Гумилева - у него в кружке была её сестра, Ида Наппельбаум, - Ахматову, К. Вагинова и многих, многих других.

"Он начал с жалоб на жесткие матрацы, - продолжала она свой рассказ, - на негодное помещение для жилья и т.п. Ты стоял в отдалении молча. Высокий, с барственной осанкой, в мягкой шляпе с полями, с трубкой во рту и палкой в руке. Но пронзил ты меня не своим артистизмом, а достойным поведением. Вайсфельд спросил, есть ли у тебя претензии, ты ответил, что решительно никаких. С тобой подписывают договор, начинаются деловые отношения, ты обращаешься только ко мне. Мы начинаем дружить, гуляем по городу".

Луговской жил и спал в комнате сестры на полу. А утром шел работать к Эйзенштейну.

Художница в сиреновом халате При свете светлячка читает книгу.

Довольно строг её курносый нос.

В камерке даже двинуться не стоит.

Одна звезда печатает окно.

И муж заснул. Снует по коридорам Тоскливый запах мелких папирос.

Виктор Шкловский, около года проживший в Алма-Ате, вспоминал: "Фанеры, из которой строят декорации, конечно здесь не было. Декорации строили из казахских матов, сплетенных из степной травы - кажется, её называют чили, - на ней хорошо держится штукатурка. ... Текст для ленты Сергея Михайловича писал Владимир Луговской".

Впечатление от работы с Эйзенштейном не оставляло поэта и в Ташкенте.

Из письма Луговского Эйзенштейну после приезда из Ама-Аты в Ташкент: "Все время нахожусь под знаком и под обаянием нашей работы. Интерес к Ивану Грозному колоссальный и, прямо сказать, сенсационный. Ходят различные легенды и сказки. Я несколько раз в узком кругу читал песни и пересказывал наиболее громовые куски сценария. Каждый раз принимались на ура! Погодин, например, человек, как вам известно, прошедший все драматургические

медные трубы, говорил, на такой читке у меня, что развитие действия и трагическое напряжение - прямо как у Шекспира. ...

Как с режиссерским сценарием? Как с перепечаткой литературного текста, то есть, дорогой Сергей Михайлович, говоря прямо, принят ли литературный текст? Налетел ли Шкловский в облаках пыли и свистящих стрел?

Волнуюсь по каждому поводу, связанному с Иваном Грозным. Произведение это Ваше - поистине замечательно, а те дни, которые я провел в Вашей комнате, одни из самых лучших в моей жизни.

Когда я вам понадобится? Когда приезжает Прокофьев? ...

Еще раз благодарю Вас за все, дорогой мой шеф, жду от Вас - ну, хотя бы телеграммы, ибо знаю: до писем вы не охотник. Обнимаю вас крепко-накрепко. Ваш В. Луговской. Привет Эсфирь Ильиничне, Пудовкиным. 12 июня 1942".

В Ташкенте сценарий обсуждался в писательской колонии. Удивительно, но в это же время Алексей Толстой читал в Ташкенте свою пьесу "Иван Грозный", которую редактировал, давал советы по её доработке лично Сталин. Толстой получал затрещины от заведующего по культуре при ЦК М. Храпченко, тот писал, что пьеса не решает задачи реабилитации "Ивана Грозного". Бедный Алексей Николаевич никак не мог пройти между Сциллой и Харибдой, пьеса не нравилась никому.

В Алма-Ате жил старый друг юности Луговского - известный режиссер Всеволод Пудовкин. В 20-е годы его сестра Маруся (Буба) училась в колонии у Александра Федоровича Луговского. В повести "Я помню" Т. Луговская рассказывает, как вторая сестра Пудовкина - Юлия учила их с подругами в голодные 20-е годы танцам, а Всеволод Пудовкин (Людя), тогда ещё не кинорежиссер, а химик, играл им "на гребенке" покрытой папиросной бумагой. "Его длинная фигура, сидящая на одном из окон, закрывала свет, он тряс головой, и спутанные волосы падали ему на лоб. Играл он увлеченно, с чувством и очень радовался, что все так хорошо у него получается". Потом они стали близкими друзьями с Володей Луговским, и Пудовкин появится в стихотворении о юности "Рассвет". Встреча в Алма-Ате вряд ли была очень радостной для Луговского, режиссер изменился, его роль юродивого в "Иване Грозном" была не просто ролью, а, видимо, его жизненным кредо. В первоначальном варианте поэмы об Алма-Ате есть жесткий портрет старого друга, потом Луговской его убрал.

Спит человек другой, осатанелый,

Истерикой закрывшийся, солгавший,

Раз навсегда перед самим собой.

Друг юности моей, мы вечно лжем.

Мы, говоря по правде, только тени Людской обычной горестной судьбы.

Мы сказки сочиняем, но не стоит Переводить бессмысленную сказку На службу легкую, тогда она Поступит в пользу времени И можно сочинять Очередные бредни, но не сказки.

Ты девушек смущаешь, ты заводишь Беседы о четвертом измерении,

Изыскан, энергичен, мертв душой И недоделан ...

Ты канючишь,

Юродствуешь и поднимаешь руки Большие, умные. И вновь ложатся На пленку недовернутые кадры ...

В довоенные и военные годы Пудовкин неудачно снимал заказные картины из жизни замечательных людей. Его странные эксцентрические выходки многим казались маской, за которой большой режиссер прятал страх и неуверенность. Скорее всего, Луговской, встретив в Алма-Ате близкого друга юности, увидел в нем, как в отражении, - самого себя и не мог не ужаснуться каким-то только ему понятным изменениям. Но диагноз поставлен - "изыскан, энергичен, мертв душой".

13 июля Луговской снова пишет письмо Эйзенштейну из Ташкента: "Посылаю Вам копию моего письма, ибо я передал подлинник в совершенной суматохе и он переходил из рук, и я не уверен, дошел ли он до Вас. За это время я встретился с С.С. Прокофьевым. Он ночевал у меня, и я имел возможность прочитать ему наутро большинство песен... Он отозвался о них весьма положительно ...

Остальное будем уже дорабатывать сообща.

Крепко жму руку. Желаю победы во всем.

Ваш всегда В. Луговской".

В архиве М. Белкиной сохранилось письмо её подруги Миры Мендельсон-Прокофьевой, второй жены композитора, бывшей автором большинства либретто его опер. В письме упоминается о той алма-атинской работе, хотя оно написано спустя год после письма Луговского, 4 июля 1943 года.

"Дорогая Машенька!

Пишу тебе из Молотова - области, куда мы приехали по вызову Ленинградского театра имени Кирова. В летние месяцы С.М.

Эйзенштейн будет за городом занят съемками для "Ивана Грозного" и присутствие Сережи не необходимо для фильма. Здесь Сережа будет работать над окончанием своего балета "Золушка", два акта которого уже написаны. Театр собирается сразу по написании музыки приступить к разучиванию. Приехали мы из Алма-Аты недавно. Чувствуем себя здесь лучше, так как, несмотря на красоту природы, не могли привыкнуть к алма-атинскому климату, где у меня бывали резкие простуды, возились с желудком, у Сережи иногда понижалась работоспособность, и это его раздражало, так как работать он привык много и основательно. Во время пребывания в Москве комитет по делам искусств заказал Сереже и мне оперу на казахском музыкальном фольклоре, который привлекал Сережу уже давно свежестью и красотой. Я знакомлюсь с казахской литературой - сказками, легендами, эпосом; перед отъездом ходили в казахскую оперу и драму. Как жаль, что мы с тобой не повидались в Москве, милая Машенька. Между прочим, во время нашего пребывания там седьмая соната Сережи исполнялась в концерте филармонии, вот бы ты догадалась прийти. Когда ты приехала в Москву? Я все время думаю, что ты в Ташкенте, хотя меня удивляло и беспокоило отсутствие ответов на послание туда письма и телеграммы. Приехали ли твои из Ташкента? Как здоровье Толи? Как растет Митюша? Напиши о себе, дорогая. Кто, кроме тебя, живет в твоей квартире? Как ты устроена с питанием? Сережа шлет тебе сердечный привет. Целую тебя крепко, жду скорой весточки. Мира".

Город снов Сюжет и внутренний драматизм поэмы Луговского "Город снов", посвященной Алма-Ате, были напрямую связаны с тяжелым впечатлением от гибели молодого режиссера и художника Валентина Кадочникова.

"Перед твоим приездом (еще не наступила зима) на станции Чу скончался любимый ученик Эйзенштейна, художник и режиссер Валентин Кадочников", писала Ольга Грудцова в своих воспоминаниях о тех днях.

Драма была в том, что этот талантливый молодой человек был освобожден от службы в силу слабого здоровья, но по разнарядке попал на заготовки саксаула (жесткого кустарника, которым топились печи).

В письмах Луговскому из Алма-Аты О. Грудцова все время напоминала: "С первого октября я отправляюсь на лесозаготовки, но может случиться и с первого сентября. Тогда я вас не увижу.

Посылают почти всех по очереди, на месяц". И ещё через месяц она писала Луговскому в Ташкент: "Постарайтесь приехать поскорее, если желаете меня видеть, ибо я неизбежно поеду "на какие-то заготовки", и кто тогда будет защищать ваши интересы".

Но её все-таки выслал на "саксаул" директор студии Тихонов, где руководителем заготовок был назначен В. Кадочников.

"Жгучая пустыня, земля горит, - писала Грудцова, - воздух какого-то апельсинового цвета. Мне отводят палатку, дают талон в столовую. Я спрашиваю о Кадочникове, оказывается, у него тяжелое желудочное заболевание. Почему же он не едет в Алма-Ату, в больницу? Тихонов не разрешает. Наконец появляется Кадочников с измученным, бледно-желтым лицом.

- Он что, с ума сошел, что вас прислал! - говорит он, увидев меня. Идите к районному врачу и возьмите освобождение.

Мне объясняют, где поликлиника, врач дает справку, отправляет домой. Поезд уходит назавтра утром. Ночью нестерпимый холод. ... Распоряжается Кадочников. Я вижу, что ему плохо. "Уезжайте, - говорит он. - Уезжайте". ...

Вернувшись в Алма-Ату, сразу же направляюсь на студию к Тихонову, кладу ему справку на стол со словами:

- Меня-то освободили, а Кадочников там умрет!

- Умрет, похороним, - отвечает директор.

Аудиенция закончена; Валентин Кадочников вскоре умирает на станции Чу".

С. Эйзенштейн в местной газете потом прокричит, но уже, скорее, от отчаяния: "...смерть Кадочникова - тяжелые показатели того невнимания и безразличия друг к другу, которыми все больше и больше начинают заболеть студия и наш коллектив".

Почему приехавший в ту позднюю осень в Алма-Ату поэт, увидев гроб с молодым режиссером, будет так потрясен, что напишет огромную поэму об этом трагическом событии в жизни киностудии? Поэму, которая станет частью его книги "Середина века". Разве мало все видели в те годы смертей?

Для Луговского в этой трагедии сошлось все сразу: его собственная беда и несчастья всех брошенных, забытых в те годы людей. Вслед за этим он, по всей видимости, стал ощущать невероятную хрупкость мира, жалость и близость ко всем людям. Писательское и кинематографическое бытоустройство было строго разделено на ранжиры, на номенклатурные ступени. Помимо распределителей, в Ташкенте и Алма-Ате, "писательского дома" в

одном городе и "лауреатника" в другом, действовала жесткая система. По этим неписанным, но всем известным правилам одни могли быть посланы на заготовки саксаула, даже будучи больными, другие были - неприкасаемы.

Луговской написал поэму, названную им "Город снов", в которой существовало два полюса - известные, знаменитые кинематографисты, живущие абсолютно отдельно от всех жизнью, пребывающие во сне и ночью и днем, и он - молодой художник в дощатом гробу, привезенный вместе с саксаулом глубокой ночью в коридоры кинофабрики.

"Холодно. В пустом кинотеатре, - вспоминал Виктор Шкловский, - чуть не рогожами разделено логово, в котором живут отдельные люди и семьи. Черную лапшу ест, поставив между коленями берданку, сторожика на кинофабрике, размещенной в колонных залах бывшего Дворца культуры.

Сны, огромные, как индийские слоны, сошедшие с барельефа, снятся великому режиссеру.

В пустом зале кинофабрики стоит гроб молодого режиссера, погибшего в пустыне на работе.

Нечем было топить. Топили саксаулом и саксауловой пылью. Саксаул, дерево, похожее на адские деревья, которые рисовал Доре в иллюстрациях к Данте.

Железно-крепкие, безлиственные, скорченные деревья давали каменно-угольный жар. Их нельзя пилить - они слишком крепкие; их разбивают, как стекло.

Молодой режиссер, который хотел снимать прекрасную казахскую поэму о Козы-Корпеш и Баян-Слу, был освобожден от военной службы, потому что у него было больное сердце. ... Он говорил о своей будущей постановке: я буду ставить, очистив душу, вымыв руки".

Сон - многозначный символ в поэме. Это и смерть, и мир грез, которым всегда считалось кино, это и глубокий обморок души, который не позволяет чувствовать чужую боль. В записных книжках с документальной точностью, с беспощадностью рисуется быт тех дней. Луговской, как тень, обходит улицы города, коридоры киностудии, проникает в жизнь каждой комнатки "лауреатника". Соединившись с душой умершего режиссера, он прощается со всем кинематографическим муравейником "города снов". "Ледяные хребты. Ночная съемка. Американская картина. Хрустящий холод. Мимо Эйзенштейна. Условность существования. Мой

презрительный, абсолютный скептицизм. ... Инвалиды, сидящие, как птицы, на перилах моста. Ячейки Дома Советов. Уютная чужь. Где-то кусок жизни той девушки. Где-то здесь она ещё живет. Холодно тебе в могиле. Холодно и одиноко. Мороз. Мороз в Ташкенте. Гордость тебя сгубила и порядочность. А итог? Если ты не получишь возмездие - все ничего не стоит".

О каком возмездии говорит поэт? До конца не ясно. Он, скорее всего, имеет в виду возможность другой жизни за гробом или новой жизни - здесь. И далее он пишет о себе: "Слезы. Ровные улицы. Чистые звезды. Тщеславие. Желание блистать. Отсутствие чувства собственного достоинства. Высокое одиночество. Тишина. Ветер. Вдвоем на дороге".

Главная мысль книги поэм, которую задумывал Луговской, - о непостижимом, случайном характере жизни и смерти. Гибель мира, вселенной и гибель одного человека. В записных книжках следуют, как картинки в документальном кино, множество грустных, веселых, известных и неизвестных лиц. Персонажи, маски и живые усталые люди.

"Город сна - Ледяные хребты. .... Булочные и пекарни. Кругломордые пьянчужки, актер в своей свинячьей "дольке жилья". "Последние известия". Сквер с кустарниками. Ветер из ущелья. Съёмки. Горят юпитера. Толстомордые охранники. Пустота в коридоре. И снова - портрет. .... Розовый халат Татьяны. Электропечка. Американские картины. Темп, пышность. Жизнь. Сводки. Маршак на постели: Водсворт. Ала-Тау. Телеграф. Большие звезды. Выставка. Сила обнаженности. Спит телефон. Банки с маслом. Дурацкая морда Сергея Михайловича со всех сторон. (Здесь, видимо, имеются в виду большие парадные портреты Эйзенштейна в коридорах "лауреатника". - Н.Г.)

Глаза как облупленные яйца. Казацкие дома. Огней нет лишь из окна Крючкова. Гармонь. Русский Голливуд на границе Китая. Опять мимо ваших окон С. Эйзенштейн. Спит Э. Шуб, горят окна у Траубергов, там пекут картошку. Внимательные глаза В.Пудовкина ... А ты лежишь в гробу, и вся сила жизни тает в досках гроба, и ничего от тебя не останется, и твоя любимая мажет брови и недолго будет тебя вспоминать. Она все знает простым женским чутьем. В ней правда. Холодно тебе лежать. Холодно и бедно? Фанерные клетушки. Город снов. Город небывалаго".

В городе множество знаменитостей. Сюда в отпуск к мужу Юрию Завадскому, режиссеру, который находился здесь вместе с

театром Моссовета, приехала знаменитая балерина Галина Уланова. Эйзенштейн предложил сниматься Улановой в роли Анастасии, жены Ивана Грозного. Но потом выяснилось, что театральные гастроли не давали балерине возможности сниматься. Было обидно: сделаны фотопробы, Уланова утверждена в роли. Но не случилось.

"Тема музыки. Завадский и Уланова. Костя Паустовский и романтика Черного моря и Ала-Тау. Мертвый Зоценко. Его подруга". Относительно Зоценко это не описка Луговского. В письме Паустовского к сыну в перечислении лиц те же краски: "Здесь писатели Зоценко (очень угрюмый), Шкловский, Ильин, Шторм, Панферов, Коля Харджиев (ты должен его помнить)..."

Зоценко в Алма-Ате пишет свою главную книгу - "Перед восходом солнца", к нему приехала его подруга Лидия Чалова, которая сумела как-то наладить его утлый быт. Уже тогда он почти ничего не ел, питаясь только на одну хлебную карточку, не имея представления ни о каких лимитах. Он мучился сердечной недостаточностью и страшно страдал, что не успеет написать главную книгу своей жизни. Весной 1943 года Зоценко вызвали в Москву.

"Низок столовой. Глиняные миски. Ленинградцы. Рыжий Яшка. Разговоры. Коварский и статьи о формализме. Все спят. И все спит. Телеграф. Инвалид на телеграфе с палкой. Спят книги Эйзенштейна. Коротконогий, во всем разуверившийся, спит мастер под мексиканским одеялом. Вокруг маски, портрет Чаплина, небоскребы. Луна. Нью-Йорк. Спят кинозвезды, раскинув невымытые ноги. Что видят во сне - не знаю. Вот этого не знаю. Круглые груди легко поднимаются во сне. Недавно вышедший оттуда администратор мочится и от скуки пускает кран. Занавесочки колышутся. Трогательные трусики лежат на спинках стульев" - так заканчивались наброски к будущей поэме.

Эйзенштейн написал в те дни, когда похоронили его ученика: "К таким людям, не умеющим кричать о себе; к таким людям предельной скромности и аскетической нетребовательности мы должны были бы относиться с удвоенной любовью и вниманием.

А между тем мы дали погибнуть одному из лучших наших товарищей.

Пусть же его смерть послужит окриком, чтобы мы вовремя опомнились, чтобы мы начали думать и заботиться о наших людях, ... чтобы мы не забывали, что самое драгоценное на свете - человек..."



Луговской прокричал, о чем сто лет назад говорил Пушкин, - о милости к падшим, о милости к тем, кто не умеет просить и требовать, о необходимости любви друг к другу...

Может быть, эта смерть и разбудила некоторых художников.

В Алма-Ате Луговской предпринимал попытки с И. Вайсфельдом и О. Грудцовой организовать писателей для сочинения сценариев микроше, так называли маленькие сюжетики, показываемые перед полнометражными фильмами. Сначала дела шли хорошо, возникла обширная переписка между Ташкентом и Алма-Атой, но постепенно все сошло на нет. Вайсфельда отправили на фронт, О. Грудцову понизили в должности. А Луговской вернулся в Ташкент к своим поэмам, что, наверное, было правильно. Жена И. Вайсфельда Л. Войтоловская вспоминала о тех днях: "Владимир Александрович, так же как и мой муж, в Алма-Ате пробыл недолго. Он часто бывал у нас, наполняя нашу комнату своим непомерным басом. Он любил петь и пел много, не столь музыкально, сколько громко и выразительно. Голос у него был необыкновенно красивого тембра, но необработанный. ... Когда мой муж уезжал на фронт, вдова Булгакова, Елена Сергеевна, подарила ему талисман - несколько стеклянных мексиканских бусинок, нанизанных на суровую нитку.

Бывший при этом Луговской сказал: "Это вас сохранит от раны, от смерти, от горя", - и улыбнулся из-под своих стремительных бровей.

Муж привез эти бусинки домой".

В поезде, идущем на фронт, Илья Вайсфельд писал Луговскому о той встрече:

"Мой дорогой Володя!

Посылаю Вам листки из блокнота, написанные на колене, под стук колес.

Еду - увы! - в Чкалов. Билет был выслан в Беломорск, и вдруг, в самую последнюю минуту...

Воспоминание о моей поездке в Ташкент, о Вас, о Елене Сергеевне чудесное. Мне кажется, что это была не ведомственная суетня, которая может заставить людей часто встречаться, а настоящая дружба".

Был конец 1942 года, а война все продолжалась. И было сделано уже очень много.

Отступление. Сергей Ермолинский Сергей Александрович Ермолинский, драматург, сценарист, отправленный в тюрьму за

свою дружбу с покойным Булгаковым, будущий муж Татьяны Луговской, оказался в Алма-Ате по воле счастливого случая. Его нашел в ссылке, на затерянной казахской станции, его близкий друг, режиссер - Юлий Райзман. В это время Сергею Ермолинскому неожиданно пришло предписание прибыть в Алма-Ату, хотя пребывание в любом более-менее крупном городе ему было запрещено. Оказалось, что Н. Черкасов и С. Эйзенштейн, работавшие в эвакуации на киностудии "Казахфильм", ходили хлопотать к наркому НКВД Казахстана и убедили его, что Ермолинский является незаменимым сценаристом, необходимым киностудии.

Когда Елена Сергеевна узнала о том, что Ермолинский жив и обитает где-то поблизости, она была безумно рада. Рассказывала всем, что их Сережа, о котором несколько лет не было ничего известно, наконец нашелся.

Посылку для него они соорудили вместе с Татьяной Луговской.

"И вдруг - радость! - вспоминал Ермолинский. - Посылочка от Лены из Ташкента!

Мешочки, аккуратно сшитые "колбасками", в них были насыпаны крупа, сахар, чай, махорка, вложен кусочек сала, и все это завернуто в полосатенькую пижаму Булгакова, ту самую, в которой я ходил, ухаживая за ним, умирающим. И развеялось щемящее чувство одиночества, повеяло теплом, любовью, заботой, домом..."

Когда из Ташкента в Алма-Ату - к своему первому мужу, работавшему режиссером на том же "Казахфильме", приехала Татьяна Луговская, Ермолинский лежал в больнице с брюшным тифом. Ухаживавшие за ним подруги - Софья Магарилл и Мария Смирнова рассказывали о нем Татьяне Александровне. Она стала помогать собирать передачи для неведомого ей Ермолинского. Софочка (жена Г. Козинцева) заразилась в госпитале тифом и через некоторое время умерла, а Сергей Ермолинский, надорванный тюрьмами и ссылкой, чудом выжил. Но вначале было его чудесное вселение в "лауреатник", где те же "великие", о которых иронично писал Луговской, прекрасно отнеслись к ссыльнокааторжному сценаристу. Ермолинский очень ярко и смешно описал их в воспоминаниях.

"... Непременно нужно вспомнить и о том, как в день моего приезда в Алма-Ату меня вселили в "Дом Советов". Верно - "Ноев ковчег" эвакуированных из Москвы и Ленинграда! В коридорах были свалены в угол кадки с пальмами, украшавшие раньше

гостиничные холлы, пахло кухонным бытом густо населенного общежития. Я очутился в небольшом номере. Там стояла железная кровать с небольшим матрасом, стол и два стула из прежней стандартной мебели, вот и все. Я присел на кровать, задумавшись, как бы устроиться здесь поуютнее. У меня ничего не было. Но чудеса продолжались.

Первым появился Эйзенштейн. Этот человек, чуждый какой-либо сентиментальности, принес мне продолговатую подушку (она сохранилась у меня до сих пор) и произнес:

- Подушки у вас, разумеется, нет. Без подушки спать неудобно. А мне навезли их зачем-то целых три. Так что вот - пользуйтесь!

- Во-первых, - начал я, - мне надобно поблагодарить вас, Сергей Михайлович...

- Вы не меня благодарите, а Черкасова, - перебил он меня.

- А Черкасов сейчас здесь?

- Здесь. Но не вздумайте идти к нему. Сахновский сунулся было, так он на него взвизгнул полежаевским голосом: "Вы что, батенька, смеетесь надо мной? Не забывайте, я царь Иван Грозный! Царь!"

Я не успел ответить Эйзену, как ворвался Пудовкин. Был он, не в пример Сергею Михайловичу, эмоционально взвинчен, что вообще было ему свойственно.

- Простыня! Вы понимаете, Анна Николаевна задумала адский план обмена её на соль, или сахар, или что-то ещё в этом роде, но я вовремя схватил эту простыню.

- Вы поступили правильно, Всеволод Илларионович, - сказал Эйзен, раскланявшись в мою и в его сторону.

- Где он достанет простыню? Смешно! - воскликнул Пудовкин.

- Прошу, Сережа, чем, как говорится, богат.

Едва они ушли, пришел Козинцев, слегка напряженный. На его руке был перекинут черный клеенчатый плащ. Свою миссию он выполнял с некоторой неловкостью и сдержанно; с той ленинградской вежливостью, которой всегда отличался, объяснил мне, что пальто мое, по наблюдению Софочки, не подойдет к сезону, а у него имеется плащ, вполне хороший..."

По-разному видели Алма-Ату, "лауреатник", известных режиссеров Луговской и Ольга Грудцова, Ермолинский и Т. Луговская. Важно было их собственное душевное состояние, в котором они пребывали в тот момент.

"Да, я ощущал удивительное человеческое тепло в Алма-Ате, - вспоминал Ермолинский, - посматривая на подушку Эйзена, простыню Пудовкина, плащ Козинцева, и думал, что никакой я не отверженный, не "социально опасный". Словно канули в Лету те совсем недавние времена, когда после моего ареста многие знакомые, даже близкие, старались не встречаться с моей женой, не звонить ей: боялись. Можно было стереть мое имя, обворовать меня безнаказанно, делать со мной что угодно... Э, казалось, было и прошло! Прошло ли?

Я тогда не думал об этом. Сердце мое согрелось. Так началась моя алма-атинская жизнь: радушно! И что греха таить, сперва я даже расслабился. Я просто задохнулся от чувства свободы".

Новый год - 1943-й

"Дорогой Володечка! - писала Татьяна Луговская из Алма-Аты в Ташкент. - Поздравляю тебя с Новым годом и желаю много разных хороших вещей. Вместе с сестринским благословением посылаю тебе забытые впопыхах пижамные штаны, смену постельного белья и вяленую дыню. Впрочем, дыня предназначена не одному тебе, а и Леночке, и Сереже, и Поле. Выпейте чайку и помяните меня добрым словом. Я работаю исправно и вообще веду себя довольно прилично. В конце января надеюсь быть в Ташкенте. Все зависит от выхода спектакля.

От твоего пребывания в Алма-Ате у меня осталось хорошее воспоминание. ...

Был у меня в гостях Паустовский с женой, говорили много о твоей поэме - разные похвальные речи. Приехал Симонов с женой. Болел. Ведут себя тихо. Успеха не имеет. Ты люби меня, старый черт больше, а то ты меня мало любишь. Твоя Татьяна.

А больше меня имеешь право любить только Леночку, а больше никого".

Татьяна Луговская посылала поздравления и грустила без брата и друзей с улицы Жуковской.

Дом в условиях эвакуации - это пусть даже чужая крыша и чужой стол, но главное, чтобы можно было сесть за него с родными и близкими людьми.

С Симоновым отношения, как говорилось выше, разладились, в военные годы он сторонился Луговского, но любой знак внимания со стороны Кости Луговской воспринимал с огромной радостью.

Отступление. Константин Симонов

Симонов оказался в Алма-Ате в конце 1942 года. Он стремительно взлетел вверх, уже прославившись стихотворением "Жди меня"; пьеса "Русские люди" была целиком напечатана на страницах газеты "Правда". Бывшие друзья стали писать и говорить о нем с некоторым напряжением и осторожностью. Он становился менее доступен, нежели генеральный секретарь писательской организации Фадеев. Удивительно, что и Фадеев, и Симонов - каждый в свое время были ближайшими друзьями Луговского, однако чем более входили в сферы власти, тем сильнее сторонились непредсказуемого поэта. Во время войны Фадеев оказался в опале, и тогда ярко зажглась звезда Симонова.

Он приехал на съемки фильма по своему сценарию "Жди меня". Главную роль исполняла знаменитая Валентина Серова, в те годы гражданская, а спустя год уже его законная жена.

Новый, 1943 год Симонов встречал с исполнителями главных ролей в фильме - Блиновым и Свердлиным. В начале января 1943 года оказался в Ташкенте; впечатления о тыловом городе, старшем друге Луговском легли в основу повести "Двадцать дней без войны", которую он написал в 1973 году. Он вспоминал о Луговском в Ташкенте как о человеке больном, сильно ослабевшем, испытывающем чувство вины за пребывание в эвакуации.

Видимо, тогда его и поразили поэмы из будущей книги "Середина века", которые читал ему, по его представлениям, совсем уже рухнувший поэт, их исповедальная личная интонация. Но написал Симонов об этом с горечью и даже какой-то нежностью спустя почти тридцать лет. После войны он сторонился Владимира Александровича. И дело было не только в Луговском. Поездки в эвакуацию остро ассоциировались у Симонова с его прежней женой, горько любимой Валентиной Серовой, упоминание о которой он тщательно вымарывал из дневников и писем военных лет. Воспоминания об Алма-Ате и Ташкенте пришли, когда не стало ни Серовой, ни Луговского - людей, которые принесли ему обиды, разочарования, какую-то не до конца высказанную боль. В конце жизни обиды отступили, пришло осмысление тех встреч, желание разобраться в них и разобраться в себе.

И ещё два грустно-веселых новогодних письма Татьяна Луговская послала в Киров Малюгину.

"Милый Леня, это письмо вы получите уже в 43-м году - поэтому я посылаю вам все пожелания, которые вы сами выберете. Плюс желаю вам: 1) чтобы скорее окончилась война, 2) чтобы вам

скорее исполнилось 35 лет, 3) чтобы вы скорее кончили увлекаться артистками, 4) чтобы все ваши близкие были живы и здоровы, 5) чтобы вы всю жизнь путешествовали с газетой в руках, 6) чтобы вы нашли себе достойную подругу, которая никогда не обременяла вашу душу дурным настроением, а ваш желудок вареными овощами, 7) чтобы вы дожили до 90 лет и чтобы у вас была целая куча внуков и чтобы я была крестной матерью вашей старшей правнучки, 8) чтобы театр им. Горького со всей труппой провалился бы в тартарары, а вы бы остались на поверхности вместе с книжным шкафом, в который вы упрячете несколько друзей по своему выбору (ни одной дамы я там не потерплю), 9) чтобы вам каждый день выдавали в столовой котлету величиной с калошу, и суп с горохом, и пиво, и чай вприкуску, 10) чтобы вы никогда не принимали женскую любовь как должное, а всегда - как дар, 11) чтобы вы лазили на березы до 55 лет, 12) чтобы ваша будущая жена ни в чем не была похожа на меня. Ну и ещё разные хорошие вещи я вам желаю.

Я живу хорошо. Насчет печенки и всего остального - я здорова. Ваше письмо с вокзала я получила. Постараюсь не ссориться с вами в письмах в будущем году, но не знаю, удастся ли. Шлю вам привет и прошу любить меня и жаловать в 43-м году".

И вслед ещё одно письмо.

"...(рисунки елки) Я хочу, чтобы и у вас была елка.

Это будет новогоднее письмо № 2. С Новым годом, Ленечка! Я сейчас пришла с просмотра очень хорошей картины ("Мистер Чибс"), вам бы тоже понравилась эта картина - она про школьного учителя. Меня проводили Виноградов и Столяров, и мы так орали дорогой и так здорово скрипел под ногами снег, что я решила, что уже настал Новый год.

Дайте руку (или, как вы говорите, дайте ручку) и держите меня покрепче. Я вам наврала в прошлом письме, что живу хорошо: все то же самое. Я совершенно не представляю, какой это будет, 43-й год. И мне даже кажется, что он будет очень трудный (для меня тоже). И я не представляю, когда я вас увижу. Все это мечты. Хотя, бог вас знает, вы действительно соединили в себе неуверенность с твердостью и настойчивостью.

Я тружусь в театре, правда, с усилием и неохотой. Мой режиссер Марголин заболел, у него какая-то среднеазиатская печеночная болезнь. Наверное, спектакль в связи с этим затянется. Это худо.

Вы пишете мне чаще. Мне очень неудобно жить без вас. И напишите мне, в каком положении ваши военные дела, чтобы я не тревожилась.

Желаю вам счастья в будущем году. Не забывайте меня. Т.Л.

А жить так, чтобы читать книжки Диккенса и быть покойной, - это, наверное, не может быть.

Так не бывает, чтобы все счастье одному человеку. Обнимаю вас. Ваша Т.Л. 31.12.42".

Ахматовой удалось после очередного тифа, второго за этот год, выздороветь. Ее стихи периода болезни полны предчувствием гибели. Но она вырвалась.

Гораздо печальнее был новый, 1943 год для Лидии Корнеевны Чуковской: в середине декабря они на долгие десять лет расстались с Ахматовой. Последний разговор был в больнице. Сплетни, наговоры, слухи сделали свое дело. В новом году они окажутся соседями по Жуковской, когда Анна Андреевна переедет в комнатку на балахану. Надежда Мандельштам писала о последних событиях 4 января Борису Кузину: "С тифом окончено. Она его выдержала. После тифа она лежала в чем-то среднем между санаторием и больницей. ...

Я жаловалась вам главным образом на баб, которые её обсели со всех сторон и чешут ей пятки, что она очень любит. Создается дурацкая и фальшивая атмосфера, а во время болезни - прямой кавардак. И она не всегда бывает на высоте. Я с ней после болезни даже поругивалась. Не хочется писать об этой брани. Здесь дело не во мне, и нехорошо было не мне, а совершенно незнакомым вам людям. Но это все от баб. Сейчас эти темы сняты с повестки дня начисто - во всяком случае в моем присутствии. Одна из баб главная - Раневская - киноактриса". Она, по мнению Надежды Яковлевны, и "мутила" Анну Андреевну.

Предпоследний Новый год отмечал и семнадцатилетний Мур Эфрон. В 1943 году его должны были по возрасту взять в армию, хотя он надеялся, закончив школу, поступить учиться в Литературный институт в Москве.

"Новый год только встретил один, - писал он 1 января Але, - встретил хорошо: без лишней торжественности, без шумихи. Выпил ровно столько, чтобы опьянеть без неприятных последствий... .... С одной стороны, было немного досадно, что во всем Ташкенте не нашлось ни одного человека, который бы меня пригласил на встречу Нового года - я производил на себя впечатление девушки, которую

не пригласили танцевать; с другой - в сущности, по-настоящему мне было бы приятно встретить Новый год только с тобой, папой и Мулей". Отца в сентябре или октябре 1941 года расстреляли в подвалах Лубянки, но ни брат, ни сестра об этом не знали. А Муля, Самуил Гуревич, близкий друг Али, журналист, погиб в 1952 году. "Пусть этот Новый год станет годом победы, годом нашей встречи, годом решающим в нашей жизни. Крепко обнимаю. Твой брат Мур".

Мария Белкина выехала из Ташкента на фронт осенью 1942 года, оставив ребенка на попечение родителей. Может быть, она была бы тем человеком, который позвал мальчика встречать Новый год. Они неоднократно виделись ещё в Москве. Перед самым отъездом она случайно на улице встретила с Муром. "Я не знала, - писала она, - что какое-то время мы жили в одном доме. Из моей комнаты был отдельный выход прямо на улицу, а все жильцы ходили через двор. Я почти ни с кем не общалась, жила очень замкнуто".

Начинался год надежд, год новых жертв, год новых прорывов на фронте и в литературе.

И все коты, коты, коты...

В письмах, документах, телеграммах, записках, вариантах поэм ташкентского периода, даже в известных ахматовских стихах мягкой тенью проходит кот, иногда даже не один. Так как избавиться от его присутствия нет никакой возможности, пришлось посвятить котам отдельную главу.

Как уже говорилось, в поэме Луговского "Сказка о сне" появляется кот в манжетах, наблюдающий за героями. А в ташкентские времена кот становится просто культовым животным. В письмах, записках, стихах - везде появляются загадочные коты.

В записке, однажды оставленной Еленой Сергеевной Булгаковой Луговскому, читаем:

"Дима Димочка Димочка написала коту письмецо хемингуэевского склада (но с претензией на юмор) без знаков. Кот видимо все принял всерьез откуда и ответ зачем мне сердиться или огорчаться не помню уже но вы не обращайтесь я безумно устала только подумать ведь шестнадцатый час на ногах а вы всего восьмой поэтому ложусь спать а диктовать будете завтра на свежую голову хотя на это и трудно рассчитывать прочтите Швейка это стыдно что вы его не читали до сих пор. До свидания Димочка Дима



не смейте долго засиживаться а то как вы будете вставать на следующий день".

Наверное, речь шла о коте Якове, полноценном члене семьи, на мнения которого ссылались, ему слали приветы и прочее.

В начале января 1943 года Луговской пишет в Алма-Ату письмо:

"Тучка, милая сестренка!

Благодарю за трогательные письма, особенно за оленя с трубкой.

Дома все благополучно. В городе - недостаток водки. Написана ещё одна глава.

Жду тебя в любой день и час. Будь умницей, не психуй. Радуйся жизни... Помни, что лучше быть богатым, но здоровым. Очень тебя люблю, дура. Будь спокойна. Все на свете чепуха. Выясни, что с моими "Четырьмя городами". Прочитай песни. Тюпе кланялся. Инне Ивановне тоже.

Кот Яшка тебя ждет.

Пишу на вокзале. Целуй Гришу. Целую тебя.

Успокойся. Приезжай. Твой В."

Кот Яшка - в числе прочих уважаемых членов домашнего круга.

Но главное послание, да ещё проверенное военной цензурой, безутешная Елена Сергеевна посылает после своего отъезда из Ташкента. Открытка была очень серьезно оформлена.

"Ташкент, Жуковская, 54, Татьяне Александровне Луговской для Яшуши. Москва, Фурманова ул., 3. Кв. 44. Е.С. Булгаковой. 2.8.43. Ташкент. Проверено военной цензурой.

Яшуша, дорогой!! Как мне Ваше письмецо понравилось! Какие Вы умненькие, душечки! А Польшка - они себе позволяют! Как это они могут говорить, что Вас не возьмут в Москву. Я вам советую тогда, просто заберитесь тогда к дяде Володе под пуджак, у него такое пузо, что все равно не заметит никто, и вы приедете в Москву. А тетка Туша тоже хороша, подруга, подруга, а теперь Польшке потекает! Я вам советую ей тоже наложить в туфульки. А уж огурцу, пожалуйста, как следует, ещё раз! - Что за безобразие, что вам черепак не покупают. Вы не садитесь с ними за стол, если нет прибора и нет черепки. Тогда они будут знать, как с родственниками обращаться. - Здесь, в Москве, у тетки Оли тоже есть котик, нажувается Кузьма, я с ним подружилась. Они страшные кусаки, я их иногда по задкам хлопаю за это. Но потом они опять ко

мне ползают. Когда вы приедете, вы познакомитесь с ними. - Отчего вы так редко пишете? Пишите мне, мне очень понравилось ваше письмо. - Целую вас крепко и очень шчотаю жа подругу. Шележка уехал учиться, станет теперь умным. Ваша тетка".

Можно было бы отнести все эти нежности к коту просто за счет привязанности Луговских и Е.С. Булгаковой к отдельно взятому коту Яшке.

Но появление кота в поэмах Луговского, и в частности ещё в одной поэме - "Сказка о зеленых шарах", где существует недобрый кошачий мальчик, вызывает сомнения в чисто бытовом, домашнем характере этого образа.

В стихотворении "Вечерняя комната" Ахматовой, написанном ею в 1944 году, присутствует любимый кот Елены Сергеевны и Луговских, которого Татьяна Луговская увековечила на своей картине. Скорее всего, это и был знаменитый кот Яшка:

Здесь одиночество меня поймало в сети.

Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,

И в зеркале двойник не хочет мне помочь.

Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь!

Конечно же, за некоторыми котами невольно просвечивает образ Бегемота. "Мастера и Маргариту" читали в эвакуации очень многие, а уж Луговской и Ахматова, достоверно известно, неоднократно. В письмах Елены Сергеевны Татьяне Луговской в Алма-Ату встречаются порой приписки: "Как идет жизнь в Алма-Ате? Видите ли Вы Эйзенштейна и Пудовкина? Говорили ли с ними о романе М.А.?" Булгаковский роман незаметно входит в литературные тексты, оживает в них, подмигивает тем читателям, которые понимают. А кот Яшка, нагруженный дополнительными литературными смыслами, продолжал гулять из письма в письмо. У Татьяны Луговской в письме к Малюгину говорится, что он много потеряет, не увидев: "... кота Яшку, бывшего ещё недавно таким толстым, какой я была в Плесе, и меня, ставшей такой худой, как кот Яшка, вынутый из воды ...". А Елена Сергеевна, вернувшись в Москву, продолжает переписку с Яшкой. "У Оли дивный котенок Кузька, скажите Яшуше. Будь здоров, весел, дорогой. Целую нежно. Поцелуй Тусю, что не пишет? Целую Полю и Яшку. Тюпа".

Но, судя по записанным Еленой Сергеевной снам о Булгакове, названным в её дневниках "сны про него", образ кота имел для неё тот же смысл, что и коты, появляющиеся в поэмах Луговского. По всей видимости, в той игре, которая была понятна обитателям их

ташкентского круга, кот был сверхъестественным существом, обладающим способностью к превращениям. "...Потом дворик ташкентский. Я стою наверху на балахане в шубе и валенках. Раннее, раннее утро. Еще не рассвело. Зима глубокая. Небо в тучах, густых, серых. Масса снежных сугробов. Толстый снег. Внизу женская фигура. - Я сейчас спущусь, Любочка. - (Мне кажется, что это Л.Орлова). Но когда я подхожу, она исчезла, и на её месте толстый черный кот. Второй сугроб тоже толстый кот. Третий - тоже.

Потом верх балаханы. Первая комната. Я на кровати, рядом рваные туфли. Шум в соседней комнате, кто-то ходит. Встаю, заглядываю - никого.

Рваные туфли".

Расставание Конец 1942 - середина 1943 года

Елена Сергеевна Булгакова была старше Луговского почти на десять лет. Но её умение держаться, носить одежду, фигура, изящество, ум - все это покоряло мужчин и заставляло забывать о её возрасте. Хотя однажды после прогулки по Ташкенту в новом костюме и туфлях на высоких каблуках Елена Сергеевна вернулась несчастная, с опухшими ногами, Татьяна Александровна говорила, что вспомнила, что той уже за пятьдесят.

Татьяна Александровна дружила с Еленой Сергеевной до конца жизни и много думала о её обаянии, таланте, жизненной силе. В записях Татьяны Луговской было много о Булгаковой, в частности она писала: "Все мы говорили, что Елена Сергеевна была необыкновенная женщина (и такая, и сякая, и эдакая) и никому не приходит в голову простейшая мысль, что такой её сделал и воспитал Булгаков, что она была разновидность "душечки".

Душечка-то душечка, скажете Вы, но душечка высшего порядка, так как она поддавалась не только воспитанию мужчин, но и воспитанию жизненных обстоятельств. Восприимчива, артистична, практична и душевно, и материально, с юмором, талантлива.

Вот почему она так блестяще "сыграла" Маргариту (к которой не имела никакого отношения), а Л.Е. Белозерской не удалось (она не была душечкой)...". Эти рассуждения были написаны для себя и, может быть, достаточно пристрастны, но в них есть важная для неё мысль об умении "служить" мужчине. Когда Татьяна Александровна жила в Алма-Ате, они постоянно переписывались.

23 ноября 1942 года Е.С. Булгакова писала Татьяне Луговской в Алма-Ату о своих последних печалях:

"Дорогая Туся.

Володя Вам, конечно, рассказал про Серезину болезнь. Сейчас ему лучше, я надеюсь, что через дней десять он будет дома. Он дико худ, бледен, зелен, покрыт прыщами. Ну да ничего, вот попадет домой, - постараюсь привести его в порядок. Тем более, что написала Евгению Александровичу, что прошу его устроить лучшую столовую и распределение.

Сегодня Сергей в письме написал: "Тюпа, как я тебя люблю, передать невозможно. И Володю тоже. Он очень хороший. Я тут думал о нем и решил, что он хороший человек".

Прочтите это Володе.

Тусенька, если бы мы встретились - то, наверное, суток двое просидели в разговорах, - ведь все пришлось бы рассказать. Но главное - это Ваша любимица м-ме Зузу. Это Вам не фунт изюма. Грандиозно!

Туся, не сердитесь, что не писала. Очень сложное было время, очень. Думаю, что по Володиным рассказам многое станет Вам ясным.

Сейчас привожу в порядок все, начиная от корреспонденции и кончая платьями.

Сумятица в душе и неразбериха в шкафу и чемоданах. Кроме того, занимаюсь сборами вещей для продажи.

Как идет жизнь в Алма-Ате? Видите ли Вы Эйзенштейна и Пудовкина? Говорили ли с ними о романе Михаила Афанасьевича?

Целую Вас, Туся, целую Гришу и целую Володю.

Бегу на свиданье с Сергеем.

Ваша Лена".

Татьяна Александровна рассказывала Малюгину о пребывании брата в Алма-Ате, где он был с 22 ноября по 23 декабря 1942 года, как следовало из командировочного удостоверения.

"... Здоровьем слабоватая задумала отвечать за все и за всех. Конечно, трудно это - не по силам. Помощь, хотя и кратковременная, пришла, как всегда, неожиданная и не из тех источников, откуда можно было бы ждать её. Помощь пришла от братишки Володи, который приехал сюда, прелесть как душевно обошелся со мною (а я отвыкла от этого обхождения за последнее время) и не побоялся (хоть и на минуту) взять ответственность за мою судьбу. Назавтра, конечно, он уже забыл об этом, но дело было сделано и мне стало немножко легче. И я активнее принялась за

работу, а я, хоть и лентяйка, но работа это все-таки прелестный наркоз.

Потом он приободрил меня настоящими прекрасными стихами. А стихи я тоже люблю.

Мне очень обидно, что я теряю вас, а вместе с вами теряю душевный темп - это очень важная вещь в жизни. Наверное, все горе в том, что вы держите меня на Олимпе, в то время, когда я - хотя и живу на высоте 600 м над уровнем моря - все же очень земная женщина и мне неуютно быть в жилище богов. Либо вы сами должны натворить удивительных вещей и лезть на эту гору, либо меня снимайте, пожалуйста, отсюда (хотя вы и не можете поднять меня, но я похудела и стала легкая, совсем легонькая), а то мне скучно так жить. Я божественных поступков делать не умею, так как состою в чине нормальной смертной женщины, понимающей, что бог неспроста сотворил её после Адама и из его ребра.

Я же вам развивала свои теории, они совсем не "немного свысока". Что же касается наших и ваших грехов - все мы грешные и все хороши. Я тоже не лучше вас, наверное. И потом - помните: "всякий тяжкий грех прощается, непростительный забудется". Насчет неискупаемых грехов - тоже чепуха. Все грехи искупаются - любовью и содеянными делами. И работой, если человек вырос на этом, перестрадал - значит, он должен сделать, написать что-то хорошее. Вот уже и искупление. Надо быть шире и человечнее. Напишите мне про свою работу. Что вы делаете? Неужели только воюете с актрисами? Это вот обидно!

Пишите мне чаще, думайте обо мне больше. Не забывайте, что я слабее вас. И любите меня, если вам не надоело ещё это занятие".

В новом, 1943 году Луговской вернулся в Ташкент и сел за поэмы, в работе над которыми ему помогала не только Елена Сергеевна, но и две сестры Яковлевы, немолодые женщины, одна из которых была его врачом-невропатологом.

Татьяна Луговская рассказывала: "Володя, конечно, стал погуливать. Елена Сергеевна сердилась. Она ревновала его к врачу Беляевой, невропатологу. Это были две сестры, уже очень пожилые. У них был чудный домик с садом, весь увитый цветами. Полная чаша. Они были очень хлебосольны и обожали Володю. Он у них укрывался, когда бывал пьян. Вернется и, чтобы загладить, говорит: "Лена, пойдём гулять".

Здесь неточность: фамилия сестер не Беляевы, а Яковлевы; потом, после отъезда Луговских из Ташкента, они ухаживали за могилой их матери, посылали посылки с фруктами, трогательные письма, им было очень одиноко в Ташкенте.

"...На Пушкинской улице в милом Ташкенте в маленьком уютном домике жили две чудесные женщины, - писала спустя годы жена Луговского Елена Леонидовна. - С сестрами Яковлевыми дружил Луговской в горестные и тревожные годы. Инна, старшая сестра, была врачом-невропатологом. Елена, младшая, не имела специальности, она помогала сестре по дому и без конца читала газеты и книги. Инна была врачом Луговского. Елене он диктовал первые главы "Середины века". Это были очень добрые немолодые женщины. ... В большой столовой, под желтым абажуром, они врачевали поэта, каждая по-своему. Он любил этот дом и все, что было связано с ним".

Инна Ивановна Яковлева приютила в Ташкенте художницу Валентину Ходасевич с больным мужем и художника Басова. У них с сестрой был собственный домик, с водой, погребом и канализацией. Жили они в Ташкенте уже двадцать пять лет. Ходасевич с нежностью о них вспоминает в своих мемуарах, они помогали многим эвакуированным выжить.

Елена Сергеевна печатала поэмы на машинке, иногда после сестер Яковлевых. Судя по письмам, она и сама часто общалась с Инной Ивановной, ходила к ней в гости. В письме в Алма-Ату, написанном большими буквами, смешном, без знаков препинания, она отчитывается Луговскому:

"Поля ходила к Инне Ивановне пришла и сказала что ей делали переливание крови (по поводу её постоянной болезни) и что она себя чувствует не очень хорошо Я на следующее утро (это было вчера) оделась красивенько в новое платье полосатенькое напудрилась пошла на базар Купила хорошенький глиняный кашпо наполнила его персиками покрыла розами в цвет горшочка и отнесла Инне Ивановне Посидела у неё часа полтора Она была очень довольна и просила приходить не считаясь с тем что ей трудно приходить ко мне она очень устает".

Луговской писал в записных книжках:

"Тема - дворик, желтые окна, балахана, дожди. Какое удивительное ощущение - законы стоят рядом с тобой, а ты ещё медлишь, ты бежишь в столовку, ты разговариваешь с дураками. Но самое удивительное в том, что пишу я не для людей, а для нее, для

её ребяческих глаз. Когда пишешь для одного - важно и нужно для всех. ... ". Он признавался, что пишет для нее, для Елены Сергеевны, и потому должно получиться хорошо.

В 1943 году Елена Сергеевна печатала его поэмы по восемьдесят часов подряд, советовала, кормила, утешала. Она пишет о поэмах во всех письмах и к Луговскому, и к Татьяне. Поэмы становятся для них чем-то общим, объединяющим. Не случайно с исчезновением Елены Сергеевны из жизни Луговского выпали из книги "Середина века" и некоторые "ее поэмы". Слишком отчетливо в текстах проступало её лицо.

После отъезда Елены Сергеевны Луговской писал ей в Москву очень серьезные, прочувствованные слова: "...встретим друг друга, как полагается нам, прошедшим через горы испытаний и самую большую близость. Повторяю тебе, все мои силы, все, чем я обладаю духовно и материально, - в твоём распоряжении. Я тебя хорошо и глубоко знаю, много тяжелого перенес из-за тебя и прощаю это, много чудесного видел и не забывал никогда".

Со смерти Булгакова прошло всего три года. В то время Елена Сергеевна не несла венца великой вдовы. Восторженная атмосфера вокруг имени Булгаковой - Маргариты, отождествление её с подругой Мастера возникнет годы спустя, когда роман прочно войдет в читательское сознание. А пока Булгаков в узких культурных кругах представлялся очень талантливым опальным драматургом, не более того.

Елена Сергеевна в военные и последующие годы главной своей задачей видела распространение среди писательской и режиссерской среды текстов неопубликованных романов и пьес Булгакова. В личной жизни не ушла в затвор; не таясь, имела те связи и отношения, которые хотела. В письмах Луговскому ей передавали приветы друзья, ученики, Николай Тихонов, бывшая жена Сусанна.

Татьяна Сальмонович заканчивала одно из писем Луговскому словами: "Привет Елене Сергеевне, я очень рада, что вы нашли такого чудесного друга, мне о ней ещё раньше очень хорошо и много рассказывали".

А Николай Тихонов в письме 1942 года просил своего товарища: "Приветствуй горячо Елену Сергеевну, если она в Ташкенте и если она меня помнит". Их единственная встреча в гостях у Тихонова состоялась в Ленинграде буквально накануне войны.

Но, видимо, связь с Булгаковым у Елены Сергеевны была очень глубокой, в ней не могло не быть мистического элемента, недаром же покойный столько раз повторял, что он "мистический писатель", скорее всего она просто не сразу это осознала.

После смерти Михаила Афанасьевича Елена Сергеевна стала записывать все его появления в своих снах. В феврале 1943 года после возвращения из Ташкента она записала: "Я сказала: "Как же я буду жить без тебя?" понимая, что ты скоро умрешь. Ты ответил: "Ничего, иди, тебе будет теперь лучше". Во сне она, ужасно скучая по нему, спрашивала покойного о своих отношениях с другим (он не назывался по имени), но Булгаков "оттуда" не ревновал. Вот один из фрагментов "сна про него", записанного, видимо, уже после отъезда из Ташкента. "...Перелетаю комнату, и вот Миша лежит на своей кровати. И я, стоя рядом на коленях (кроватьи разъехались, не так как были вначале, - вместе), целую его частыми, частыми поцелуями.

- А он?

- Хороший любовник. Я так тоскую без тебя!

И тут он как-то дает мне понять, что я должна много учиться, совершенствоваться (но как-то выходит в смысле познаний), что это необходимо для той (его жизни). Что мы увидимся. А теперь он будет время от времени мне являться в снах. Эта мысль доставляет счастье. Я ощущаю живое тепло его лица. Он такой же, как в жизни, только немного желтее. ... "Ее разговоры о "другом", о "третьем" появляются во снах не однажды. И если Татьяна Луговская писала в своих заметках, что Елена Сергеевна была воспитана Булгаковым для роли Маргариты, то в этом только часть правды, по всей видимости, он продолжал "делать" её и после смерти, в этом чудесная сторона их любви.

А в Куйбышеве в эвакуации Немирович-Данченко работает над своим последним спектаклем - над пьесой Булгакова о Пушкине. Главным защитником Булгакова в театре становится сестра Елены Сергеевны Ольга Бокшанская, секретарь В.И. Немировича-Данченко, дама, которой были известны все пружины мхатовской закулисной жизни.

Ольга Бокшанская была всегда очень близка с Еленой Сергеевной. Некоторое время они даже жили вместе в Ржевском переулке на квартире Е. Шиловского. Ольга была классическая секретарша, - невероятно словоохотливая, вечно интригующая, но главным для неё было - служение Немировичу-Данченко. Взаимодействия театрального "предбанника" и "кабинета"



иронично описаны в "Театральном романе". Булгакова же в последние годы жизни стало раздражать в Ольге Сергеевне её безудержная преданность Немировичу, хитрость, умение плести интриги. Однако после смерти Булгакова Бокшанская продолжала быть чрезвычайно преданной его памяти, постоянно напоминала всем и каждому о необходимости ставить его пьесы.

Ольга мечтала, чтобы её любимая сестра была благополучна, не очень-то доверяла Луговскому, писала сестре, что удивлена его "перерождению", намекая на тот разрыв, который произошел накануне эвакуации, и эгоистично мечтала, чтобы Булгакова и её любимые племянники Женя, а главное, "маленький" Сережа жили рядом с ней в эвакуации.

Несколько раз в 1942 году Бокшанская предпринимала попытки вытянуть Елену Сергеевну к себе, но судя по тому, что в одном из писем она с обидой заметила: "Ты так много пишешь о своей балахане, ценишь свое самостоятельное (хотя и голодное) существование, что я не уверена, что тебя такие перспективы могут увлечь", - её всевозможные уговоры приехать и поселиться с ней в мхатовском общежитии не возымели действия. В ответ ей летели письма с восторженными рассказами о прекрасной ташкентской балахане, с которой можно смотреть на звезды, иметь отдельный вход в две собственные комнатки.

В Москве на репетициях "Пушкина" возникли определенные трудности с прочтением пьесы, репертком продолжал делать свои замечания к тексту Булгакова, пытались даже вернуться к булгаковским черновикам. Елена Сергеевна дала на то разрешение, но Ольга Бокшанская убедила дирекцию театра, что только сама Елена Сергеевна сможет разрешить все проблемы с поправками. Она делает ей вызов от имени театра в Москву для работы над рукописью и внесения поправок (!) в пьесу "Пушкин". Для Луговского внезапный вызов, а затем и отъезд Елены Сергеевны был ударом: они вместе работали над поэмой, они, видимо, все вместе собирались уезжать из Ташкента.

Так вновь возникал Булгаков, которого Луговской любил как писателя и к которому продолжал ревновать Елену Сергеевну. Словно с того света, где сидел при свечах Мастер и писал свои чудесные книги, Булгаков ставил предел их отношениям и возвращал вдову к своим делам.

Перед её отъездом, в мае 1943 года, Луговской, заканчивая каждый день по поэме, пишет к ним посвящения: 5 мая -

"Крещенский вечерок", Елене Сергеевне, 6 мая - "Мой сон о Дербенте", мальчику Сереже Шиловскому (потом, в 1947 году, он перепосвятит "Дербент" А. Галичу), и, наконец, 7 мая "Народы, вставайте!" - самое непостижимое посвящение - М.А. Б. (то есть Михаилу Афанасьевичу Булгакову). Между прочим, эта поэма противоречила духу всего, о чем писал Булгаков.

Поэма "Крещенский вечерок", с посвящением Елене, стала итогом их отношений в Ташкенте. В то же время гадание крещенским вечером было о их дальнейшей судьбе: "Мне невдомек. А мне шутя выходит / Любовь и сплетни, а потом разлука/ На тысячи неразрешимых верст".

И лестница на балахану в центре поэмы, соединяющая и разделяющая их: "О, горестная роскошь расставанья! / Что ж проводить до лестницы. Тебя./ Подняться по ступенькам..."

Эта удивительная лестница потом оживет в стихах и таинственной драме Ахматовой "Сон во сне". А теперь две тени, которых закрутило вихрем войны, эвакуаций, потерь, прощаются друг с другом.

Мое желанье - только три ступеньки,

Что, как на небо, поднимают сердце К торжественному  
бедному уюту Ташкентской голубой балаханы.

Оттуда виден мир как на ладони:

Две крыши минометного завода,

Три тополя на улице Жуковской,

Четыре лужи под твоим окном.

Возьми её - всю жизнь - как на ладони. ...

Война и смерть, сроднили нас с тобою Так неразрывно, словно  
на погосте,

Иль на причастье, или в дальних вспышках Зенитных  
подмосковных батарей.

Не мне судить тебя, и ты не вправе Судить меня за этот  
страшный холод,

Который обжигал тебя и вечно Лежит меж нами, словно  
стылый нож.

Но ты мудрей и лучше всех на свете,

С пустяшной хитростью и беспокойством,

Беспомощностью, гордостью, полетом....

Ты для меня была прозреньем, нитью В те дальние края, где  
будет гибель.

А шубка пышет желтым куньим жаром,

И звезды льются, как ручьи по сучьям.

И плавает кораблик по тарелке,

Нам предвещающая дальний, дальний путь.

В писательской колонии, разумеется, знали об их отношениях, сплетничали, поражались разнице в возрасте.

Луговской писал о Елене Сергеевне возвышенно, и даже о её возрасте очень бережно: "Морщинка маленькая по надбровью,/ Что для других усталость или возраст,/ Сверкает, вьется надо мной как знамя, / И смысл её изведал только я/".

Итак, все уже друг другу сказано. Сережа и Елена, она же Тюпа, 22 мая 1943 года покидают гостеприимный восточный город. Татьяна Луговская подробно напишет об этом Малюгину:

"20 мая 1943 года Ташкент пустеет, уезжают последние друзья. Послезавтра едет в Москву Лена Булгакова (ее вызывает МХАТ). Очень грустно мне с ней расставаться. Во-первых, я её люблю, и она была единственным близким человеком у меня в Ташкенте, во-вторых, мне без неё будет очень тяжело справляться с моим братом (вернее, с его желанием пить водку) и выдерживать на себе всю тяжесть неврастенических и творческих напоров этого незаурядного и милого, но очень тяжелого человека. Не до него мне сейчас, признаться. А он не знает никаких полумер в своем эгоизме, эгоизме, который всегда неразлучен (к сожалению), с большой творческой жизнью.

Вот он занят уже 4 месяца своей поэмой и не хочет думать больше ни о чем. Самое смешное, что я всегда мечтала, чтобы он начал работать не для денег, а "в стол", но теперешний быт, видимо, не может так долго выдержать "чистого творчества".

Наша Поля все это называет гораздо проще, она говорит: "хозяин дурука валяет". Вообще она очень смешно говорит - помимо "дурука", ещё "втюг" (вместо уют), "уши" (вши) и т.д. Фишками она почему-то называет всех актрис".

Елена Сергеевна с Сережей ехали в Москву более двух недель. С дороги они посылали смешные открытки и телеграммы.

"1 июня 43 года Ташкент Жуковская улица дом 54 Луговскому В.А. Обратный адрес: что-то между Москвой и Ташкентом.

Володя, милый, как дела? Мы устроились хорошо, ты не волнуйся. Тюпа объелась чем-то, и у неё болит живот. Она лежит внизу, а я занимаю полку наверху. Жарко очень и душно, но ничего. Все проходит. "Все в мире суета сует..." Целую вас всех. Сергей".

"4 июня 1943

Открытка. Обратный адрес: Вагон. Скоро будет Чкалов.

4.06. - часов примерно 6 по московскому времени, 8 по местному. Вагон идет, палец на правой руке завязан - порезала ножом. С соседями полная дружба. Погода серая, холодная. Я в темненьком (коричневом, сером, зеленом) костюме (какое счастье, что его не купили!), в теплом белье. Выхожу на вокзал в оренбургском платке. На предыдущей станции купила много яиц около сотни, им кило полтора масла сливочного. Истратила все деньги (осталось только 300 рублей) и теперь спокойна. А то все руки чесались. Что-то делается в нашем домике? Что делаешь ты, Дима? Работаешь ли как следует? И все ли вообще так, как нужно? Что тетя Туша? Польша, Яшуша? Пиши мне в Москву скорей. Целую тебя и ты поцелуй от меня всю семейству. Тюпа".

"От Сергея. 4 июня 1943

Володя милый!

Как живете? Как поэма, пиши её обязательно, это замечательная вещь. Едем хорошо. Оба здоровы, жрем много, в Москву приедем толстые. Завтра будем в Куйбышеве. Послали молнию Леонтьеву, чтобы вышел на вокзал. Тюпа шлет тебе поцелуй. Я тоже. Привет всем. Сергей!"

"Телеграмма. Ташкент Жуковская 54 Луговскому Москвы 14.6.43. ехали очень хорошо прибыли порядке встречены отменно нежно целую обнимаю =тюпа"

В Москве их встретили на вокзале Ольга Бокшанская с мужем, Евгением Калужским.

У Елены Сергеевны начиналась другая жизнь.

На балахане Ахматовой Середина - конец 1943 года

Последние месяцы 1942 года Ахматова вновь балансировала между жизнью и смертью - брюшной тиф. В больнице Ташкентского мединститута (Ташми), куда удалось её устроить, был приличный уход, она стала поправляться. Наконец она получила письма от сына Левы, который отбыл к марту 1943 года заключение в лагере и устроился в Норильске на работу в экспедицию. Первое она получила в конце 1942 года. Раневская была при этом: "В Ташкенте она получила открытку от сына из отдаленных мест - это было при мне. У неё посинели губы, она стала задыхаться, он писал, что любит её, спрашивал о своей бабушке, жива ли она? Бабушка - мать Гумилева".

Из Норильска Льву Гумилеву удалось попасть на фронт и с армией дойти до Берлина. "...Во время её болезни два

счастливейших события, - писала в те дни Надежда Мандельштам, - бодрое чудесное письмо от Левы - первое за всю войну ... - и груды телеграмм и писем от Гаршина, который был вроде мужа, а в разлуке решил, что женился. Это очень хорошо".

В это время между Ахматовой и Гаршиным наметилось полное взаимопонимание, она согласилась взять его фамилию, в письмах они обсуждали детали совместной жизни, квартиру, где будут жить. С тех пор Ахматова открыто стала называть его "своим мужем".

17 января 1943 года все испытали огромную радость - пришло известие, что прорвана Ленинградская блокада. Можно было верить в то, что друзья, знакомые, родные завтра не умрут от голода и дождутся их возвращения домой.

На балахану, где жила Елена Сергеевна Булгакова, после её отъезда в конце мая в две небольшие комнатки въехала Ахматова. Одна из комнат была длинная, большая, с окном почти во всю стену. О своем новом жилище Анна Андреевна написала два стихотворения. Одно из них называлось "Хозяйка". В печатных изданиях оно всегда входило в цикл "Новоселье".

Посвящено это стихотворение Елене Сергеевне Булгаковой.

Атмосфера дворов, улиц, дома и новой комнаты - преобразуется в стихи. Здесь есть и тайна бывшей хозяйки, и тайна её, Ахматовой, обживающей новое пространство, вглядывающейся в тени. Тайна умножается тайной.

Колдунья В этой горнице колдунья До меня жила одна:

Тень её ещё видна Накануне новолунья.

Тень её ещё стоит У высокого порога И уклончиво и строго На меня она глядит.

Я сама не из таких,

Кто чужим подвластен чарам,

Я сама... Но, впрочем, даром Тайн не выдаю своих.

5 августа 1943

Ташкент Пастернак потом говорил Ахматовой, что за такие стихи в Средние века её бы сожгли на костре. А она смеясь отвечала, что сожгли бы её ещё до написания этих стихов.

"Долго я не могла понять, почему Ахматова назвала её колдуньей, вспоминала Г. Козловская. - Лишь много позднее я узнала, что в Ташкенте, вместе с Фаиной Георгиевной Раневской, она читала роман "Мастер и Маргарита" Булгакова. И кто знает, быть может, читала в этой самой комнате на балахане. Поэтому у

меня память об этом жилище наполнена двойной поэзией о двух женщинах, прекрасных женщинах, в ней обитавших".

Однако Николай Гумилев в 1910 году написал об Ахматовой:

Из логова змиева,  
Из города Киева,  
Я взял не жену, а колдунью.  
А думал - забавницу,  
Гадал - своенравницу,  
Веселую птицу-певунью.

Может быть, отсюда поэтический и в то же время немного шуточный намек на внутреннюю связь с Еленой Сергеевной Булгаковой: "Я сама... но, впрочем, даром/ Тайн не выдаю своих". Ведь и одну, и другую женщину - их мужья называли колдуньями.

Снеси-ка истому ты В Днепровские омуты,  
На грешную Лысую гору, - обращался к своей жене Гумилев.

Трудно уже представить себе, как выглядели комнатки наверху, остались ли там придуманные Еленой Сергеевной детали уюта. О "милых выдумках" она написала Татьяне Луговской в Алма-Ату, когда ещё жила в Ташкенте: "Прожила у Володи в его отсутствие Паустовская - с неделю. Очень мне понравилась. Разрисовала мне комнатку. Очень остроумно: над кроватью моей с белым покрывалом - на стене нарисовала дорожку - рисунок с покрывала. Потом ещё очаровательно - на печке сделана как бы крышка футляра мирленовских духов: тоненькая девушка в пышной юбке, с крестиком на шее. С букетом цветов и корзиной в руках. Фотографии - в рамках, нарисованных на стене. Много милых выдумок".

2 июня 1943 года Анна Андреевна писала в Москву своим друзьям Томашевским из своего нового жилища на балахане: "Я болела долго и тяжело. В мае стало легче, но сейчас начинается жара и, значит, погибель. ...

Из Ташкента в Россию двинулась почти вся масса беженцев 1941 г. С Академией наук уезжает 1000 человек.

Город снова делается провинциальным, сонным и чужим. ...

У меня новый дом, с огромными тополями за решеткой окна, какой-то огромной тихостью и деревянной лесенкой, с которой хорошо смотреть на звезды. Венера в этом году такая, что о ней можно написать поэму. А мою поэму вы получили? ...".

Во втором стихотворении - почти документальная картина нового жилища, дневниковый рассказ о встречах с друзьями, с

Козловскими, мужем и женой, которые жили в Ташкенте фактически как ссыльные. Александр Федорович был композитор, он написал музыку к операм, романсам, Прологу "Поэмы без героя", его жена - певица. Ахматова очень любила слушать романсы в её исполнении.

Как в трапезной - скамейки, стол, окно С огромною серебряной луною.

Мы кофе пьем и черное вино,

Мы музыкою бредим.

Все равно...

И зацветает ветка над стеною.

В изгнании сладость острая была,

Неповторимая, пожалуй, сладость.

Бессмертных роз, сухого винограда Нам родина пристанище дала.

Слова "Мы музыкою бредим" - об их вечерах, где звучали разговоры о музыке, которыми была пронизана "Поэма без героя". Радость от общения с восточной природой, с людьми, которые окружали её в избытке, соединялась с "острой сладостью изгнания".

Ахматова очень чутко реагировала на сияние черного восточного неба и луны, что лежит "ломтем чарджуйской дыни". Влияние на неё луны началось ещё в детстве, и не поэтически, а физически. В 20-е годы она рассказывала П. Лукницкому (первому биографу Гумилева) о своей странной особенности.

"В детстве, лет до 13-14 лет Анна Андревна была лунатичкой... Еще когда была совсем маленькой, часто спала в комнате, ярко освещенной луной. ...

А потом луна стала на неё действовать. Ночью вставала, уходила на лунный свет в бессознательном состоянии. Отец всегда отыскивал её и приносил домой на руках".

В таинственном лунном свете оживает и нарисованный на стене профиль в одной ташкентской комнате.

В том городе (название не ясно)

Остался профиль (кем-то обведенный На белоснежной извести стены),

Не женский, не мужской, но полный тайны.

И, говорят, когда лучи луны

Зеленой, низкой, среднеазиатской

По этим стенам в полночь пробегают,

В особенности в новогодний вечер,

То слышится какой-то легкий звук,  
Причем одни его считают плачем,  
Другие разбирают в нем слова.

Этот таинственный профиль по её тени обвел в своей ташкентской квартире А.Ф. Козловский. "Однажды Александр Федорович обвел, сначала карандашом, а потом углем, её великолепный профиль. Мы с ней шутили, что когда она уходит, то профиль её живет своей странной ночной жизнью. И вот однажды она принесла довольно большое стихотворение ... Потом, после её отъезда, когда профиль начал исчезать, я завесила это место куском старой парчи", - вспоминала Г. Козловская.

И венчают ташкентские лунные встречи с Козловскими стихотворение, которое Ахматова подарила им уже в Ленинграде, - "Явление луны", посвященное композитору, в память о волшебных звуках "Лунной сонаты", которую он исполнял для неё в Ташкенте.

Из перламутра и агата,  
Из задымленного стекла,  
Так неожиданно покато И так торжественно плыла,  
Как будто "Лунная соната"  
Нам сразу путь пересекла.

Возможно, что в этих строках звучит тема платонической страсти, которая возникла между ней и Козловским на мгновение. Даже Галина Козловская пишет об этом мимолетном музыкально-поэтическом романе без тени ревности.

Жизнь двора на Жуковской менялась. Многие бывшие обитатели уехали, но теперь на балахану к Анне Андреевне Ахматовой стали стекаться поклонники и подростки, которых в Доме пионеров Надежда Яковлевна Мандельштам учила английскому языку. Надежда Яковлевна решила не проводить занятия в официальной обстановке и перенесла их в домик на балахану.

Ахматова и Луговской

Татьяна Луговская оставалась с братом до отъезда из Ташкента и вместе с ним возвращалась в Москву. Атмосфера последнего года эвакуации была также печальна, иногда по-настоящему трагична, но наступило некое привыкание именно к такой, казалось бы невозможной, жизни.

"Дом на Жуковской, 54, состоял из нескольких построек - направо, налево главный особняк и строение в глубине двора, -



писала Г. Козловская. - ... В жаркие, томительные ночи почти все обитатели этого дома выносили свои постели и спали во дворе.

Однажды Ахматова озорно скаламбурила: "Все спят во дворе. Только мы с Луговским не спим во дворе".

"В том же дворе на улице Жуковской, где жила Анна Ахматова, некоторое время обитал и Владимир Луговской, отправленный в эвакуацию после недолгого пребывания в действующей армии", - писал Эдуард Бабаев, который учился в кружке у Надежды Мандельштам и поэтому появился во дворе на Жуковской только в середине 1943 года. Владимир Луговской как раз жил там с самого начала, Ахматова поселилась позже, а потом после отъезда Луговских стала жить внизу в уютных комнатках с Надеждой Мандельштам. "Он был гигант в сравнении с другими, - продолжал Бабаев, - как будто вышел только что из свиты Петра Великого. Его память была полна воспоминаниями о XVIII веке. Он расправлял в руках воображаемую грамоту и читал государев указ с закрытыми глазами: "Оного Нарышкина, сукина сына, бить плетью нещадно..."

Не знаю, был ли тот указ подлинным или вымышленным, но звучал он "зело сильно".

Луговской, рожденный в начале века в интеллигентной семье, впитавший книжную культуру, обожал русскую и зарубежную историю, он знал много языков. Но после революции у него, как и многих его сверстников, не было выбора, и он должен был принять революцию по возрасту, по молодости лет, наконец, по самой жертвенности, принесенной русской интеллигенции на алтарь революции. Те, кто родились хотя бы на десятилетие раньше: Мандельштам, Ахматова, Гумилев, Булгаков - имели большой опыт, который позволял им более объективно понимать, чем может обернуться такая жертва. Ахматова и Луговской принадлежали по рождению к одной культурной среде, в отличие, к примеру, от пролетарских поэтов - А.Жарова, А. Безыменского или М. Голодного, которым всегда было неуютно среди образованных людей.

В 1937 году, когда Сталин окончательно запутал и запугал всех понятиями "интернационализм" и "национализм", Луговской написал отчаянное, но очень искреннее письмо Павленко и Фадееву, своим товарищам по юношеским походам по Азии и Дальнему Востоку. Он пытался разобраться в происходящих катаклизмах, найти логику там, где её невозможно было найти.

29 апреля 1937 года.

"... Вы знаете, что меня жестоко проработали за стихи юношеских лет, написанные в 1923 году и вновь напечатанные в 1934 (год 1935 поставлен авансом). Дело это поставили на президиум Алтаузен и Жаров. Фактически проработка только начинается. 11 лет все читали эти стихи и ничего мне не говорили. В Раппе мне указывали на то, что в них сквозит любовь к России и вообще они с националистическим душком. Я согласился напечатать их, чтобы показать в "Однотомнике" весь путь свой от "Сполохов" до "Жизни".

А "Жестокое пробуждение" было для меня этапным стихотворением - я прощался со многим дорогим для меня в русской жизни, прощался для перехода к новым мыслям и новым задачам, к новой пятилетке. Эти стихи любили, их хвалили.

Теперь я, русский поэт, органически русский, любящий свою родину так, что и не стоит касаться этого святого для меня дела, жестоко, с огромной болью отказавшийся во имя Революции от много бесконечно дорогого для меня, - должен принять на себя обвинение в том, что я ненавидел Россию. Я сделаю это - так, значит, нужно - я верю в то, что говорит партийное руководство Союза. Но разве это правда? Я-то ещё жив и знаю, что я русский с головы до ног, верный и преданный родине человек. Объясните мне это, старые товарищи, - потому что гордость русского советского человека и поэта для меня дороже жизни. Я писал 22-летним парнем об ушкуйниках, олонецких лесах, о страшной тьме и об удали старой Руси.

И нет ещё стран на зеленой земле,  
Где мог бы я сыном пристроиться,  
И глухо стучащее сердце мое С рожденья в рабы ей продано.  
Мне страшно назвать даже имя её  
Свирепое имя родины...

А мне говорили коммунисты раньше о том, что это национализм, что я не признаю других стран, не хочу быть сыном другой страны, что у меня нет чувства интернационализма, что я с рождения отдал себя в рабы России и скрывал это, не хочу даже назвать черное от обид и жестокости имя "Русь".

В "Жестокое пробуждение" я с последней нежностью прощался со всеми юношескими чувствами к России, а мне говорили тогда, что я восхваляю её.

Но эти стихи ведь знают 8 лет все критики, писатели и много, много читателей. Они любили "Жестокое пробуждение". Теперь меня будут прорабатывать "во всех организациях", как сказано в постановлении. Но я не боюсь этого. Я одеревенел. После "Свидания", "Большевиком пустыни и весны", "Полковника Соколова" и "Кухарки Даши" мне это как русскому человеку не страшно - я вижу сейчас "Книгу доблести" о русских людях ("Соколов", "Кухарка Даша", "Комиссар Усов", "Плотник Борис" и т.д.) и любой алтаузен мне скажет, что я перестроился по постановлению президиума и пишу соответственно о родных моих по крови и Революции, потому что мне указали так писать. Разве у нас коммунисты в правлении не знают, скажем, "Кухарку Дашу" или им все равно, и не дорог человек, а дорога буква и строка? "Жестокое пробуждение" на президиуме назвали контрреволюционными стихами, а я их писал пусть глупо, пусть жертвенно, но целиком для Революции. Где же правда? Внутренняя, настоящая правда художника? Значит, не нужны ни муки, ни жертвы, ни раздумья - весь сложный и тяжелый путь художника, пусть даже совсем скромного? Скажите мне это, старые товарищи, и я буду писать, как Лебедев-Кумач, или совсем не буду писать.

"Страшная, русская злая земля" сопротивлялась всем нам. Мы её переделали, сделали своей до конца, облагородили её.

"Но ты зацветешь, моя дорогая земля, Ты зацветешь или буду я трижды проклят, - писал я в 1929 году в "Пепле". - Мы повернем тебя в три оборота, земля, Пеплом и зернами посыпая..."

Так я понимал, так я писал, потому что думал все время о своей родине, о России. Стихи "Дорога", "Отходная" и др. я включил в "Однотомник" по настоянию Багрицкого, который их любил. Он был редактором книги, он понимал их. Я понимаю и признаю, что некоторые важные стихотворения можно толковать двойственно, нужно в наши, до конца чистые, дни извлекать из книги, но ведь книга была подписана к печати в январе-феврале 1934 года (Багрицкий умер 16 февраля 1934 г.). Но дело даже не в этом. Я совсем недавно включил "Жестокое пробуждение" в новую книгу (теперь, конечно, выкину).

Дело в том, что вместо совета и помощи от Союза каждый момент можно получить оглушительный удар по самому дорогому чувству - национальной гордости человека. К сожалению, для меня эта национальная гордость - не маленькое дело. "Жившие без племени, без роду", - писал я в "Правде" о троцкистах. А я всегда

жил с племенем и с родом, об этом вы, товарищи, хорошо знаете. Русская моя земля, Революция - вот самое дорогое, что у меня есть. Мне очень тяжело сейчас, и я не знаю, как буду я писать, потому что я деревянный. Напишите мне об этом, дорогие товарищи, и поймите меня.

Я дам статью, и признаю свои ошибки, и сделаю все, что нужно, раньше, чем придет от вас ответ, и, по возможности, объясню все, что нужно объяснить, но сердце-то не металл, и если хоть одной душе на свете важно, чтобы я что-то писал потом, - она должна разъяснить мне многое.

Мне нужна не помощь и не защита, нет, нужно объяснить, иначе творческий нерв не будет работать. Вы русские люди, вы коммунисты, вы всегда были мне друзьями, вы талантливые писатели, честные люди - объясните мне.

Сейчас, перед XX годовщиной Октябрьской революции каждая строка по-особенному освещает путь писателя, и я хочу отвечать за каждую свою строку, и если она вредна - я без всякой жалости её вычеркну, половину всего, что написал, вычеркну ...".

Это письмо - свидетельство исковерканной внешней и внутренней цензурой души. "Свирепое имя родины", "страшная русская земля" - это не случайные метафоры в арсенале поэта, здесь на психофизическом уровне он выдавал те трагические взаимоотношения с несчастной, истерзанной российской землей, которые сложились у поэтов левой ориентации. Чем дальше уходил Луговской от самого себя, чем больше пытался, выслушав советы товарищей, начать работать по-новому, тем хуже он писал.

Чем с большей готовностью поэты отдавали себя в руки партийных чиновников, думая, что так надо, ругая себя за то, что уклонились с истинного пути, чего не избежал даже такой тонкий и умный художник, как Пастернак, тем больше испытывали разъедающее душу презрение к самим себе. Тот пыл, с которым они шли на заклятие, приводил к тяжелейшему похмелью во время войны. Поводья ослабли, у хозяев не было сил держать все в своих руках.

Пелена спала, и только те, кто не хотел слышать, - не слышали.

И время черным падает обвалом.

Имеющие уши, да услышат,

Имеющие очи, да увидят,

Имеющие губы, пусть молчат.

Событья, не кончаясь, происходят,

Не мне остановить поход событий.  
Но я, как прежде, населяю землю,  
Но я, как прежде, запеваю песню,  
Я это создал. Я всему виною,  
Никто моим сомненьям не поможет,  
Я все-таки, как прежде, человек.

Так Луговской писал в октябре 1943 года в поэме "Город снов", абсолютно прямо указывая на свой путь от ирреального мира к реальному. Видеть и слышать мог каждый, кто желал этого, но говорить могли, безусловно, не все.

"Когда он был пьян, то разговаривал с деревьями. Выбирал себе собеседника по росту. Был у него излюбленный собеседник - почерневший карагач у ворот. Дерево было расщеплено надвое молнией.

Иногда он приходил к Анне Андреевне и читал ей отрывок из своих новых стихов.

Анна Андреевна тогда отодвигала свой стул в тень и молча слушала его.

Сегодня день рожденья моего.

- Ты разве жив?

- Я жив,

Живу в Дербенте...

Однажды я слышал, как он читал свою поэму "Белькомб", одно из самых таинственных произведений его книги "Середины века".

Там много неясностей, недомолвок исторических, биографических и исторических. Что привело поэта в этот курортный городок в Савойских Альпах и почему такая горестная интонация?

И, главное, откуда этот страх, нарастающий как лавина, готовый поглотить весь мир:

И грохоча туманным колесом,

Пойдет лавина смертными кругами...

Страх завладевал вещами и душой мира. "И мертвые приходят ряд за рядом"... Как будто он один за всех "испугался", пережил непобедимый страх. Он был в глазах Ахматовой одним из тех, кому пришла очередь "испугаться, отшатнуться, отпрянуть, сдаться...".

Жара, жара, отчетливые гаммы,

Забыться бы, да запрещает совесть... ..

Видно, там, в Белькомбе, поэтом владело великое смятение. И началось оно ещё до войны: "Ты думаешь, что я ищу покоя?.../ Я

очень осторожен, и за мною/ Огромный опыт бедственного счастья...".

Э. Бабаев размышляет над тем, что осталось в памяти пятнадцатилетнего юноши, приходившего на балахану к Ахматовой слушать стихи и говорить о поэзии.

В основу поэмы "Белькомб" легла, как это часто бывало у Луговского, конкретная история, превратившаяся в метафору. В 1935-1936 годах он с группой поэтов проехал по Европе с пропагандистскими поэтическими вечерами, которые должны были доказать заграничной интеллигенции и русской эмиграции преимущество советской жизни и советской поэзии. В поездке участвовали И. Сельвинский, С. Кирсанов, А. Безыменский. Во Франции Луговской познакомился с очаровательной переводчицей - Этьенеттой, с которой они поехали на горнолыжную поездку в Белькомб (маленькую французскую деревушку в горах). Там буквально в нескольких метрах от них сошла снежная лавина. Они чуть не погибли, и предчувствие гибели долго не оставляло поэта. Почти сразу он попал в автомобильную катастрофу и ещё раз остро осознал границы жизни и смерти. Судьба Этьенетты оборвалась трагически. Участница французского Сопротивления, она погибла во время войны.

Но, разумеется, это была только внешняя канва поэмы. Ощущение, которое вынес поэт после поездки по Европе, было очень тревожным. Он видел и Англию, и Францию, и Германию, предчувствие грядущей катастрофы преследовало его. Но и в своей стране накатывало тупое, мертвое отчаяние жертвы, которую рано или поздно пустят под нож.

Книга, писавшаяся в Ташкенте, должна была начинаться поэмой "Верх и низ, или 1937 год". Действие поэмы разворачивалось тоже в горах, но в горах Дагестана, где в уютном и тихом пансионате правительства в одну ночь арестовывали почти всех обитателей, в основном работников правительственного аппарата и их жен. Эти люди из дагестанского правительства, приехавшие в пансионат отдохнуть, "Все кем-то преданы сейчас. А кто/ Кем продан или предан - я не знаю,/Уж слишком честны, откровенны лица, /Кто на допросе выкрикнул неправду?/ Судьба не в счет. Здесь все обречены".

Почему смерть отбирает одних и оставляет других, может быть, это просто "наша вечная неподготовленность к смерти - ученика перед экзаменом. Почему мир в 20-м веке столь зыбкий,

непостоянный? Случайно ли все происходящее с нами и где изгнанный нами Бог, незримо присутствующий в мире? - вот только часть вопросов, тревожащих героя в середине столетия.

В жизни поэтов трагедии играют особенную роль: через физическую и душевную боль художника доносится огромной силы истинный звук, прошедший сквозь его нервы и сердце. Отсюда произведения, рожденные "бездны мрачной на краю". Это "Поэма без героя" Ахматовой, - прощание с неспешным временем начала века, его героями, эпохой. Михаил Зощенко напишет не смешную, а пронзительно исповедальную "Повесть о разуме", где на глазах изумленных читателей будет препарировать свой внутренний опыт, свои интимные тайны, делая это в надежде спасти не только себя, но и других, от грядущей депрессии, отчаяния, которое охватит многих людей, психически и духовно не готовых вынести все тяжести, навалившиеся на их разрушенную войной жизнь.

25 июня 1943 года на балахане Луговской читал Ахматовой свою очередную поэму из "Середины века". Может быть, это и был "Белькомб", хотя утверждать наверняка нельзя.

"Зоя Туманова простояла у двери Анны Ахматовой целый час, не решаясь войти, потому что там Владимир Луговской читал свои белые стихи из "Середины века", - писал Бабаев. - Дослушав до конца, Зоя ушла потрясенная и написала замечательные белые стихи, начинавшиеся строкой: "Там было все, чем полон этот мир". В архиве Луговского нашелся листок, написанный аккуратным детским почерком, со стихотворением, подписанным Зоей Тумановой 25 июня 1943 года. Начиналось оно не так, как написано у Бабаева, а несколько по-другому.

Вот лето воцарилось. Тяжкий зной.  
И дни окрашены всего в три цвета:  
Зеленый, синий и алмазный. Шумно,  
Но шум не заглушает тишины.  
В густую тень бросаешься, как в речку,  
Прохладную, манящую... А выйдешь На свет - и снова  
нестерпимый зной.

Был день такой. А я вошла во двор,  
Чужой, невиданный ни разу в жизни.  
Мне показалось - там красиво,  
Впрочем,  
Не знаю, не успела разглядеть.  
По деревянной лесенке поднявшись,

Я услышала голос. Он читал Какие-то стихи. И я застыла.  
Войти не смея, не могла уйти.  
В них было все, чем нынче полон мир:  
Безвыходность сжигающего зноя И музыкальность солнечных  
лучей.

Я слушала, не двигаясь. Они,  
Хоть были и печальны, так звенели,  
Что вдруг ужасно захотелось жить:  
Писать стихи, мечтать, бродить под солнцем И родину любить  
до самой смерти.

Все было тихо-тихо. Лишь поэт Читал, невидимый и  
неизвестный мне.

Не знаю, много ль времени Прошло.  
Он замолчал. Я в тот же миг очнулась.  
Ступеньками не скрипнув, я Сбежала По лестнице и снова  
окунулась В прекрасный зной. Прохожие Смотрели,  
Как я брела по мягкому асфальту,  
Усталая, со странным выраженьем Мучительного счастья на  
лице.

Метафорическое восхождение по лестнице, в жилище поэтов, и  
спуск в реальный мир, обогащенной и счастливой, прозвучит не  
только в детских стихах Зои Тумановой.

Светлана Сомова вспоминала, что, "когда они с Ахматовой  
читали стихи на Жуковской у Елены Сергеевны Булгаковой, которая  
много помогала им обоим, - это был эстетический праздник".

Безусловно, Луговской преклонялся перед Анной Андреевной.  
Воспитанный и впитавший с детства стихи Блока, он много знал  
наизусть Гумилева, и так же, как его друг Тихонов, был под его  
влиянием.

"Трагедия его, кажется, состояла в том, - вспоминал Бабаев, -  
что он в 30-е годы придумал себе "лирического героя", придав ему  
черты "героической личности". Но при этом оставался элегическим  
поэтом, далеким от всех этих выдуманных идеалов "железного  
романтизма".

Теперь он как будто искал снисхождения у Анны Ахматовой.  
Целовал её руки, читал ей свои исповедальные стихи. Но она  
отмалчивалась. И только однажды, увидев, как Луговской вскапывал  
землю весной, после заморозков, когда зацвели деревья, сказала:

- Если вы хотите знать, что такое поэт, посмотрите на  
Луговского!



Луговской между тем перекопал уже не только грядки и цветники под окнами, но и добрую половину двора, уничтожив при этом кирпичные дорожки, которые потом пришлось перестилать заново.

А вечером его можно было увидеть на круглом чужом крыльце с наглухо заколоченной дверью. Он сидел на ступеньках, опустил крылья своего плаща, какой-то несчастный, чем-то потрясенный, как демон, в глубокой задумчивости".

Никакой творческий кризис не мог сравниться с тем внутренним разладом, который был в душах советских художников. Растерянность и страх главный мотив неофициальной, бытовой жизни литературы конца 30-50-х годов. В этих условиях возникала насущная необходимость нравственного авторитета, и, несмотря на изгнания, репрессии, смерти, в России на тот момент было два таких человека - Б. Пастернак и А. Ахматова. Нельзя сказать, что они не боялись кровавой власти, но они, в особенности Ахматова, понимали, что такое власть, и старались держаться от неё подальше. Они сохраняли независимость суждений, честность и любовь к ближнему, продолжая жить не по советским, а по христианским заповедям.

Жить как поэты могли немногие, и Ахматова всегда отличала людей, отмеченных судьбой, и очень бережно относилась к ним.

На Жуковской снова стала появляться странная поэтесса Ксения Некрасова. Она приходила к Ахматовой и в её "келью" на Карла Маркса.

Н.Я. Мандельштам в письме от 31 июля 1943 года раздраженно писала Борису Кузину: "Некрасова - юродивая поэтесса. Мусор и чудесные хлебниковские стихи вперемешку. Она живет в горах и приехала гостить к Анне Андреевне, а кстати устраивать свои дела. То есть у неё мания, что её должны печатать".

Она спала на полу в комнате Ахматовой. "Опекавшие Ахматову дамы, вспоминал Валентин Берестов, - (они получили прозвище "жен-мироносиц") советовали Анне Андреевне прогнать Ксению. Один из таких разговоров был при мне. И я помню царственный ответ: "Поэт никого не выгоняет. Если надо, он уходит сам". И я понял: для того чтобы быть и оставаться поэтом, нужно жить по каким-то высоким правилам. ... Ксения привезла Анне Андреевне свои стихи. Многие она написала уже в доме Ахматовой. Стихи стали в списках распространяться среди эвакуированных интеллигентов. Нравились они не всем. Критик Корнелий

Зелинский, как записано у меня в дневнике, назвал их "кискиным бредом".

"Некрасову, трудную, непохожую на других, она очень ценила, вспоминала Г. Козловская, - верила в неё и бесконечно много ей прощала. Так было в Ташкенте, что потом было - не знаю. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрично агрессивную было легко пихать, высмеивать и отталкивать. Но Анна Андреевна была самой прозорливой и самой доброй. Она прощала ей все её выходки, грубости, непонимание, словно это было дитя, вышедшее из леса, мало знавшее о людях и ещё меньше о самой себе".

Надежда Яковлевна Мандельштам в какой-то момент тоже поселилась вместе с Ахматовой.

10 июня 1943 года она писала Кузину: "У меня сейчас новый быт. Лена в Москве. Женя в командировке в Узбекистане. Мы с мамой у них в комнате - в центре города, на той самой Жуковской, куда вы мне пишете.

Над нами живет Анна Андреевна. По утрам я швыряю ей камушки в окно, и она, проснувшись, идет ко мне завтракать. Хозяйство у нас общее, и живем мы хорошо. Для меня, конечно, это явление временное. Вернется Лена, и я отсюда выкачусь - и это обидно. Маме будет очень плохо с Женей и Леной. Я с ужасом жду конца идиллии и благополучия".

И спустя месяц: "Анна Андреевна ушла со своей приятельницей Раневской гулять. Я мыла голову. Сажу на втором этаже в Аниной скворешне. У неё живу. Вернулась Лена. Мама у них. С Женей ссорюсь в кровь. То есть кровь бросается мне в голову, и я выкрикиваю какие-то страшные слова".

И еще: "На втором этаже прелестнейшего домика в чудеснейшем дворике живет Анна. Я её люблю. Нам вместе хорошо. Но она, наверное, скоро уедет в Москву".

Все ждали и надеялись на скорый отъезд, война откатывалась все дальше. Можно было ехать в Москву и Ленинград, но необходим был вызов, так как города были ещё закрыты. Надежда Яковлевна не надеется на вызов, очень тоскует в ожидании её отъезда. Но он будет постоянно откладываться - из-за очередных болезней Ахматовой. В августе 1943 года, сразу после отъезда Пунина, который ненадолго заезжал в Ташкент, она неожиданно заболела детской болезнью - скарлатиной. И как это с ней бывало, тяжело. "Ахматова заболела скарлатиной, и шлейф из дам около её дома исчез, - вспоминала Татьяна Луговская. - Я скарлатиной болела

в детстве. Я скарлатины не боялась и из-за этого перестала бояться и Ахматову. Каждый вечер в назначенный час, когда темнело, Надя Мандельштам кричала сверху:

"Танюшо-о-ок!" Я снизу басом: "Надюшо-о-ок!" После этой переключки я отправлялась на балахану. Свет не горел. Электричество было в это время выключено, в комнате горела коптилка, ничего не было видно, мерцающий свет и тень клубились в комнате. Анна Андреевна лежала одетая на раскладушке. Темнота страшно ободряла, темнота скрывала её строгие глаза и давала мне свободу. Не помню, что я рассказывала, помню только, что очень много смеялись. Несмешливая Анна Андреевна тоже смеялась".

Татьяна Луговская после отъезда Елены Сергеевны жила вместе с братом на Жуковской. Во дворе их оставалось уже совсем немного. Ахматова снова заболела - на этот раз ангиной. Шла третья ташкентская осень - последняя. Весной 1944 года Анна Андреевна покинула город.

Уже в Ленинграде Ахматова записала в своих дневниках: "В Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А ещё я узнала, что такое человеческая доброта: я много и тяжело болела".

Лестница Вторая половина 1943 года

Нина Пушкарская, поэт и переводчица, у которой первое время жила Надежда Мандельштам, описывала новое жилище и легендарную лестницу: "Анну Андреевну переселили в более спокойный дом на улице Жуковского (Жуковской), 54, который пощадило даже землетрясение. ... Крутая деревянная лестница с девятнадцатью шаткими ступенями вела в просторную мансарду, разделенную на две комнаты.... Главную меблировку составлял большой дощатый стол на козлах и такие же грубые скамейки. Эту комнату Анна Андреевна назвала трапезной, хотя трапезы здесь были редки. Трапезная сообщалась с узкой комнатой-пенальчиком в одно окно. Там, вдоль перегородки, изголовьем стояла кровать. Поодаль, в углу, небольшой то ли стол, то ли тумбочка с маленьким зеркалом".

Обе квартирki в Ташкенте - и на Карла Маркса, и на Жуковской - были на втором этаже, и чтобы попасть в них, надо было подняться по наружной лестнице вверх. Балахана, на которой поселилась Анна Андреевна Ахматова после отъезда Булгаковой, была более уютным местом, чем предыдущее. С лестницей на улице

Жуковской связаны образы стихотворений и пьесы "Энума элиш, или Сон во сне" Ахматовой.

Несколько раз в заметках Татьяны Луговской было описано восхождение на балахану, но всегда по-разному.

"- Танюшок! - неся с балаханы голос Нади.

- Надюшок, - отвечала я басом снизу и минут через пять уже скрипела по лестнице к ним на балахану. Горел ночник - фитиль в маленькой бутылке. Прячась за темноту, я начинала рассказывать и изображать, уже не боясь Анну Андреевну. Фитиль иногда вздрагивал, вырывал из темноты Надину кофту или античную ступню Анны Андреевны, которая лежала на раскладушке, - маленькую и ровную, не только без мозолей, но и без малейшего повреждения. Закинув руки за голову, она была повержена скарлатиной на раскладушку".

В дни болезни Ахматовой Т. Луговская записала за ней Эпилог к "Поэме без героя" и, видимо, тогда же услышала рассказ о странной пьесе "Сон во сне", действие которой происходило на лестнице, под лестницей. В пьесе причудливо перекликались герои, положения и интонации булгаковского "Мастера". Присутствие Ахматовой в комнате "колдуньи", странная тень которой "стояла у порога", несомненно, оживала в той пьесе.

Под лестницей, ночью, в душном восточном городе, в 3-м действии пьесы происходит суд над главной героиней.

"Эту пьесу я помню очень смутно, - писал Э. Бабаев. - Там был такой эпизод - под лестницей.

Секретарша стояла перед своим столом под лестницей, а за её столом лежала раскрытая книга исходящих и входящих. Каждому, кто к ней подходил, она говорила: "Распишитесь!" - и, не оглядываясь, указывала в книге, лежащей у неё за спиной, нужную графу. Но к чему относился этот эпизод, я не знаю: пьеса была фантастическая, вроде "Мастера и Маргариты".

Название трагедии "Энума элиш" восходит к культовой трагедии или песне, основанной на вавилонском мифе о сотворении мира. Дословный перевод означает - "Когда вверху", первые слова ритуальной песни, исполнявшейся во время празднования вавилонского Нового года.

Метафорический смысл названия "Когда вверху" для слушателей Ахматовой был очевиден, "вверху" находилась власть, которая всем распоряжалась.

В пьесе было три части: 1) На лестнице, 2) Пролог, 3) Под лестницей. Писалась в Ташкенте после тифа (1942 г.), окончена на Пасху 1943". (Читала Козловским, Асе, Булгаковой, Раневской, Тихонову, Адмони.)

Главная слушательница пьесы Надежда Яковлевна Мандельштам описала её в своих мемуарах наиболее ярко. Она присутствовала ещё при зарождении замысла, до того как пьеса была уничтожена.

"Ташкентский "Пролог" (Сон во сне) был острым и хищным, хорошо утрамбованным целым. Ахматова перетащила на сцену лестницу балаханы, где мы вместе с ней потом жили. Это была единственная дань сценической площадке и формальному изобретательству. По этой шаткой лестнице спускается героиня её разбудили среди ночи, и она идет судиться в ночной рубашке. Ночь в нашей жизни была отдана страху .... Напряженный слух никогда не отдыхал. Мы ловили шум машин - проедет или остановится у дома? - шарканье шагов по лестнице - нет ли военного каблука? ... Но, ложась в постель, мы почему-то не раздевались. Не пойму, как мы не приучились спать одетыми - несравненно рациональнее. И героине "Пролога", то есть Ахматовой, не пришлось бы идти на суд в ночной рубашке. Внизу, на сцене, стоит большой стол, покрытый казенным сукном. За столом сидят судьи, а со всех сторон сбегаются писатели, чтобы поддержать праведный суд. У одного из писателей в руках торчит рыбья голова, у другого такой же пакет, но с рыбьим хвостом. .... Писатели с пайковыми пакетами и рукописями мечутся по сцене, наводя справки относительно судебного заседания. Они размахивают свернутыми в трубку рукописями ("Не люблю свернутых рукописей. Иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба Архангела"). Они пристают с вопросами, где будет суд, кого собираются судить и кто назначен общественным обвинителем. Они обращаются к друг другу и к "секретарше нечеловеческой красоты", которая сидит на авансцене за маленьким столиком с десятком телефонных аппаратов. Писатели демонстрируют секретарше свою готовность идти на суд и приветствовать все несомненно справедливые решения судей. Все распределение благ всегда проходит через секретаршу, следовательно, она лицо важное. В её руках квартиры, пайки, дачи, рыбьи хвосты и головы. "Секретарша нечеловеческой красоты" отмахивается от пайковых писателей и на все вопросы отвечает стандартной, но ставшей знаменитой фразой: "Не все сразу - вас много, а я одна". У

Ахматовой был отличный слух на бытующую на улицах и учреждениях фразу. Она их подхватывала и бодро употребляла: "Сейчас, сейчас, не отходя от кассы..."

Открывается заседание. Весь смысл происходящего в том, что героиня не понимает, в чем её обвиняют. Судьи и писатели возмущены, почему она отвечает невпопад. На суде встретились два мира, говорящие как будто на одном, а на самом деле на разных языках".

Драма была сожжена после возвращения в Ленинград. В своем странном фантазмагорическом тексте Ахматова почувствовала угрозу, ей показалось, что она пророчит себе, что не раз уже бывало, какую-то беду. Несчастье не замедлило явиться: вышло постановление 1946 года, где клеймили её и Михаила Зощенко; был вновь арестован бывший муж Николай Пунин и сын Лев Гумилев.

Ремарка к 3-й части. Под лестницей. "Перед упавшим занавесом с грохотом съезжаются половины большого стола под зеленым сукном. На столе графины, стаканы, карандаши, блокноты и т.д.

Выходят (отовсюду) участники собрания и садятся за стол. Из-за железного занавеса выходит Х. Она в ночной рубашке, длинные темные волосы распущены, глаза - закрыты.

Вносят портрет Сталина и вешают (ни на что, просто так) на муху. Портрет от ужаса перед оригиналом держится (ни на чем) на мухе. Призраки в окнах театра падают в обморок.

Вбегает сошедший с ума редактор с ассирийской бородой. Ему кажется, что телефонная трубка приросла к его уху и его все время ругает некто с грузинским акцентом".

В цикле "Новоселье", посвященном Ахматовой жизни на Жуковской, есть стихотворение, явно написанное под впечатлением приезда Николая Пунина в сентябрьские дни в Ташкент.

Пунин делился впечатлениями от той поездки с Харджиевым, их общим другом, находящимся в Москве. "Месяц тому назад был в Ташкенте у Анны Андреевны и прожил в её доме тихих восемь дней в полной дружбе. Все простили друг другу, как и нужно людям. Она показалась мне вполне здоровой и была бодра и очень ласкова".

Пунин выехал из блокадного Ленинграда больным дистрофией, с ощущением близкой смерти; все счеты, взаимные обиды заслонило огромное общее горе, та любовь, которая была между ними и, видимо, ещё тлела в душе Пунина. Ему очень неприятно было, когда Ахматова говорила о Гаршине "мой муж", он писал в

дневнике, что, наверное, она говорит так специально, чтобы показать ему, что между ними уже ничего невозможно, и чувствовалось, что слова эти он пишет с нескрываемой горечью.

Встреча Как будто страшной песенки Веселенький припев  
Идет по шаткой лестнице,

Разлуку одолев.

Не я к нему, а он ко мне

И голуби в окне...

И двор в плюще, и ты в плаще По слову моему.

Не он ко мне, а я к нему

Во тьму,

Во тьму,

Во тьму.

Возможно, что в этом загадочном стихотворении Ахматовой спуск по лестнице вниз - спуск в некий уже отдаленный во времени "подвал памяти", возврат к прошлому.

"Песенка страшная", "лестница шаткая"... Они случайно встретились с давним мужем и возлюбленным на этой лесенке, и, возможно, только на мгновение.

Дети и подростки

В Ташкенте жили дети писателей, поэтов, ученых, просто эвакуированных. Многие из этих детей и подростков сами стали талантливыми поэтами, писателями, учеными. Дух той ташкентской жизни они не забыли никогда.

"В Ташкенте существовала такая организация - ЦДВХД - Центральный дом художественного воспитания детей. Сокращенно: вездеход, - писал Э. Бабаев. - Здесь, в этих залах и кабинетах, на площадках под деревьями, собирались маленькие музыканты, художники, певцы, гимнасты, фехтовальщики и поэты. Их искали и находили по дворам, по школам.

Вездеход попевал повсюду, видел и слышал всех. Он был спасателем, наставником, верным другом, был нашим Лицеом.

А помещался он в правом боковом флигеле Дворца пионеров, занимавшего настоящий дворец великого князя. Здесь устраивались театральные и литературные вечера".

В этом Дворце пионеров преподавала Лидия Корнеевна Чуковская, она занималась с детьми литературоведением. Надежда Яковлевна Мандельштам преподавала иностранные языки, а Татьяна Александровна Луговская - рисунок и живопись. В письме Малюгину Татьяна Луговская писала ещё в начале 1942 года:

"Работаю я в одном богоугодном детском учреждении (ЦДХВД), весьма скудно вознаграждающем меня во всех своих статьях. Вся прелесть этой работы заключается в том, что у меня остается свободное время, которое я могу тратить на живопись и ещё другую, менее полезную, но гораздо более прибыльную деятельность: продаю свои тряпки. И мое неожиданное "разбогатение" объясняется удачей именно на этом фронте моей деятельности". Неизвестно, встречался ли с Татьяной Луговской в Доме пионеров будущий поэт Валентин Берестов, который попал в Ташкент мальчиком. В дальнейшем он стал очень близким другом Татьяны Луговской и её мужа Сергея Ермолинского, а жена Берестова, детская художница Татьяна Александрова, была её ученицей.

В Ташкенте Валентин Берестов вел дневники, которые потом стали основой книги воспоминаний. Вместе с Эдуардом Бабаевым, будущим известным литературоведом, автором книг о Толстом, они ходили в кружок к Лидии Корнеевне и Надежде Яковлевне. Потом занятия были перенесены на балахану, где началась дружба мальчиков с Ахматовой. Валентин Берестов в Ташкенте страдал от дистрофии и много болел. Его спасло знакомство, а затем дружба с Чуковским. "Меня с помощью Чуковского подкормили, вылечили, обули, зачислили в лит. кружок и вместе с юными художниками, питомцами Абрама Эфроса и Елены Михайловны Фрадкиной, ... и двумя школьниками, писавшими стихи и прозу, Эдиком Бабаевым и Зоей Тумановой, передали в ЦДВХД. Там дали нам карточки в столовую, 200 рублей стипендии и двух преподавательниц. Одна из них - Лидия Корнеевна Чуковская, румяная, с юными сияющими близорукими глазами, но совсем седая. Мы не знали, что её мужа расстреляли, а брата убили на фронте. ...

Другая преподавательница - Надежда Яковлевна Мандельштам. В кожанке, носатая, быстрая, с вечной папиросой во рту. Похожа на нестарую и, скорее, добрую Бабу-Ягу. В пустом классе школы имени Шумилова, арендованном ЦДХВД, она усадила нас троих за столы: "Ну, вундеркинды проклятые! Поэтов из вас не выйдет. Но я обязана заниматься с вами, а то останусь без карточек на хлеб и без зарплаты. Получать их зря не хочу. Кем бы вы ни стали, иностранный язык вам не помешает. Какой язык хотите изучать?"

Надежда Яковлевна на выбор предложила им французский, немецкий, английский. Они решили изучать английский язык.



Некоторое время к Надежде Яковлевне ходил и Мур Эфрон. У неё Бабаев и Берестов познакомились с этим необычным юношей, который, однако, близко ни с кем не сходил. Иронично и зло в мае 1943 года он пишет об этих занятиях: "...зашел в литкружок при ЦДХВД, руководимый женой - кажется, первой - Мандельштама. Это женщина - длинноволосая, с выдающимися скулами, с толстенными губами и кривоногая. Эх, потеха! Говорит она проникновенно, взрывами (я смеюсь: поэтический мотоцикл!). Бесконечные разговоры о стихах, искусстве, жизни, войне, родине, чувствах, культуре, прошлом, будущем, чести... Уф! И все это с большой буквы. Неизлечимая интеллигенция, всегда ты будешь разглагольствовать! Я ненавижу все эти словопрения; только опыт жизни, жизненная практика может чему-либо научить, а говорить с 16-18-летними детьми о таких материях - пустое и ненужное дело. И я стараюсь придать легкий тон всем этим нелепым заседаниям, пуская шутки, остря и смеясь напропалую. Лучше смеяться, чем переживать - и мой легкий скептицизм, и природная склонность к иронии всегда разряжают атмосферу..." Не правда ли, будто Печорин писал эти строки? И что за ирония судьбы, именно пресловутый "опыт жизни, жизненная практика" унесут этого злого подростка.

17 августа 1942 года, за год до описываемого похода в кружок, не успев ещё узнать смешных интеллигентных мальчиков, он писал сестре ещё более жесткие строки: "У меня окончательно оформилась нелюбовь к молодежи. У молодежи я увидел несколько очень отталкивающих черт: невежество, грубость, пренебрежение ко всему, что вне своего "молодежного" круга интересов. Молодежь просто уродлива".

И все-таки Эдуард Бабаев и Валентин Берестов считали Мура своим товарищем и даже пытались выпускать с ним рукописный журнал под названием "Улисс".

"Нас было трое, - писал Бабаев. - Встретились, познакомились и подружились мы во время эвакуации в Ташкенте. Самым старшим среди нас был Георгий Эфрон, или Мур, сын Марины Цветаевой, ему тогда исполнилось шестнадцать.

Мы читали друг другу свои стихи, обменивались книгами, спорили, когда и где откроется второй фронт. Мур написал статью о современной французской поэзии, которую Алексей Николаевич Толстой одобрил и обещал напечатать в журнале "Новый мир". Валентин Берестов уже читал свои стихи по радио, и его слушала

вся ташкентская эвакуация. А я, начитавшись "Римских древностей", сочинял роман из античной истории. ...

Дом, в котором жил Мур, казался мне Олимпом. Здесь можно было бы собрать материалы для добрых десяти номеров журнала. А Мур посмеивался над моими иллюзиями. И говорил, что Олимп имеет ещё другое наименование и в просторечии называется "лепрозорием". ... Но смех его был невеселый. Он был похож на Подростка из Достоевского, потрясенного неблагообразием какой-то семейной тайны. И в доме писателей, на "Олимпе" или в "лепрозории", он был одинок. Я видел, как он медленно, как бы нехотя, поднимается по лестнице в свою фанерную комнату".

Мур покинул Ташкент 27 сентября 1943 года, а в конце мая 1944 года его отправили на Западный фронт.

"В конце апреля 1943 года, - вспоминал Валентин Берестов, - Надежда Яковлевна Мандельштам перенесла занятия английским языком из школы имени Шумилова на Жуковскую, 54, где они с Ахматовой теперь поселились". Тут закралась небольшая неточность, потому что Ахматова появится на Жуковской только после отъезда Елены Сергеевны, то есть в самом конце мая, а сама она в дневнике указывает 1 июня, что, видимо, и соответствует действительности. Надежда Яковлевна жила тогда с больной матерью на Жуковской и звала детей заниматься на дом, так как не могла её оставить. "Их новое жильё (сначала они жили вверху, на так называемой "балахане", потом внизу), - продолжал Валентин Берестов, - было неподалеку от школы. Весь апрель три ташкентских школьника-стихотворца, стипендиаты ЦДВХД Эдик Бабаев, Зоя Туманова и я, проявляли невероятные успехи в английском".

Вниз Ахматова переехала, видимо, в начале декабря, Луговские выехали из Ташкента из своих двух комнаток 1 декабря 1943 года.

Когда занятия проходили уже у Ахматовой на балахане, у всех учеников были свои места. По воспоминаниям Берестова все выглядело так:

"За столом в кухне-аудитории у нас теперь были свои места. У окна Ахматова и Эдик, напротив - я и Надежда Яковлевна, Зоя - в торце стола. Появлялись Пушкарская, Светлана Сомова (она называла нас пажами у царицы Ахматовой). Все речи - о поэзии, о войне".

На Пушкинской улице, в общежитии Академии наук, в доме НКВД, жили и другие замечательные подростки, например Михаил

Левин, будущий физик-теоретик. Он писал в письме о своем ташкентском знакомстве: "Меня недели три тому назад познакомили с одним мальчиком. Зовут его Женя Пастернак. Он сын Бориса Пастернака, и ему 18 лет. А мать его художница. Помнишь, "художницы робкой, как сон, крутолобость". Сам Женька, как это ни странно, физик 1-го курса. И он очень хороший. Весь какой-то звенящий, и страшно похож на отца. Даже головой и движениями. Мы с ним очень подружились за это время". Несмотря на свой ещё юный возраст, Михаил Левин стал другом не только писательских детей, но и их отцов. Сын Всеволода Иванова, Кома, вспоминал о знакомстве с Мишей Левиным: "Молодой человек оживленно разговаривал с Женей. Для меня они были как бы из другого мира: уже студенты, а мне не было ещё 13 лет. Вскоре Женя его привел к нам. Миша Левин к нам зачастил. Вечером, когда отец (Всеволод Иванов) кончал работу и ежедневное чтение (мы привезли с собой тюк его любимых книг), вся семья выходила во двор Сельхозбанка, где росли садовые деревья и было прохладнее. Выносили во двор стулья, рассаживались, вечеряли".

Женя Пастернак с мамой жили недалеко от Пушкинской улицы в маленьком одноэтажном доме, где до этого был Сельхозбанк, отданный эвакуированным писателям. "Нашими соседями, - вспоминал Е.Пастернак, - оказались Ивановы, напротив через коридор - Фрида Вигдорова с детьми. Вода и все прочее было во дворе, общее. Нам отдали комнату Кирсанова, откуда они с женой недавно уехали. Она была перегороджена свежей глиняной переборкой надвое, из сырой глины росли разные растения. Кирпичная печурка хорошо тянула, и у нас был мешок картошки. Ежедневно я носил маме обеды - тарелку баланды - из студенческой столовой". Жили молодые люди обсуждением новостей с фронта, книг, пересказывали друг другу письма с разными печальными и обнадеживающими известиями. Осенью 1942 года Миша Левин вернулся в Москву и пришел к Пастернаку с новостями из Ташкента: "...Я привез Борису Леонидовичу письма Евгении Владимировны и Жени с небольшой посылкой: сушеные ломти дыни и ещё какие-то сухофрукты .... Пошли расспросы о писательской колонии в Ташкенте. К его удивлению, я мало кого знал лично. И он даже по-детски как-то обиделся, узнав, что я не был знаком с А.А. Ахматовой и могу рассказать о ней только с чужих слов. Зато о В.В. Иванове и его семье выпросил все...". Михаил Левин в июле 1944 года был арестован, его сослали в

"шарашку", потом освободили по амнистии. Письма, посланные им из Ташкента, отличались невероятной смелостью. "Только в таком городе, как Ташкент, могут быть на одной улице два дома с одинаковым номером. Очевидно, в другом доме читают твои письма, любят твой остроумие, а может быть, вывешивают их в золоченых рамках на стену. ... А живем мы в доме НКВД. По ночам в комнаты заходят духи и призраки замученных. Ныне живущие НКВДы проявляют о нас трогательную заботливость. Вчера к вечеру учинили нечто совсем необычайное - дали сласть к празднику".

В ожидании вызова

Конец 1943 - начало 1944 года

Все более мерещился отъезд в те летние и осенние дни 1943 года. Только и слышно было друг от друга, кому и когда прислали приглашение в Москву.

Надежда Яковлевна горестно пишет Борису Кузину 29 августа 1943 года: "Уедет Анна Андреевна, уехали более или менее все, с кем мы здесь водились. На днях уезжает Раневская - киноактриса. Приятельница Анны Андреевны, которая вначале меня раздражала. Сейчас нет. Она - забавная. Показывает всякие штучки. Остается только сломанная дочь Корнея Чуковского. Это омерзительное семейство, и дочь, вместе с которой я служу, меня сильно раздражает, главным образом за то, что очень высоко держит знамя русской литературы, чести, доблести и пр., а при этом... Ну её к черту. ..." Перепад в настроениях Надежды Яковлевны, как обычно, был очень сильным, от симпатий к антипатиям, она легко попадала под власть интриг и наговоров, и её отношение к человеку могло изменяться кардинально. Трагическая атмосфера подозрительности, поиск сексотов среди дальних и ближних делали свое дело.

В середине 1943 года Надежда Мандельштам переживала тяжелейший разлад с братом и его женой; их мать все более теряла разум, говорила, мечтала только о еде. "Мама очень слабеет, - писала она своему другу Б. Кузину. Это - тень. Крошечный комочек. Сердце сдает. Ноги опухли.... Наш способ жизни - 1, 2 карточки в столовые - и живем "обедами". Так живут почти все служащие. Так живу и я. Я из кожи лезла, чтобы прокормить маму. Но мама голодала. У неё голодный понос, распухшие ноги.

Женя получал писательские пайки - у него не столовые, а дома обед. У него десятки килограмм овощей, рису, мясо. Всю зиму - масло, фрукты.

Я с удивлением убедилась, что он ничего не дает маме. Я говорила, напоминала. Он объяснял, что Лену это нервирует ....

Чтобы не расстраивать себя неприятным зрелищем, он не ходил к маме. Он был у неё 3-4 раза за полгода, что я живу отдельно (очень далеко на окраине). Я говорила, что мама голодает, но они с Леной не верили - Лена просто кричит, что она жадная старуха. Они откупались от меня: после службы я бегаю по урокам. 2 раза в неделю в течение четырех месяцев (с ноября после болезни Анны Андреевны) - я ночевала у них, и они меня кормили обедом. ...

Мы жили без мыла. Мама вшивела, болела. Меня буквально спасала моя хозяйка - Нина - и едой, и заботой. ...

Я всегда очень любила Женю.

Что мне делать?

Мама непрерывно требует еды. Она, в сущности, впала в детство".

Трагически различались две семьи, Хазиных и Луговских, по отношению к умирающим матерям. Н.Я. Мандельштам приехала в Ташкент с матерью, надеясь на поддержку брата, которого очень любила. Сама она непрерывно работала, жила первое время на окраине города у переводчицы Нины Пушкарской. Ей приходилось бегать из Дома пионеров кормить больную мать и после этого возвращаться обратно. Возможность жить на Жуковской да ещё приводить учеников непосредственно в дом несколько облегчала жизнь. Но Евгений Яковлевич Хазин с женой были людьми бездетными и очень эгоцентричными. Елена Михайловна любила знаменитостей, в Москве держала небольшой салон, пыталась и в Ташкенте вести светскую жизнь. Но приехала больная старуха, возникла необходимость делиться пайком.

Надежда Яковлевна 8 сентября пишет Борису Кузину: "Пищу кратко. Вот положение. Мама лежит. Она медленно умирает. А после этого она сидит, ест, живет. Сейчас уже почти не говорит. Отходить от неё нельзя хотя бы потому, что она не умеет сама садиться на горшок.

Анна Андреевна уезжает в Москву в конце сентября одновременно с Женей и Леной. Все москвичи уже уехали.

Скоро я останусь в Ташкенте одна ...".

Мама Е.Я. Хазина и Н.Я. Мандельштам умерла спустя десять дней. "Она не болела, а угасала. Звала меня. Была совсем холодная, и мои руки обжигали её. ... Боже, Борис, как мне скучно без нее. Пусто и скучно. А ведь она ничего не понимала. Была совсем как

ребенок. Уже давно". Похоронив её, Хазин с женой уехали, у Н.Я. Мандельштам, фактически ссыльной, не было никакой надежды на вызов в Москву.

А Луговской писал свою книгу с каким-то невероятным упрямством и надеждой закончить её именно здесь.

"Брат мой загуливает понемножку, что не мешает ему быть довольно милым парнем и писать (написал уже больше 20 глав) интереснейшую поэму. Просто даже, мягко выражаясь, очень большая и талантливая вещь", - писала Малюгину Татьяна Луговская 1 октября 1943 года.

Луговской радостно сообщил Тамаре Груберт: "Живу я, благодаря Бога, сносно и работаю много в кино для дела, над поэмой для души. Поэма гигантская, она теперь уже в 21 раз больше "Жизни", а конца ещё не видно. Такого творческого прорыва ещё не испытывал. ... Пишу сейчас самое лучшее, самое человеческое и подлинное, что мне дано за всю мою жизнь - поэму "Книга Бытия". Написал 19 глав. Будет 50 глав. Живу как птица, но судьба милостива еще".

Эдуард Бабаев писал, что однажды Луговской пришел к Ахматовой в неурочный час из-за того, что в Ташкент приехал его младший друг, ученик и соратник и будто бы не захотел его видеть. Что расстроило Луговского до слез. Тут, безусловно, имелся в виду Константин Симонов. Правда, непонятно, о каком приезде шла речь, так как в архиве сохранилась телеграмма Симонова из Алма-Аты с просьбой встретить его на вокзале в Ташкенте. "Приезжаю семнадцатого - новосибирским если можешь - встретить - Симонов". Впрочем, все возможно. Бабаев рассказывает, как нетрезвый Луговской пришел к Ахматовой с томиком Пушкина в руках. Он читал перевод из Горация:

Кто из богов мне возвратил Того, с кем первые походы И  
браней ужас я делил,

Когда за призраком свободы Нас Брут отчаянный водил.

Это было похоже на какую-то исповедь, с раскаянием и торжеством над своей судьбой.

Ты помнишь час ужасной битвы,

Когда я, трепетный квирит,

Бежал, нечестно бросаю щит,

Творя обеты и молитвы.

Луговской задыхался, когда повторял эти страшные строки: "Как я боялся, как бежал..."

Он стоял в дверях комнаты Анны Андреевны, а со двора его окликала Светлана Сомова ....

Луговской захлопнул книгу и сказал:

- Вот что я должен был написать!

Но когда Луговской ушел, Анна Андреевна сказала, что такие стихи пишут только очень сильные люди. ...

Потом она говорила о коварной роли "лирического героя" в жизни многих поэтов 20-30-х годов. И, между прочим, вспоминала статью Иннокентия Анненского "Мечтатели и избранники", где сказано: "Кроме подневольного участия в жизни, каждый из нас имеет с нею, с жизнью, чисто мечтательное общение".

Кажется, мысль Анны Андреевны состояла в том, что среди поэтов-воинов "избранником" был Гумилев, у которого оказалось много подражателей. Луговского она как будто относила к числу "мечтателей" с горестной судьбой".

Ахматова, видимо, многое понимала именно в психологическом складе поэта и не могла обмануться ни внешностью, ни словами. Луговской был поэтом нервического склада: начиная с середины 20-х годов в своих письмах он постоянно жалуется на нервные болезни, ездит лечиться на юг от расстройства нервов. Походы, путешествия, резкие перемены в жизни были попыткой придать себе тот облик поэта-воина, о котором говорила Ахматова.

У Луговского горестная мечтательность лирика, "унижающего", по словам Гумилева, "душевной теплотой", прорвалась до войны, в цикле стихов "Каспийское море", в "Алайском рынке" придав абсолютно иное направление его жизни и творчеству.

Я вся погружена в прошлое...

Елена Сергеевна доехала до Москвы 20 июня 1943 года. Она подробно рассказывала обо всем, что встречалось на её пути, давала смешные дорожные советы, чтобы Луговские могли воспользоваться её опытом. Несколько писем из Москвы приводятся почти целиком; она скрупулезно рисует детали забытого московского быта, своего душевного состояния, общих дел. Елена Сергеевна старается донести до Луговского атмосферу столичной жизни, по которой обитатели Ташкента безумно стосковались. Наверняка, когда её провожали, ей сто раз повторили на прощание, чтобы писала обо всем, ибо им дорога любая мелочь.

Елена Сергеевна - Владимиру Луговскому "Мой дорогой, сначала нечто вроде отчета: поездка, прибытие, речи, дела, Пушкин, Москва, люди, выводы.

Дорога прошла даже как-то удивительно легко, я ведь плохо переношу её вообще. Спутников приятных не было, только соседка, показавшаяся в Ташкенте стервой (молодая, в тюбетейке), оказалась симпатичной. Зато другая, старуха, оборотилась совершенной сволочью. Соседа, развязного молодого человека, сняли через два дня с поезда (замели), так как он ретиво занимался тем, что продавал за деньги чай в большом количестве. Весь вагон одобрил это действие милиции. Ну, а за всем этим сначала - пустынный Казахстан, богатые станции, на которые население выносит яйца, масло, молоко, простоквашу в большом количестве и очень дешево (первые руб. по 8-10. Второе - от 350 до 400 и третье - как и яйца, в той же цене), - это специально для Поли справка. Потом с необыкновенным волнением и радостью начинаешь видеть, как зеленеет земля, как покрывается кустиками, кустами, деревьями, рощами, лесами. Вспоминала, конечно, при этом: "А в темных окнах реяли, летели, клонились, кланялись и поднимались снова беспмятные полчища деревьев..."

Богатство земной коры связано с удорожанием продуктов: чем ближе к Москве, тем дороже цены, примерно они становятся как в Ташкенте, а главным образом, все желают менять на соль.

Очень волнуешься при последних минутах или часах. Когда поезд начинает бежать без остановок на маленьких дачных станциях, а названия их все же мелькают перед глазами, напоминая всякие веселые минутки жизни, когда напалзают сумерки и в окне появляются совершенно невероятные по окраске дымчатые, серебристые картины, какой-то неожиданный Париж, который я, правда, знаю только по импрессионистам, - тогда только становится понятным, что это такое - возвращение в Москву, на родину, на родину, в Итаку...

Поезд запоздал, встретили меня только Калужские (Нежный разминулся в дороге), по дороге домой машину несколько раз задерживал патруль (после 12 ночи нельзя ехать без разрешения), я объясняла, в чем дело, и очень корректно, просмотрев документы, откозыряв, нас пропускали.

Сергей и шофер носили вещи наверх, я сидела в машине, размышляя о том, как тоскливо из-за отсутствия света, о том, что нужно будет скорее продать всю обстановку и уехать куда-то, где



нет затемнения, - поднялась наверх, вошла в свою квартиру и поняла, что никогда я не уеду отсюда, что это мой дом.

Я вся погружена в прошлое, просматриваю архивы, письма, книги, альбомы, просто сижу и смотрю вокруг. Ольга предложила мне обмен квартиры, я отказалась. Я не уеду из этой, она моя.

Люди встречаются необыкновенно приветливо, горячо. Я так привыкла к этому, что когда кто-нибудь, вроде Ив. Титова или ещё кого-нибудь из далеких в театре людей, встречают без энтузиазма, - я вроде удивляюсь. Обычно же это - объятия, расспросы, радости и восторги. Считают либо что не изменилась, либо что похудела, что к лучшему.

Люди в большинстве случаев очень похудели, постарели, посерьезнели. Один Саша Фадеев все тот же, внешне несколько не изменился, так же бодр, весел и смешлив. Оля решительно изменилась. Ну, конечно, смерть Немировича сказывается сильно. Но, кроме того, у них с Калужским совсем чужие отношения, и это трудно. Мне, например, очень тяжело бывать у них в доме, а вместе с тем Оля очень хочет меня видеть чаще, я - единственный человек, с которым ей легче, и посмеемся иногда, когда я ей начну рассказывать всякую ерунду или показывать какие-нибудь штуки. Она и Женя Калужский внешне похудели, а душевно - состарились, нет ни былых Жениных анекдотов, пеня в помине. Между собой они почти не разговаривают. В доме тихо, только игра с насекомыми изредка внесет искусственное оживление в день".

Ольга Бокшанская, сестра Елены Сергеевны, пережила тяжкую драму: умер Немирович-Данченко, она была ему невероятно предана, с уходом этого, уже очень старого человека в ней что-то надломилось, она умерла спустя три года после войны, в 1948-м.

"Вильямс, Виленкин, Конский, Леонтьевские дамы (за исключением некоторого постарения), Нежный, Леонидовы - без перемен. Дмитриев - очень, ужасно постарел и похудел. У него определена язва желудка, и это видно сразу. С Мариной я ещё не виделась, но условилась, что позову скоро. Дмитриев очень обижен на меня, так как я ещё не успела за две почти недели его позвать. Евгений Александрович - блестящий генерал, вчера был у меня вечером, я его позвала, чтобы поговорить о Сереже, - был очень свеж и мил, а дома - в первый раз, когда виделись, - устал и мрачноват. Обещал завтра съездить разузнать, нельзя ли Сергея определить в какую-нибудь военную школу. Пока же Сергей

поступил в какой-то экстернат при Инженерно-строительном институте".

Здесь перечислены почти все друзья Булгакова последних лет. Вильямс художник МХАТа, Виленкин - завлит МХАТа, Конский - актер, Леонтьевские дамы - все это околomхатовская публика. Дмитриев, художник Большого театра, близкий к Булгакову человек, он умер сразу после войны.

Евгений Александрович - бывший муж Булгаковой, отец её сыновей - Жени и Сережи. У Сергея наступал призывной возраст, Шиловский устраивал его в военное училище в Кировской области.

"Была на Пушкине... (единственное зрелище, - вообще же отказываюсь от всяких других). Спектакль мхатовский, и если бы дать настоящую Наталью, скажем, Тарасову, хотя бы чтобы была красива и обаятельна (а она очень похудела - к лицу, помолодела и к тому же влюблена в одного генерала), и настоящего Дантеса, так как Массальский стал играть какого-то смазливового, сентиментального офицера провинциального, а не убийцу - Дантеса, - то получился бы просто чудесный спектакль. Есть ошибки и у режиссера, и у художника, которые я им заметила. Сговорились с Месхетели и со Станицыным, что устроим разговор специальный о моих впечатлениях о спектакле. На самом же спектакле меня вызывали и женщины (Пилявская - очень хорошая Александрина - и Соня Гаррель), и мужчины (Станицын, Топорков, Соснин), чтобы узнать мое мнение, но я стеснялась, сказала, что надо... чтобы осело впечатление, но все-таки про некоторые вещи сказала прямо, что думаю, в частности об устранении дуэли".

Елену Сергеевну и вызывали затем, чтобы решить проблемы, связанные с первыми постановками "Пушкина", тем более после смерти Немировича труппа была лишена существенной поддержки. Елена Сергеевна вела себя очень скромно, и та решительная роль вдовы драматурга, которая приедет, расставит все и всех по местам, даст наставления актерам, явно была не для нее.

"Спектакль разрешено ставить 2 раза в месяц, актерам трудно так редко играть новый спектакль.

Завтра только выезжает Виленкин в Молотов за рукописями Миши, все тянули, так как думали, что рукописи здесь, в здешней Ленинской библиотеке".

Речь шла о части архива Булгакова, который Елена Сергеевна отдала на хранение в Ленинскую библиотеку, а она, в свою очередь, была вывезена в Молотов (Пермь).

"Взяли для чтения одну Мишину вещь (Полоумный Журден), но больших надежд у меня нет, хотя поговаривают...

Было в театре чтение Маршака "Двенадцать месяцев" - прелестной его сказки, будут ставить, наверное, только медленно, так как очень трудно технически; говорят, будут выписывать даже из Англии какое-то оборудование для сцены. Чтобы получился спектакль вроде советской Синей птицы.

Маршак нежен со мной, заботлив. Завтра будет выступать на заседании, где будет ставиться вопрос о принятии меня в члены Литфонда. Это предложил Саша Фадеев. Дал со своей стороны письмо, так как сам он не состоит в этой комиссии. Говорила, кроме Маршака, с Константином Фединым, который при этом не знал, как мне посмотреть в глаза. Между прочим, от него осталась только тень".

Федин состоял в комиссии по литературному наследию Булгакова, и от него зависели не только хлопоты о публикациях - понятно, что он тут ничего сделать не мог, - но и материальное обеспечение Елены Сергеевны как вдовы писателя, во время войны она не могла даже получить разрешение на пенсию.

"Игорь Владимирович помогает устроить дело с телефоном, что очень трудно. В Литфонде достают лимит на электричество, и т.д. и т.п. Прописка, устройство всех дел с карточками - все это занимает массу времени, хотя у меня и идет не так, как у всех, так как очень помогают люди. Леонидовы, вернее, Эся из себя выходит по части гостеприимства, угощений, укладывания меня отдохнуть у них, душ, ванны и т.п. Нежный тоже очень старается. Ну, об Оле уж и не говорю. Саша Фадеев тоже на высоте, как выражается моя Поля. Сразу поставил вопрос - чем питаюсь, что нужно сделать и все в таком роде.

Он считает, что ты, Дима, можешь быть прекрасно устроен здесь, что работы найдется сколько угодно (это же я поняла по разговорам с Леонидовыми, Олег Леонидов массу работает и хорошо зарабатывает), что никаких причин ждать тебе нехорошего к себе отношения нет, что если и были когда-нибудь какие-нибудь глупые разговоры, не имеющие никакой подкладки под собой, то и эти уже давно забыты, что у тебя много друзей, которые тебя любят верно и хорошо (как он сам и Коля Тихонов, в первую очередь, а за этим и Павел, которого я ещё не успела повидать, и твои ученики. Вызов тебе будет послан для всей семьи, то есть для тебя, Туси и Поли".

Луговской явно продолжал волноваться, что его эвакуация в Ташкент, "бегство", повлияет на его жизнь по возвращении в столицу. Бесконечные оговорки Елены Сергеевны о том, кто как относится к Луговскому, связаны с тем, что он ожидал в Москве тех же упреков и оскорблений, какие уже слышал в Ташкенте. Елена Сергеевна встречается с его друзьями, чтобы разузнать об их настроении. Еще она рассказывает везде, где появляется, сюжеты и смысл его поэмы. Слухи о поэме распространяются быстрее приезда автора. Его принимают с огромным любопытством. Он читает поэму в доме Б. Пастернака, где в тот момент гостил С. Чиковани, её слушают в первой, наиболее жесткой редакции Антокольский и Паустовский, Фадеев и Тихонов и многие другие. Все сходятся в одном: напечатать поэму будет невозможно, хотя создано нечто необычное и замечательное.

"Саша Фадеев сказал: во-первых, он получит все то, что получают писатели с его именем и положением, то есть рабочую карточку (примерно это - 2 кг мяса, 800 гр. жиров и столько же сладкого, 2 кг крупы, соль, спички, папиросы, овощи и т.д., кроме того - хлеба 600 гр.). Я могу ошибиться, но очень немного в смысле количеств, я ведь не видела такой карточки, а только спрашивала про нее. Кроме же нее, можешь получить литерный обед или же сухой паек: 6 кг хлеба, 5 кг мяса, 2 - крупы, 500 гр. сахару, 10 яиц, и ещё какая-то мелочь - в месяц. Кроме этого писатели получают или ужин, или ещё одну карточку, силой как рабочая... Ну, а затем надо работать, как работают все в Москве, и тогда будут и деньги, и душевное удовлетворение. По иждивенческим карточкам дают мало, почти ничего. Про работу, повторяю, Саша Фадеев сказал, что её сколько угодно. В ГАБТе я не была, никого не видела.

Нина (сестра Луговского. - Н.Г.) была у меня вскоре после моего приезда, и мы условились, что пойдём скоро на твою квартиру, пока ещё у меня нехватило времени, но обещаю сделать это на днях. Также не была на квартире Туси, но тоже пойдё на днях. Я просила Нину подробно написать тебе о твоей квартире, которую она недавно видела. Я только спросила, считает ли она возможным прибрать квартиру в уютный жилой вид, после того как в ней побывали какие-то лица чужие, она сказала - да. В Тусиной квартире был Сергей (можете себе представить, что парикмахер, поселившийся в Тусиной квартире, оказался моим Петром Ивановичем, который меня причёсывает много лет). Сергей говорит, что никаких следов пожара не заметил. Да и Нина сказала, что

последствия пожара незначительны и парикмахер обещал исправить все это и освободить квартиру к Тусиному приезду...

Антология выходит, только будет называться Сборником, и там будут помещены много твоих, Димочка, стихов. Так сказал тоже Саша Фадеев с большим удовольствием. Я попросила его вспомнить, что именно, он смог вспомнить только "Венгерку", "Песню о ветре", а больше не мог - сказал, что знаю только, что Володя очень полно представлен и что я им много стихов его напомнил.

Симонова я не видела, но знаю со слов Фадеева, что он очень хорошо (так же, как и Павлик) говорил о тебе, что посерьезнел, поумнел (не так грубо он говорил, как я пишу), что гораздо лучше стал, просто хорошо, очень хорош.

Про Знамя - забыла спросить. А вот про песни Ивана Грозного говорили, я рассказывала, как они выигрышны, когда ты их исполняешь сам. Но и так они очень нравятся Фадееву.

Про библиотеку и вещи Нина сказала, что самое ценное Тамара вынесла. Но для того, чтобы реально что-нибудь знать, мне надо будет с самой Тамарой повидаться. Обещаю.

Что из всего этого сумбура можно вынести: ехать в Москву стоит. Не век же сидеть в Ташкенте, или уж решаться тогда действительно (как говорит Петя Вильямс), что в Москве труднее работать для души, а надо ехать в какой-то маленький городок и там устраивать жизнь, близкую к природе и дающую возможность собираться с мыслями. Иметь небольшой кружок друзей и т.д.

В Москве, конечно, шумно, беспокойно, всегда есть масса каких-то дел, встреч, устройств и т.д. Я-то лично очень счастлива здесь, и вот почему: здесь я знаю, что я Булгакова (пишу это, зная все отрицательное отношение Володи к этому афоризму), здесь у меня есть много друзей, здесь мой дом, мои - дорогие для меня - памятные книги, архив, рукописи, вещи, вся атмосфера жизни, без которой мне было очень тяжело в Ташкенте и которая меня поддерживает в Москве. Сейчас я погрузилась целиком в прошлое, я сижу часами над чтением тетрадей, писем, рассматриванием альбомов. Я - дома. Я не боюсь ничего.

Пока я ещё не работаю, но веду переговоры о службе и думаю, что скоро поступлю на работу. Но мне хочется получить такую, чтобы иметь время на приведение в порядок моих тетрадей, Мишиного архива и вообще всего в квартире. То есть сама-то она в идеальном порядке, так красива она не была никогда, так чиста, так

блестяща, внутри - в письменном столе, в бюро, в шкафах нужно все пересмотреть и привести в порядок".

В этих двух абзацах - центральная часть письма и итог отношений Елены Сергеевны с Луговским. И хотя будут ещё и письма, и встречи, главное уже осознано и сформулировано: она - Булгакова. Три года после мучительной смерти её мужа не давали возможности ей до конца осознать главное содержание своей жизни. Теперь, после нескольких лет бездомности, попытки выстроить жизнь с другим человеком, пришло понимание, кому и чему она должна служить, в чем её истинное назначение.

"Поэму читала пока только Виленкину, которому она по-настоящему понравилась, особенно Одиссей. Другим - не было подходящего настроения. Да и мне кажется, что если ты скоро приедешь, то будет выигрышнее, если будешь читать её сам, в моем чтении многое пропадает.

Вот я и устала, хотя написала, наверно, не все, что думала. Голова у меня болит часто, а главное, сон нехорош - от волнений. Думаю попросить в театре бехтеревку, чтобы выспаться, тогда и поспокойнее буду. Вообще - ещё не улеглось внутри от всего. Все время на душе неспокойно, все кажется, что что-то забыла важное. Сейчас пойду к Тамаре на квартиру и уговорю её пойти на Лаврушинский.

Целую тебя. Пиши. Целую Тусю, Полю. Якову - привет.

Тюпа.

Нина похудела, но выглядит очень молодо".

Попасть на квартиру в Лаврушинский ей удастся чуть позже, а Тамара это Тамара Груберт, которая жила в Староконюшенном, в прежней квартире Луговского, где была комната Татьяны и сестры Нины.

"Москва. 1 июля 1943 года Дорогой мой, наконец, вчера была на квартире. Условились мы встретиться с Ниной Александровной и Тamarой, пришли туда с Эсей, которая, конечно, не могла меня не сопровождать. Да, и Сергей, жаждавший получить мундштук. В квартире (лифт не работает, как ты понимаешь) живет сейчас жена некоего писателя Корнева с двумя трехлетними мальчиками, она помещается в комнате Ольги Михайловны. Кто-то спит на кровати, кто-то - на диване и третий - на составленных вместе креслах. Грязь невообразимая. Корнева жалуется, что убрать нет никакой возможности, так как ни вода, ни канализация не действуют. Кроме того, только что была проверка и починка отопления, так что

валяется на полах мусор, старые трубы и т.д. В столовой, которой они тоже пользуются, тоже грязь, ну, словом, во всей квартире. И обвинять её даже нельзя - воды нет, дети есть. Она производит даже симпатичное впечатление. Но сказала, что на днях она выезжает в 67-ю квартиру и будет там жить, пока не починят её собственную. А в твою въезжает опять же Чумак (в той комнате просто свинарник) и Пастернак, которому дали твою квартиру, пока не кончится ремонт в его собственной - словом, ненадолго. Я понимаю, что никому не интересно жить в таких условиях и, конечно, это даже хорошо, что Пастернак будет здесь: они невольно приведут хотя бы в какой-то порядок эту квартиру и задерживаться не будут, будут торопить со своей. Перед вашим же приездом надо, по-моему, взять каких-нибудь двух уборщиц, чтобы они вынесли ведрами всю грязь, потом, таская воду снизу, вымыли бы полы. Перетерли бы мебель и выбили бы её на балконе, одним словом, привели бы квартиру в такой вид, чтобы вы не очень были бы ошарашены при приезде. В твоей комнате из стекол остались только два, остальные шесть (я считаю по квадратам - в каждом окне по четыре квадрата) затянуты каким-то вроде картоном крепким. Я думаю, что Туся может для украшения нарисовать что-либо на этом картоне и будет даже хорошо. Стекол, говорят, достать почти невозможно. Мебель некоторая попорчена, надо будет звать краснодеревщика, ну, это после войны можно. Я спрашивала Тамару Эдгаровну относительно книг, она сказала, что ходила вначале туда с понимающим человеком, и он посоветовал, какие сохранить, она их взяла себе. Говорит, что, по её мнению, кое-что украдено. Но Нина Александровна не думает, и я, глядя на полки и примериваясь (ведь у Тамары Эдгаровны есть) думаю, что вряд ли унесли. Да, кроме того, это не деньги; говорят, что книги очень дешевы. Я ещё не была в книжных магазинах. Вещи, представляющие какую-нибудь ценность, Нина Александровна взяла к себе сразу же, а так в столе лежат какие-то мелочи, но это надо разобраться уж самим. Наверное, Поленька будет лучшим специалистом в этих вопросах: что есть и что исчезло.

Теперь о пропусках: я видела Сашу один раз, когда я писала после этого тебе. Говорят, он загулял, но не знаю. Так как у меня телефона нет, он позвонить не может, а я не звоню туда. Поэтому я и дала тебе совет телеграфировать ему на Союз. Но кроме того, я вчера была у Маршака и, узнав, что он увидит сегодня Сашу, просила передать ему, что ты ждешь быстрой высылки

пропусков себе, Тусе и Поле. Потом попросила Эсю, чтобы она - лично или через П. Антокольского - нашла возможным передать Саше это же.

Конечно, Москва встретит страшными трудностями. Надо будет вертеться, бегать, просить, умолять, устраивать, чистить, доставать и т.д. до бесконечности. Я живу здесь неплохо - только благодаря МХАТу, Оле, Игорю Владимирович (который, кстати, сильно болен, у него нашли процесс в легком, и, следовательно, мои дела тоже застопорились). Но все-таки, повторяю, это очень помогает. А то бы я пропала. Я только прописана, у меня и у Сережи есть карточки. Если бы не МХАТ, я бы по этим карточкам ни шиша бы не получила. Но меня приписали к мхатовскому распреду. Домком, благодаря моей пенсионной книжке, дал мне служащую карточку, это лучше. Кроме того, театр, т.е. Игорь Владимирович, устроил мне обеденную карточку. Сергей ходит нерегулярно, но все-таки часто к отцу. Ольга постоянно тащит меня к себе, но я хожу к ней только на её выходной день, чтобы ей не было так тоскливо. Со службой у меня пока не устраивается, правда, я, как разборчивая невеста, все выбираю. Но служить буду непременно, и хочу, чтобы служба меня очень заняла и увлекла. Сейчас жду одного человека, он должен приехать ко мне с предложением - очень и очень интересным, но при личном свидании скажу, почему я думаю не брать это место, несмотря на все плюсы.

Телефон тоже в периоде обещаний, ездила к директору, оказался приятнейшим человеком, обещал наверно поставить в течение недели-двух.

Сергей на отлете, поданы все документы, ждет теперь приказа.

Настроение трудное, хмурое. Голова болит почти всегда. Принимаю много порошков. Как будет время, пойду к доктору. Сплю плохо. Но одно счастье, не сказывается внешне.

Вчера у Маршака рассказывала ему про твою поэму. Он очень заинтересовался и хочет непременно почитать. Я обещала дать. Думаю на днях его позвать. Он очень приятен, ну, в общем, остался, как был. Эта старая сволочь, его экономка Розалия, только портит все дело. Она так не гостеприимна, что не хочется ходить туда. Положим, сейчас сообразила, что, наверно, и моя Поля производит такое впечатление. У неё характер стал абсолютно адовым.

Вообще, я решила так: сейчас будет проделан последний опыт с Москвой. Если получу хорошую службу, буду работать на службе



и дома - над приведением в порядок своих записок и архива Михаила Афанасьевича, и обрету душевное спокойствие, - останусь в Москве. Нет - распродам все и уеду куда-нибудь в деревню, в глушь, в Саратов, но только, чтобы было на душе хорошо. В Москве очень хорошо для меня в смысле отношения людей, я встречаю столько любви, столько внимания, заботливости, что надо быть просто тупицей, чтобы не понять этого. И все-таки я нервлюсь. Значит, не то. Вот я и думаю: если служба и вообще режим не выечат, то надо удирать.

Вчера днем была у Леонидовых, очень мило провалялись с Эсей на диване: у обоих болела голова, приняли порошки, взятые напрокат у Антокольских, и болтали. Везде, где ни бываю, одни и те же жалобы: вот зарабатывает (имярек) 16 тысяч, а толку никакого, есть, пить нечего. И Олег Леонидович ворчал, что не желает больше есть преснятину. Но, в общем, они веселы, как всегда, и милы, и выглядят чудесно, - Аронович наврал, что они постарели.

К себе я никого не зову, почти никуда не хожу, очень мало. Взяла меня как-то Оля на балет, - до чего они все-таки молоды душой, - я им говорю: "Мне это на дух не нужно. Оживилась я ровно на пять минут, во время увертюры. А потом скука". А Женя Калужский потом говорит: "Люсенька, следующее воскресенье опять балет "Дон-Кихот" - пойдешь? Ведь не Дудинская, а Балабина будет танцевать!" Ей-богу, сумасшедшие!

Сережка взял у тебя на квартире какие-то ржавые сабли, и шашки, и кинжалы, чистил долго весь вечер, а потом развесил на ковре над своей кроватью. Приедешь - возьмешь опять себе. Это он в целях сохранения. А мундштука не нашел. Но от этого не огорчился: уж очень был в упоении от этого оружия. Сейчас послала тебе телеграмму - поздравительную. Я из-за московской суматохи не сообразила чисел, опоздала с поздравлением.

Будь здоров! Пишу отдельно Поле и Тусе о хозяйственных делах. Целую крепко. Елена".

Письма становятся все более печальные. Повторяется одна и та же мысль - надо уезжать из Москвы в маленький провинциальный город и там доживать. В письмах Булгаковой Луговскому нет места для общего будущего, есть острое чувство одиночества, обостренное ощущение прошлого. Когда начнут печататься романы Булгакова, когда к его текстам появится сильнейший интерес, Елена Сергеевна начнет жить сначала, станет моложе, веселее.

Она пыталась навести какой-нибудь порядок и в квартире Луговского на Лаврушинском и в Староконюшенном у Татьяны. Оказалось, в комнате Татьяны жил парикмахер Елены Сергеевны. 23 июля 1943 Булгакова пишет Татьяне трагикомическое письмо об оперативной обстановке в Староконюшенном переулке: "Дорогая моя Тусенька! Вчера была, наконец, на Вашей квартире. Видела тетю Мотю, Тамары не было дома, я оставила ей записку с просьбой прийти ко мне, чтобы пойти на Володину квартиру. В Ваших комнатах живет мой парикмахер Петр Иванович. Я говорила с его женой (беременной на 9-м месяце). Пожар случился перед Пасхой: она споткнулась, керосинка выпала из рук, она повалилась на пол, старалась погасить на себе огонь, но ожоги есть до сих пор на животе. Опалены двери общие и в каждую из Ваших комнат, шкафы с книгами, переплеты книг. Сами книги не сгорели. Обстановка Ваша в целости. Они обещают сделать ремонт. Вообще же собираются очень скоро выехать. Она должна родить через 2-3 недели, и думают, что сразу же после этого они уедут. Я не рассматривала в отдельности книг, решила, что это надо сделать в присутствии Тамары. ... Тусенька, я целую Вас крепко, также Володю, также Полю. Яшушу плющу не забывать меня. Штавят ли им плюбол? А челепаке? Целую. Лена".

А Тамара Эдгардовна в эти же дни пишет Татьяне Луговской: "... Ничего мне не удастся. Например, передать через Фрадкину посылку для тебя. Как это случилось, писать скучно, но случилось. Как ты можешь дружить с такой противной женщиной, как Фрадкина? (Елена Сергеевна в этом отношении согласна со мной - она мне понравилась) ... Недавно из Ленинграда приехала приятельница Лени и привезла для тебя пачку табака и плитку шоколада. Не знаю, как тебе переслать. Кажется, у Елены Сергеевны будет оказия. Трогательное существо - Леня!"

Фрадкина - это жена Хазина, брата Надежды Яковлевны Мандельштам, а Леня - это Леонид Малюгин, главный адресат ташкентских писем Татьяны Луговской.

"Вчера я опять ходила в Тусину квартиру, - пишет Елена Сергеевна 27 июня Владимиру Луговскому, - чтобы попросить Тамару пойти со мной на твою квартиру, но там никто не ответил, я долго стучала в дверь, собственно Тамарину. Сейчас опять пойду, хотя сегодня воскресенье и, может быть, она куда-нибудь уехала на выходной. Здесь теперь все ездят в выходные дни на свои огороды, всех встречаешь с лопатами. Удивительно холодное лето - за все

время ни одного жаркого дня, какой-то холодный ветер. Настроение взволнованное. И если не устроюсь скоро на работу, развинчусь совершенно. При моей полной погруженности в прошлое, при безмерной тоске, которую испытываю, единственное, что может помочь, это очень сильная занятость. Вначале я боялась очень большой ответственности, а теперь даже хочу, и если Игорь Владимирович поможет мне устроиться на одно место, возьму непременно. Если же нет, то надо уезжать отсюда. Это ясно мне. Сергей скоро уезжает в училище, выправляет всякие нужные документы. Будь здоров, милый. Целую тебя, Тусю, Полю. Тюпа".

Депрессия и тоска нарастают, у неё возникают различные планы - один из них - устроиться сестрой-хозяйкой в писательский дом. Об этом она полупонамеком пишет Луговскому, потому что, видимо, это вызывает его резко негативную реакцию, да она и сама потом, после двух недель колебаний, понимает, что эта работа не для нее. Однако она ищет возможности заработать и не находит.

В эти дни, так как Тамара Эдгардовна была занята на работе, ключи от квартиры на Лаврушинском, куда должна была наконец попасть Елена Сергеевна и рассказать, что там и как, отправили отнести дочь Луговского Муху, незадолго до этого вернувшуюся из Чистополя, из детского писательского интерната.

"Уже в конце 1943-го, я помню, как иду в Фурманов переулок, возле Арбата, поднимаюсь по лестнице, звоню. Мне открывает женщина в шелковом китайском халате, лицо её покрыто толстым слоем крема. Она просит меня подождать, прощается с косметичкой, стирает крем. Я помню комнату, потом я поняла, что это был кабинет М.А. Булгакова. На темно-синей стене терракотовый профиль Булгакова, сделанный художником Вильямсом.

Мы отправились в Лаврушинский переулок на квартиру отца. Там повсюду лежали стекла; были разбиты окна. Елена Сергеевна схватила ведро, тряпку и начала разбирать завалы, мыть полы. Она готовила кабинет к приезду отца из Ташкента".

Отношения Елены Сергеевны с Луговским прости не становились, наоборот, на расстоянии начало обостряться то, что их разделяло, во всяком случае для нее. Она раздраженно пишет ему в сентябре 1943 года: "Сердитые и ласковые телеграммы твои тоже получаю. Не пишу, потому что не писалось. Очень много могла бы сказать, а написать все это - сложное - как-то не могла. Зная твою способность ругаться и предполагать всякие штуки, сразу

оговариваюсь ничего особенного, ничего нового я бы тебе и не написала. Просто все мои мысли, ощущения, выводы приобрели более законченный характер. Вроде того что чувство твое ко мне - не любовь, или, может быть, с твоей точки зрения - любовь, а для меня не убедительно.

В общем, конечно, получается глупо - я упрекаю тебя за то, что ты не такой, как мне хотелось бы. Ты, наверно, получил мою телеграмму о службе хозяйкой в доме творчества. Две недели честно ездила в Переделкино, что-то делала, - и вдруг ясно поняла, что служить мне там ни в коем случае нельзя. И отказалась. И стало легко на душе. Может быть, буду служить в МХАТе, хотя надежды на это очень мало. Вернее, буду работать на дому (работа из артели).

Людей вижу много - появились какие-то новые, неожиданные. Мало интересные, впрочем.

Почти нигде не бываю - из зрелищ, не хочу. Скучно и в театре и везде. Но люди интересуют. Люди и мужские глаза. Очень часто двойные.

Письмо все время прерываю, бегаю то открывать дверь, то к телефону. Я одна, Поли нет, Гриша Широков сейчас забежит за письмом, повезет на вокзал. Что это он сказал, что пропусков тоже нет у вас? Когда предполагаете выехать? ...

Гриша пришел, мы с ним немного закусили. И сейчас он должен бежать. Татьяне я не успею написать сегодня. Я её крепко, крепко целую. Передай ей, что за квартиру твою уплотнено - управлением. Я видела жировки.

Будь здоров, милый. Целую тебя. Елена".

Елена Сергеевна была, конечно же, человеком незаурядным, умела вдруг сказать нечто неожиданное, яркое. "Но люди интересуют. Люди и мужские глаза. Очень часто двойные". Эти загадочные слова, скорее, отсылают к образу Маргариты в романе Булгакова. К той сосредоточенной на своей беде и в то же время очень любопытной женщине, которая успевала увидеть человека, оценить, не помято ли его лицо, какая походка, острый ли у него взгляд или "двойной".

Черновик ответного письма Елене Сергеевне был обнаружен в архиве Луговского совершенно случайно. Оно оказалось среди рукописей и бумаг ташкентского периода, связанных с работой над "Серединой века". Предполагалось, что Луговской много писал к Елене Сергеевне, делился с ней тем, как шла работа над книгой,

которой она сама отдала столько сил, но пока его письма к Булгаковой найти не удалось.

Предположительно октябрь-ноябрь 1943 года:

"... Уже связная смычка с "Крещенским вечерком". Все уже начинает связываться: "Дербент" с "Верх и низ" с "Могилой Абу-Муслима" (до сих пор не доделана), а русские главы с "Псковом". Работа на полный ход, а самая энергичная работа была именно в те времена, когда мне было труднее всего. Из этого я заключаю, что стою на ногах, а в руках чувствую властность и власть над материалом. Новые главы кипят в голове, масса записей, мыслей. Ужасает меня только то, что все это в черновиках, переписанное рукой Елены Ивановны, а с машинки нет.

Возня с пропусками мешает мне уехать. Сейчас взял командировку от "Правды Востока", "Узитаго" и кино и еду с авансами, правда скромными, в Андижан. Командировка на столе, деньги в кармане. Пробуду дней 8. Привезу, что нужно. Твое поручение будет исполнено. Вот насчет дынь что-то не видно, но там, вероятно, уже имеются. Исполню работу для железнодорожников, чтобы были сразу билеты нам домой. И вообще выезжаем немедленно по получении пропусков. Итак, вместо того чтобы сомневаться, лучше узнай через Сашу или через кого-нибудь достаточно о пропусках и нажми. Неприятно ведь приезжать в холод и изморозь. А здесь просто царство синего, зелено-золотого, можно задохнуться от прохладного света и легкой высоты неба.

Ты не беспокойся, проживем, и не так плохо проживем. Здесь мой лимит отоваривают по пустякам и жульничают нещадно, а в Москве этот "лимит Б" уже много значит. Будем работать по всей форме. Если я работаю сейчас очень хорошо, то вдвоем будет гораздо продуктивнее. Не надо никаких "переделкинских" и родной сволочи погодинского склада. Кстати, здесь твои переделкинские планы широко известны (Регигин? и др.), вызвали сенсацию крайне неинтересного типа. О непонятных для меня разногласиях последних месяцев забудем и встретим друг друга, как полагается нам, прошедшим через горы испытаний и самую большую близость. Повторяю тебе, все мои силы, все, чем я обладаю духовно и материально, - в твоём распоряжении. Я тебя хорошо и глубоко знаю, много тяжелого перенес из-за тебя и прощаю это, много чудесного видел и не забывал никогда. Держи выше свой носик, встречу, как меня встречала Тюпа, плюнь на все и торжествуй.

Помоги, чем можешь, в приезде, а главное, телеграфируй, хоть о брюках или вяленых соловьях. В. Луговской".

Это спокойное, дружеское послание писалось с надеждой на спокойную совместную жизнь, где Елене Сергеевне отводилась определенная роль. Она нужна ему для работы - в этом недвусмысленный подтекст письма. Он пропускает мимо ушей её рассказы о "Пушкине", о булгаковских рукописях, он хочет встретить в Москве свою прежнюю Тюпу, о которой он всерьез думает как о будущей жене. Но она не торопилась, взвешивая все "за" и "против", и явно роль, которую ей готовил Луговской, её не устраивала.

О лимитах в военную и послевоенную пору говорили постоянно. Ахматова, которая тоже получала свой лимит - повышенный паек, который выдавался деятелям искусства, с горечью написала:

Отстояли нас наши мальчишки.

Кто в болоте лежит, кто в лесу.

А у нас есть лимитные книжки,

Черно-бурую носим лису.

Луговской присылает Елене Сергеевне телеграмму из Андижана. "Булгаковой. Приехал Андижан Получил пачку телеграмм полным восторге ... Твой Дима". Она выполняла его просьбы и присылала почти ежедневно смешные телеграммы. Например, такую:

"Телеграмма: Ташкент. Жуковская 54. Луговскому Володя я умираю но если ты привезешь много вяленой дыни и черную материю я выздоровлю=Тюпа".

В Андижане он пробыл недолго, деньги на отъезд заработал, пропуски были готовы. Собирались в дорогу. Из Москвы летела телеграмма от Елены Сергеевны:

"Телеграмма: Ташкент. Жуковская 54. Луговскому Тусенька и Поля помните меня и мои советы перечитайте мои дорожные впечатления Целую=Лена".

Перед отъездом Татьяна Луговская заболела: "Я опять больна (это превратилось уже в привычку). В самом деле, я соревнуюсь с А.А. Ахматовой, с которой мы, к слову сказать, подружились. Это была, пожалуй, одна из самых трудных побед в моей жизни", - писала она 21 ноября 1943 года Малюгину.

На прощание Ахматова подарила Луговской свою книгу, вышедшую в Ташкенте - "Избранное". На её титуле было написано:

"Милой Татьяне Александровне Луговской - на память о карантинных вечерах на знаменитой балахане - дружески - Анна Ахматова. 29 ноября 1943. Ташкент".

Отъезды. Конец эвакуации Конец 1943 - начало 1944 года

Уезжать из Ташкента начали ещё в 1942 году, как только немцы были отброшены от Москвы. Понемногу возвращались в столицу те, у кого была возможность, кто мог получить вызов. Начала собираться и Ахматова. Тяжелый быт, зависимость от помощников. Тогда это была семья драматурга Штока. Лидия Чуковская в дневниках отражала панические настроения тех дней: "Во время нашего чаепития пришли Штоки. Ольга Романовна жена Штока в последние дни хворает, ссорится с мужем и истерически твердит: "В Москву! В Москву". Они обе советовали NN (Ахматовой) немедленно написать письмо Фадееву, что она просит присоединить её к эшелону Берестинского, едущему в Москву. "Неужели вы не понимаете, Лидия Корнеевна, что здесь NN погибнет? Если мы уедем, некому будет даже чашку чая подать" и пр. Я высказалась против. ... Москва сейчас - это тот же сложный ташкентский быт + мороз + бомбы. ...

NN сказала, что посоветуется с Ел.С. Булгаковой, у которой могут быть private сведения. (От Фадеева или Шкловского.)". Но Елена Сергеевна тогда, в начале 1942-го ехать Ахматовой отсоветовала, и та осталась в Ташкенте неожиданно для себя и для других аж до мая 1944 года.

Со своим нехитрым уютом прощался Корней Иванович Чуковский 26 января 1943 года: "Прощай, милый Ташкент. Моя комната с нелепыми зелеными занавесками, с шатучим шкафом; со сломанной печкой, с перержавелым кривобоком умывальником, с двумя картами, заслоняющими дыры в стене, с раздребезженной дверью, которую даже не надо взламывать, с детским рисуночком между окнами, выбитым стеклом в левом окне, с диковинной форточкой, - немыслимый кабинет летом, когда под окном галдели с утра до ночи десятка три одесситов". В Москве его ждет удар: в газете "Правда" о его сказке "Одолеем Бармалея" выходит статья П. Юдина "Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского". Основанием для разносной статьи послужила вовсе не сама сказка, а донос художника П. Васильева. Он был соседом Чуковского в Москве, автором серии рисунков из жизни Ленина. Как-то по-соседски он зашел к Чуковскому, а на столе у того лежала "Правда" с репродукцией картины Васильева "Ленин и Сталин в Разливе".

Чуковский и сказал: "Что это вы рисуете рядом с Лениным Сталина, хотя все знают, что в Разливе Ленин скрывался у Зиновьева". Васильев побежал прямо в ЦК и донес об этом разговоре, Чуковского вызвал Щербаков, кричал на него, матерился, топал ногами. Хорошо, что дело закончилось только разносом в "Правде", а ничем более серьезным.

Самым экзотичным был отъезд Марии Белкиной, который она описала в своей книге "Скращение судеб". В самом конце 1942 года Белкина бегала по городу перед предполагаемым отъездом. "Муж умолял меня этого не делать, но, видя мое упрямство, советовал обратиться в Москве в Политуправление Военно-Морского Флота и просить направить меня на Балтику, мобилизовав на флот. Однако в Москву был нужен специальный пропуск, который мне никто в Ташкенте не выдал бы. Мне помог Иван Тимофеевич Спирина, ... он готовил в Марах штурманов для фронта и часто летал в Москву через Ташкент на своем "дугласе". Мы с ним договорились, что он заберет меня с собой. Чтобы лететь в его "дугласе", не нужно было никаких пропусков. Ну а в Москве?! Конечно, это был риск... Когда мы приземлились в Москве на Центральном аэродроме, напротив нынешнего метро "Аэропорт", то прямо к самолету был подан "опель" Спирина. Иван Тимофеевич велел мне быстро лечь на заднее сиденье, бросил на меня свой тулуп, скомандовал, чтобы я не вздумала чихать или кашлять, и сам повел машину к проходной. Он был в военном мундире, при всех орденах, с Золотой Звездой Героя. У проходной машину остановили, стали проверять документы.

- Что у вас в машине, товарищ генерал-майор? - спросил часовой.

- Личные вещи, - ответил Иван Тимофеевич и тут же включил стартер и дал газ.

Как "личные вещи" я и была доставлена на Конюшки в пустой, заколоченный дом.

В армию меня не мобилизуют, у меня обнаружат туберкулез. Но на фронт, на Ладужскую военную флотилию, туда, где в это время находился мой муж, я проберусь..."

Георгий Эфрон, Мур, писал, в мае 1943 года сестре Але: "Уезжает на днях также вся Академия наук, в том числе и 3 профессора, живущие в нашем доме: Цявловский, Благой, Бродский (один - седой с бородкой, другой - лысый в очках, третий - с закрученными усами и пенсне). Они поедут целым поездом. Москва, Москва! Сильнейшим образом туда, пожалуй, надо



возвращаться. Но я фаталист и не сетую на судьбу, задерживающую меня здесь. Написал письмо Людмиле Ильиничне жене А.Толстого; по моим соображениям, это письмо ей должно понравиться и побудить её к действиям, полезным делу моей реэвакуации".

Луговские пытались добиться получения пропусков, что было непросто, судя по тому, что телеграммы Фадееву шли с середины 1943 года, а отъехать они смогли только 1 декабря 1943 года.

"Телеграмма. Ташкент Жуковского 54 Луговскому Москвы 11.07.43.

Ближайшее время добудем пропуск тебе семьей срочно телеграфь имя отчество фамилию год рождения татьяны поли тчк сердечный привет=фадеев"

"Телеграмма: Ташкент. Первомайская 20. Союз писателей. Луговскому.

Москвы. 15.08.43.

Получением пропусков Москву обратитесь местные органы милиции куда главным управлением милиции Москвы дано распоряжение=Фадеев".

"Уезжая из Ташкента в Москву, - вспоминала потом Елена Леонидовна Быкова, - Луговской увозил дорогой подарок, который сестры Яковлевы сделали ему на прощанье. Это были десять записных книжек, переплетенных в ситец для чехлов.

"На эти книжки они не пожалели целого чехла с моего любимого кресла, а вы жалеете мне какой-то паршивый рукав со своей кофточки", - говорил Луговской, требуя с меня очередную записную книжку.

"Вы видите эти цветочки - желтые, красные? Они как бы танцуют, и радуют, и согревают, - указывал он на выцветший ситец. - Когда я их беру, то вспоминаю Ташкент, сестер, их дом, тепло, их доброту. Я доверяюсь этим книжкам, как друзьям".

В последних письмах из Ташкента Татьяна Луговская дарила Малюгину свой Ташкент, который он так и не увидел.

"Это описание настоящего художника: ... И все-таки я вас столько ждала. По совести говоря, я кончила вас ждать только 3 дня назад. Ну, ладно, и не надо. И не приезжайте, пожалуйста. И вы не увидите Ташкента. Не увидите улиц, обсаженных тополями, дали, покрытой пылью, верблюдов - по одному и целый караван, звездного неба, полушарием покрывающего землю, нашего дворика, убитого камнем, кота Яшку, бывшего ещё недавно таким толстым, какой я была в Плесе, и меня, ставшей такой худой, как кот Яшка,

вынутый из воды, душа, с проломанной крышей, под которым течет арык, ещё много арыков, хозяйственную и сердитую Полю (впрочем, в последнее время заметно притихшую, так как у неё украли сумку с паспортом и всеми нашими карточками и пропусками), помидоры, величиной с детскую голову, загулявшего Луговского, нашу соседку-стерву, узбечек в паранджах, Алайского базара, "старого города", мои этюды, солнца, от которого можно закуривать папиросы, хмеля на наших окнах, скамейку в парке, на которой я писала вам письма, мангалы, дымящие днем и волшебные по вечерам, москитов и мух, величиной с наперсток, луну, словно взятую из плохого спектакля, скорпионов, ишаков, виноград 20 сортов (правда, очень дорогой, но красивый), белую собачку Тедьку, которая кусает почтальонов и которой кто-то аккуратно и в абсолютно трезвом виде красит брови черной краской, тихое и прохладное ташкентское утро, телеграф, с которого я отправляю телеграммы, розовые стены и голубые тени в переулках, коз на всех улицах, ботанический сад и зоосад, где есть 3 дохлых крокодила, много козлов, ещё больше кур, ещё больше маленьких юннатов, ещё больше цветов и тишины и один маленький медвежонок (мой друг), Пушкинскую улицу, спекулянтов, карманных воров, торговок вареными яблоками и чесноком, ташкентских котов, особняков, самоваров, мою подругу Надю, Сашу Тышлера, Бабанову, дыню, ростом в бельевую корзину, изюм, грецкие орехи на дереве и на базаре, поэму моего брата, 22 карандаша, 15 записных книжек и маленького Будду - которые находятся на его роскошном столе, моих учеников и мою злость, мой красный зонтик, дома, под названием "воронья слободка", девочку Зухру и девочку Василию, которая продает кислое молоко, спящих во дворе людей, желтые цветы под окнами, кухню с провалившимся полом, очереди в распреде, улицу Карла Маркса и улицу "Весны", Бешаган и Урду, каменные ступени и траву, растущую на крышах нашего жилища, нашего уюта и беспорядка, старый веник, совок для угля, бумажные абажуры и лампу, сделанную из детской игрушки, глиняные кувшины, мебель, которую я сама красила, диван, на котором я пролила немало слез, папиросников на углу Жуковской, ташкентский трамвай, в который невозможно влезть, ярко-синего неба, белую акацию и Адамово дерево, решетки на окнах от воров, нашу дворничиху, вокзал, желтые занавески на моих окнах, привешенные на бильярдные кии, плиту в глубине комнаты, саксаул, Библию, сломанный степсель, три разных стула и круглую черную

печку в нашей комнате, мои самодельные карты, моих поклонников, и дворника Лариона в том числе, лесенку на балахану, Ахматову в веригах, звонок у калитки и булочную на углу, похожую на крысиную нору - всего этого вы не увидите".

Тот "уют и беспорядок" в комнатках Луговских на первом этаже под лестницей по наследству перейдут в ведение Анны Андреевны и Надежды Яковлевны.

Из рабочих тетрадей А. Ахматовой: "Ул. Жуковского, "Белый дом". Балахана с 1 июня 1943, и потом квартира Луговских. С Надей отсюда (13 мая 1944) улетаю в Москву. В Москве у Ардовых".

Татьяна Луговская почти все в этих комнатках сделала своими руками, придумывая, проявляя хитроумие художника, который из куска материи может сделать красивое платье; утлые комнатенки она превращала в уютные, от которых возникало ощущение настоящего дома.

Видимо, именно в этих комнатах ночного заколдованного дома на Жуковской написано стихотворение Ахматовой 1944 года.

Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни  
На краешке окна  
и духота кругом,

Когда закрыта дверь, и заколдован дом  
Воздушной веткой голубых глициний,

И в чашке глиняной холодная вода,

И полотенца снег, и свечка восковая  
Горит, как в детстве, мотыльков сзывая,

Грохочет тишина, моих не слыша слов,

Тогда из черноты рембрандтовских углов  
Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,

Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже...

Здесь одиночество меня поймало в сети.

Хозяйкин черный кот глядит как глаз столетий,

И в зеркале двойник не хочет мне помочь.

Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

После отъезда Луговских Ахматова писала в ответ на письмо Татьяны 21 апреля 1944 года: "Дорогая Татьяна Александровна! Письмо Ваше было приятной и трогательной неожиданностью. Все считают меня уже уехавшей или вот-вот уезжающей, и поэтому я перестала получать письма. Я живу в вашей квартире, плющ уже пышный, и в комнатах прохладно. Сегодня зацвел во дворе мак. Ташкент великолепен. Зимы в этом году совсем не было. Мой муж просит меня дождаться здесь ленинградского вызова. Я

рассчитываю быть в Москве в конце мая. Передайте мой привет Владимиру Александровичу и всем, кто ещё помнит меня. Целую Вас. Ваша Ахматова. Надюша кланяется низко".

И ещё выслала телеграмму, так как письма не всегда доходили:  
"Благодарю за письмо. Привет всем друзьям. Целую Ахматова".

Спустя годы Татьяна Луговская вспоминала их отъезд из Ташкента: "Отчетливо помню, как глубокой ночью в 1943 году мы уезжали из Ташкента в Москву. Среди немногих провожающих выделялся профиль Анны Андреевны Ахматовой. Она любила нашу осиротевшую семью и очень высоко ставила поэму брата, интересовалась ею и всегда просила читать ей новые главы. На вокзале было промозгло и сыро, я сидела с Анной Андреевной на отсыревших досках. Хотелось сказать и услышать какие-то последние слова.

Сутулый, совсем больной, с папкой в руке появился мой брат.

- Татьяна!

- Что?

- Где моя поэма?

- Володя, она у тебя в руках, если хочешь, я уложу её куда-нибудь.

- Ни в коем случае!

И, хромая, двинулся в неопределенном направлении, прижимая к груди папку с поэмой".

Потом Татьяна Александровна ещё рассказывала: "...Когда мы уезжали из Ташкента с братом, Анна Андреевна провожала нас, я помню очень хорошо, как она была закутана и как она меня перекрестила три раза".

В те же дни, когда Ахматова писала свое письмо Татьяне Луговской, её брат, который привез из Ташкента самую огромную свою ценность - поэму, читал её всем своим друзьям, ближним и дальним.

В апреле 1944 года Тарасенков - после того как пришел в себя, подлечился, - вернулся в журнал "Знамя", где когда-то Луговской тоже работал в отделе поэзии. Спустя годы они встречаются, строгий Тарасенков, который писал из письма в письмо Марии Белкиной о том, что не подаст руки Луговскому, что не хочет ничего о нем знать, - утром, после чтения поэмы, ночных разговоров в чаду и дыму, утром, убегая, оставляет записку на столе. Явно делает это не совсем для самого Луговского, они и так проговорили всю ночь, делает это, скорее, для истории, чтобы осталась память.

"Милый Володя.

Совершенно очарованный твоей поэмой (утром она мне кажется ещё значительнее и лучше), гостеприимством, заботами Поли и яствами в количествах достойных Гаргантюа, я покидаю твой дом. Мирись с ЕСБ и тащи мне статей.

Люблю, благодарю, обожаю.

По гроб твой А.Т. (Тарасенков).

Утро 26 апр. 1944

Москва... Крыши в солнце, пар на окнах, Никола на Кукише, как писывал в дни нашей юности некий Пильняк".

ЕСБ - это все ещё предполагавшаяся партия с Еленой Сергеевной Булгаковой, о которой знали все друзья и привыкли к этой мысли. А вид из окна - до сих пор тот же из окон Лаврушинского. Намек на "некоего Пильняка" - это знак не умирающего в них прошлого. Расстрелянный писатель живет только в их памяти.

Записка Тарасенкова стала завершением обозначенного в самом начале конфликта тех, кто пошел на фронт и воочию столкнулся с ужасом войны, с теми, кто встретился с безднами собственного сердца в то время в тылу. Тарасенков узнал на войне нечто такое, что позволило ему - человеку очень прямолинейному, написавшему много раз о том, как и кого они будут судить за жизнь в тылу, научиться понимать и прощать.

Эпилог. После Ташкента

Пора забыть верблюжий этот гам И белый дом на улице Жуковской.

Пора, пора к березам и грибам,

К широкой осени московской. ...

А. Ахматова

Георгий Эфрон

Георгий Эфрон в конце 1943 года попал в Москву, даже поступил в Литературный институт, где проучился около четырех месяцев, и был призван в армию. Он прошел унижительную службу в строительных ротах, куда отправляли таких, как он, с подозрительным происхождением. Обстановка в ротах была столь тяжела, что все мечтали о фронте как об освобождении. "Ротный старшина наш - просто зверь; говорит он только матом, - писал Мур теткам в Москву, - ненавидит интеллигентов, заставляет мыть полы по три раза, угрожает избить и проломить голову. ... 99% роты - направленные из тюрем и лагерей уголовники, которым армия,

фронт заменила приговор". Он жалуется на жизнь, по-своему, наверное, вновь высокомерием, противостоит хамству, оскорблениям, из последних мальчишеских сил старается не сломаться.

В конце мая Мура отправили на Западный фронт, его рота находилась в составе 1-го Прибалтийского фронта. 7 июля 1944 года он был ранен где-то под Витебском, далее никаких сведений о нем нет, он исчез среди умерших от ран солдат, его тело, видимо, было оставлено медсанбатом где-то в тех местах.

К сожалению, о нем некому было хлопотать, как это было в случае с Сережей Шиловским, сыном Елены Сергеевны и Евгения Александровича Шиловского, видного генерала. Ему не повезло, как Льву Гумилеву, сыну Анны Андреевны, который прошел войну и встретил её окончание в Берлине. После войны на его долю, правда, опять выпадет очередное тюремное заключение и лагерь.

Встреча Мура с "настоящим" оказалась роковой. По его же теории, "прошлое" удушило Марину Ивановну, "будущее" погубило Сергея Эфрона, его отца. Он же сам пал жертвой "настоящего". В одном из последних писем он определил на то время главное в своей жизни: "Очень хочется верить, что, несмотря ни на что, мне удастся сохранить человеческий облик, что все неокончательно потеряно. Если бы ты только знал, как я люблю цивилизацию и культуру, как дышу ими - и как ненавижу грубость и оскал невежества, как страдаю и мучаюсь от них".

А.Н. Толстой

Не надолго пережил Георгия Эфрона и его покровитель А.Н. Толстой. Раневская, очень любящая писателя, говорила, что его жизнь сократило пребывание на Нюрнбергском процессе - те материалы, которые он увидел на суде, были губительны для него. Так это или нет, но несомненно, что это было последним сильным потрясением в его жизни.

А.А. Ахматова

Уезжая в те прекрасные майские дни из цветущего Ташкента, Анна Андреевна надеялась на счастье, на встречу с дорогим для неё человеком, на новый дом, на возвращение сына с фронта и на изменения к лучшему в стране.

Белым камнем тот день отмечу,  
Когда я победе пела,  
Когда я победе навстречу,

Обгоняя солнце, летела, - писала она, полная ожиданий, в самолете 14 мая 1944 года.

Ахматова прилетела в Москву и остановилась на несколько дней у своих друзей Ардовых. Встретившаяся с ней Маргарита Алигер, восхитилась: "Я никогда не видела её такой радостной, как в третью нашу встречу, когда весенним московским вечером я пришла к Ардовым повидать Ахматову, только что приехавшую из Ташкента. Она была оживленная, преображенная, молодая и прекрасная .... Больше я никогда не видела её такой откровенно счастливой".

31 мая, пообщавшись с московскими друзьями, Анна Андреевна выехала в Ленинград. Там её ждал Владимир Гаршин. Он встретил её. На перроне вокзала были и её друзья. Они предполагали, что Ахматова сразу же уедет вместе с Гаршиным. Но он поцеловал ей руку и сказал: "Аня, нам надо поговорить". По воспоминаниям Адмони, они ходили по перрону недолго. Гаршин снова поцеловал ей руку и ушел. Ахматова попросила, чтобы её отвезли к её друзьям Рыбаковым. Около двух недель Гаршин ходил к ней объясняться. Наконец, Анна Андреевна сказала ему, чтобы он больше не приходил. Они расстались навсегда.

Лучше б я по самые плечи Вбила в землю проклятое тело,  
Если б знала, чему навстречу,

Обгоняя солнце, летела, - отвечала она самой себе спустя всего две недели.

До сих пор до конца не понятно, что же произошло между ними. Ведь он ждал её, строил планы, это видно по сохранившимся письмам к сыну. Возможно, осознав перспективу общей судьбы с такой известной женщиной, как Ахматова, Гаршин испугался. Она же была оскорблена. Все знали, что Анна Андреевна едет к мужу. Она знала, что жизнь её на виду. Были уничтожены его письма, она потребовала вернуть свои. Все посвящения, упоминания о Гаршине были убраны. Она истребляла даже память о нем. И только иногда в стихах звучали ноты отчаяния:

Я все заплатила до капли, до дна,  
Я буду свободна, я буду одна.  
На прошлом я черный поставила крест,  
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест...

В. Гаршин спустя некоторое время женился на сверстнице Анны Андреевны, профессорше, с которой вместе работал. Он умер в 1965 году, за год до смерти Ахматовой.

Ахматову ждали постановление 1946 года, новые гонения, неофициальное почитание и огромная слава. Наверное, пережитый удар разучил её надеяться на личное счастье. Она навсегда останется поэтом печали, достойно несущим крест одиночества. Судьба не дала ей семейного счастья, оставив иной удел.

Ташкент она помнила всегда, он возвращался в стихах, в дружбе с Козловскими, Раневской, Татьяной Луговской и многими другими, кого Ахматова обрела именно там.

Елена Булгакова

Жизнь Елены Сергеевны Булгаковой после войны приобрела абсолютно иное направление.

Так или иначе, но дороги Елены Сергеевны и Луговского расходились все дальше. Судьба Булгаковой навсегда будет связана только с Татьяной Луговской и Сергеем Ермолинским.

В 1948 году умерла Ольга Бокшанская. Елена Сергеевна поехала в город их детства и юности - в Ригу. Она тосковала по рано ушедшей сестре. Татьяне Луговской пришло от неё из Риги письмо:

"Дорогая Танюша, как давно мы с Вами не виделись. Как приеду, мы непременно встретимся.

Эти последние два месяца мне хотелось быть только с людьми, которые знали и любили Олю, ведь Вы это понимаете. От этого я и не звонила к Вам.

А вообще Вы же знаете, что мы с Вами не просто знакомые, а нас навсегда связала прочная веревочка.

Что Вы делаете, да и в Москве ли Вы еще? Как здоровье Владимира Александровича? Когда я уезжала, я встретила Вашу Полю, и она мне сказала о его тяжелом состоянии.

Тусенька, мне все ещё очень тяжело, и здесь тяжелее, чем в Москве. Рига так неразрывно связана с Олей, с нашей беготней по всем улицам, с нашими детскими и юношескими воспоминаниями, - что я как выйду в город, так и замираю от безвыходной тоски. Хожу одна, разговариваю сама с собой, твержу кому-то: никогда не возвращайтесь туда, где Вы были когда-то счастливы.

Напишите мне, голубчик мой, если Вы получите это письмо до 20 августа.

Целую Вас нежно. Ваша Лена".

Впереди её ждали публикация романа "Мастер и Маргарита", вечера Булгакова, заграничные путешествия и долгая счастливая слава Маргариты.

Татьяна Луговская



Татьяна Луговская после войны стала жить в доме брата на Лаврушинском. Отношения с мужем не складывались. После войны, вернувшись к прежней жизни, многие чувствовали дискомфорт. Причины его сформулировать в тот момент было невозможно. Но известно, что переломы в личной судьбе происходили на каждом шагу: военные женились на медсестрах и женщинах, с которыми прошли войну; многие писатели переживали личный кризис Пастернак, Паустовский, Шкловский и другие.

Татьяна Луговская вернулась в семью, но не надолго. В 1947 году на вечере у Фрадкиной она познакомилась с на тот момент ссыльным, проживавшим в Грузии. Он произвел на неё сильное впечатление: не был похож на московских знакомых твердостью и интеллигентностью: "...навстречу мне поднялся с дивана какой-то очень длинный (так мне показалось), белокурый и очень бледный человек в очках, очень худой и больной, и рука была тонкая и узкая. Это были Вы". После чтения пьесы незнакомца "Грибоедов" все, как водится, выпили, поговорили. Когда вышли вечером, стало понятно, что ему некуда идти. Почему-то Татьяна позвала его к себе и очень обрадовалась, когда муж встретил её нового знакомого с радостью. Оказалось, что они знали друг друга с незапамятных времен. Это был сценарист Сергей Ермолинский. После ареста и ссылки жизнь в больших городах ему была запрещена.

"Я проснулась наутро, - вспоминала Луговская, - от телефонного звонка. Вы звонили Лене Булгаковой: "Я у Татьяны Александровны Луговской. Так получилось. Я был пьяный, и она взяла меня в свой дом".

Оказалось, что это был тот самый Сережа, который дружил с Михаилом Афанасьевичем и Еленой Сергеевной, а после смерти писателя буквально через полгода был арестован "по булгаковскому делу". Потом Ермолинский для Елены Сергеевны нашелся в местечке недалеко от Алма-Аты, послал ей письмо. Счастливая Елена Сергеевна вместе с Татьяной собрали посылку для него. Их пути пересекались неоднократно, и, наконец, они встретились в Москве.

"Вот так состоялось наше знакомство.

Потом Вы уехали и писали мне короткие скорбные письма. И в каждом письме - грузинский рассказ. Получалось очень толстое письмо.

Вы пили грустное вино и тихо погибали в Тбилиси, а я в Москве все время думала о Вас".

Почти десять лет испытаний потребовалось им, чтобы, наконец, оказаться вместе.

Бог подарил им ещё одну жизнь. Они прожили её в квартире возле метро "Аэропорт" долго и счастливо. Сначала умер Сергей Ермолинский, а спустя десять лет, день в день, - Татьяна Луговская. Можно даже сказать, что она задумала уйти в день его смерти, так и случилось... Их дом много лет был магнитом, центром притяжения для замечательных людей, здесь царили любовь, внимание к собеседнику, неторопливая, несуетная беседа не любые темы.

Владимир Луговской

Вернувшись в Москву в начале 1944 года, Луговской работал над поэмами, показывал друзьям, читал. Москва возвращалась к мирной жизни. Все жаждали перемен и государственных, и личных. Отношения с Еленой Сергеевной, которая в первые месяцы 1944 года ездила к сыну в Кировскую область в военное училище, куда устроил его отец, были теплыми, но не более того. Внутренне они все более отдалялись друг от друга.

Он вспоминал о Ташкенте и мечтал, надеялся на счастье: "Пустая балахана. Дворик с чужой жизнью. Улица Жуковского. Куда же все это ушло? Ушло в песни. Только там оно и живет. Где ты, горе мое? Страдания мои нечеловеческие. Первая свеча. Гибель вселенной. Горе мрака и бешеного упоения.

Заслужил ли я крестной муки моей души, этот скрип кровати за стеной. Сырые ростки, огороды, лопаты поутру. Радуюсь этому движению маленьких ростков, ледяных и острых.

Грозная сила вещей толкнула меня на край света и принесла обратно. Отставной поэт. Меня вызвала к жизни, к спору, к жадности холодноватая московская весна, мышшь-землеройка, запаханые окопы, диковатая и горькая твоя любовь. Сначала снег в своем полете покрыл все, и выморозил, и заставил заснуть. Потом пришла весна, и вышли твердые ростки, и я вернулся к отцовской могиле. Так возвращается ветер в свои кручи.

Из горя моего выросло чужое горе, из груди моей поднялся зеленый мир.

Ничего ещё не решено в мире, но будет решено во славу жизни. Гимн её зеленым превращениям. От жертвенного безумия матери к мудрости отца.

Будем жить.

Будем жить сначала.

Пора снова возводить города. Все это было и будет. Смертная воронка поросла юной травой.

Приходит снова пора юности.

Ничего не понимающая жизнь раскрывает свои холодноватые, ясные глаза. Они - как твои, и они смотрят на меня.

Я слышу тебя, я иду навстречу горю и радости".

Они познакомились в метро, на станции "Новокузнецкая". Елена Быкова работала поблизости в химическом институте, и Луговской время от времени встречался ей - красивый, высокий седой мужчина, опирающийся на палку. Везде и всегда он носил с собой папку с поэмами, боясь, что она может пропасть.

Елена Леонидовна была химиком. Очень красивая, замужня, моложе его почти на двадцать лет. Начался роман. Он не мог не начаться: уж очень Луговской ждал весны, обновления всего - страны, природы, себя. Елена Быкова познакомила его со своим немного чудаковатым мужем, Александром Стрепехеевым, тоже химиком, который впоследствии стал ближайшим другом Луговского. Они ушли из жизни друг за другом, сначала от инфаркта умер Стрепехеев, потом - Луговской (в 1957 году).

Дочка Луговского рассказывала, как Елена Леонидовна Быкова её, четырнадцатилетнюю девочку, пригласила в "Националь". Это после трех голодных лет!.. Их кормили чем-то необыкновенно вкусным. Подавали бесшумные официанты. Когда же отец, может быть шутки ради, спросил дочь, на ком ему жениться: на Елене Сергеевне или Елене Леонидовне, Муха, вспомнив дымящиеся серебряные судки, почти не раздумывая, сказала, что, конечно же, на Елене Леонидовне. Смеясь, она признавалась, спустя годы, что её выбор произошел через "желудок".

После войны, в 1946 году, они с Еленой Быковой только-только начинали строить общую жизнь. Луговской вылетел в Ташкент для очередной переводческой работы, а вслед за ним туда прилетела Елена Леонидовна. Он столько рассказывал ей о Ташкенте, об эвакуации, об Ахматовой, что ей было ужасно любопытно посмотреть на все своими глазами.

"На улицу Жуковского он повел меня, чтобы показать дом, в котором жил во время войны.

Небольшой дом и дворик, балахана, в которой жила Елена Сергеевна, были мне уже хорошо известны по его рассказам. Вошли в дом и оказались в затрапезной прихожей. Луговской постучал своей палкой в дверь. Ее открыла маленькая, очень некрасивая

женщина. На худом, загорелом, морщинистом лице как-то особенно выделялись светлые, прозрачные глаза. Женщина, увидев Луговского, улыбнулась, обнажив торчащие желтые зубы.

- Луговской! Какими судьбами?! - Платье на ней было обтрепанным и грязным, как на нищенке.

Луговской почтительно склонился к её маленькой, темной и сухой, как у обезьянки, ручке и поцеловал её с совершенно непонятным мне подобострастием.

- Проходите, - сказала она, - проходите. Это ваша жена? Хорошенькая.

В закопченной, полутемной комнате царил бедлам. На столе и грязной постели - книги, бумаги, газеты, тарелки. Перевернутый табурет, везде окурки. ...

Я ничего не могла понять. Что это? Кто это?

- Почему ты с ней здороваешься, как с королевой?

- Она и есть королева. Это Надежда Яковлевна Мандельштам!

...

Очень довольная, Надежда Яковлевна появилась с четвертинкой в руке. Взяв с полки два грязных стакана и чашку с отбитой ручкой, разлила водку на троих.

- Выпьем! - сказала она весело.

Все это могло бы шокировать, если бы не её глаза, смотревшие с таким умом и пронзительностью, что я невольно тушевалась под этим взглядом, чувствуя свою несостоятельность и малость.

- Это великая женщина, - говорил мне на обратном пути Луговской. Она может служить примером подвижничества и верности. Надежда Яковлевна хранит в памяти все его стихи..."

Надежда Яковлевна оставалась все это время в Ташкенте. Ей удалось устроиться работать в Ташкентском университете преподавателем английского языка. Однажды к ней заехал друг её и погибшего Осипа Мандельштама, живший в то время в Алма-Ате Борис Кузин, адресат множества её писем. Их житье на Востоке, вдали от столиц, было, конечно же, связано с тем, что негласно они имели статус ссыльных, и только в середине 50-х им удалось вырваться в Москву и Ленинград.

Луговской прожил до 1957 года, успел опубликовать часть глав из "Середины века", значительно переделав их, по его собственным словам, "к XX съезду партии", написал две книги лирических стихотворений. Ушел он, по ощущению многих близких людей, на взлете. Ташкентские поэмы были напечатаны, но та трагическая

логика, которая связывала их, тот резкий и обнаженно исповедальный тон были убраны. Татьяна Луговская как-то привела разговор, который состоялся у неё с Владимиром Александровичем в присутствии его учеников:

"Мы сидели на диване. Огромное окно было перед нами..."

На диване с нами сидел его бывший ученик, имя которого мне не хотелось бы называть.

- Интересно, когда я умру, кто из них меня оболжет, кто предаст, кто забудет? Кто будет помнить? Кто поймет и объяснит меня? - раздумчиво спросил брат.

Третий, сидящий на диване, точно и быстро ответил на этот вопрос. Ответ был так неожидан и печален, что у меня перехватило горло, но брат начал хохотать так весело и беззлобно, что мне стало страшно за него и обидно.

- Предадут тебя, - сказала я. - Они ведь предадут себя?

- Черта лысого! - хохотал Володя. - Черта лысого! Это очень хорошо, если из моей шкуры сделают трамплин для себя. Это жизнь, Татьяна! Я-то буду уже мертвый, а мертвые сраму не имут. А защищать меня будет Поэма (он называл так "Середину века").

Этот разговор мне придется вспоминать иногда. Грустно мне его вспоминать, но приходится".

Мария Белкина

Мария Белкина пробралась на Ладогу к мужу, на фронт ей попасть так и не удалось: слабое здоровье, подозрение на туберкулез. В маленьком гарнизоне на Ладоге её удалось пристроить писать статьи в газете "Краснофлотец", где она публиковала их под мужским псевдонимом. Они жили с Тарасенковым в крохотной комнате, в трудных условиях; у стены стояла их узкая койка, а напротив - отгороженная столом койка журналиста Пронина с женой. Так они и существовали до тех пор, пока не случилось скандального происшествия в духе купринского "Поединка". Жена Пронина, преподававшая немецкий язык молодому летчику, в занятиях с ним зашла так далеко, что Пронин вызвал злополучного летчика на дуэль, где секундантом вызвался быть Тарасенков. Дуэль сорвалась. Несчастный Пронин ушел в партизаны, попал в руки немцев и погиб.

На Ладоге корабли и самолеты охраняли знаменитую Дорогу жизни, по которой тянулись в блокадный Ленинград ниточки грузов с продовольствием, спасавшие город от полного вымирания. Когда начались бои неподалеку от гарнизона, Марию Белкину выставили с

военным аттестатом, и она была вынуждена отправиться в Москву. Там её тут же арестовали, пропуска в столицу у неё не было. Как говорила Мария Иосифовна, вытащил её из "кутузки" Ставский, помог прописаться.

В Москве она совершенно случайно устроилась на работу в Софинформбюро. Увидела, какие там дают на завтрак булки с икрой и колбасой, и, страдая от голода, пошла в отдел кадров. Народу в городе было мало, анкета у неё была чистая, её взяли. Работала там до 1946 года.

Под конец войны в отношениях с Тарасенковым возник кризис; как она говорила, люди отвыкли друг от друга и очень устали. Хотела даже написать роман о том, как после войны мужьям и женам, оставшимся в живых, надо было заново привыкать друг к другу.

Тарасенков после войны работал в ведущих литературных журналах. Умер он в день открытия XX съезда, в 1956 году, оставив после себя самый полный библиографический справочник поэзии первой половины XX века.

Воспоминания М.И. Белкиной о ташкентской эвакуации станут частью её книги о Марине Цветаевой "Скращение судеб". Книга задумывалась в те печальные годы, когда можно было только мечтать о возможности опубликовать такой труд. Но письма, домашние архивы, устные рассказы множились и превращались в цепочки глав. С этими главами-историями Мария Иосифовна ехала на "Аэропорт" в дом Татьяны Луговской и Сергея Ермолинского и рассказывала книгу "как Шахерезада". Они с удовольствием слушали, она с упоением рассказывала, так шли месяцы, годы. Книга складывалась. Никого из слушателей уже нет, а себя Мария Иосифовна иронически называет "уходящая натура".

Трудно представить, но уже почти нет людей, чья юность выпала на 30-40-е годы XX века. М. Белкина ещё общалась с Пастернаком и Ахматовой, Цветаевой и Твардовским, К. Чуковским, училась вместе с Константином Симоновым, дружила с Лилей Брик, Маргаритой Алигер, А. Фадеевым, Павлом Антокольским, Владимиром Луговским и многими, многими другими. Живет Мария Иосифовна по-прежнему в писательском доме на Лаврушинском.

Мы можем окликнуть их из сегодняшнего дня, заброшенных ветром войны в Ташкент. Они могут рассказать нам об обретенном

внутреннем опыте, о том, как война и эвакуация дала каждому свою судьбу.

О том, как научились жить сначала. Среди изменившихся людей. Среди изменившегося мира. Как остались живыми людьми. С открытыми глазами и с открытым сердцем.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

## **Table of Contents**

Громова Наталья Александровна Все в чужое глядят окно	2
----------------------------------------------------------	---